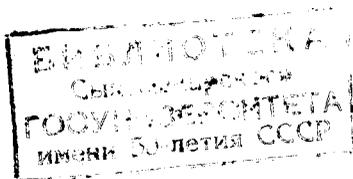


АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД



1

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1974

СОДЕРЖАНИЕ

- Г. А. К л и м о в (Москва). К происхождению эргативной конструкции предложения 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

- А. П. В о л о д и н (Ленинград). К вопросу об эргативной конструкции предложения 14
Д. И. Э д е л ь м а н (Москва). О конструкциях предложения в иранских языках 23
Г. К. В е р н е р (Таганрог). Реликтовые признаки активного строя в кетском языке 34
Г. А. М е н о в щ и к о в (Ленинград). Эскимосско-алеутские языки и их отношение к другим языковым семьям 46
Л. Б. Н и к о л ь с к и й (Москва). О предмете социолингвистики 60

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

- О. С. Ш и р о к о в (Москва). Фонематическая система чукотского вокализма 68
В. В. К о л е с о в (Ленинград). Просодические диалектные признаки в истории русского языка 76
Г. Ф. Б л а г о в а (Москва). Из истории развития тюркских этнонимов в русском языке 91
В. И. М а к с и м о в (Ленинград). О методе словообразовательного анализа 108

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

- М. В. С о ф р о н о в (Москва). Дешифровка и исследование тангутского языка 116

Рецензии

- Р. А. Б у д а г о в (Москва). *В. А. Звегинцев. Язык и лингвистическая теория* 127
Э. М. П е т р о в а, И. А. П о п о в (Ленинград). «Вести-куранты 1600—1639 гг.» 132
Г. В. Р о г а в а (Тбилиси). *М. А. Кумахов. Словоизменение адыгских языков* 135
Л. М. С к р е л и н а (Минск). *Е. А. Реферовская. Французский язык в Канаде* 138

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Хроникальные заметки 144
Академик Г. В. Церетели 149

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев,*
Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора),
Б. А. Серебrenников, В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031, Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Г. А. КЛИМОВ

К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ЭРГАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Постановка вопроса о генезисе эргативной конструкции предложения, который стал уже традиционным для общей теории эргативности и до последнего времени не находит однозначной интерпретации, как правило, основывалась в прошлом на структурном сопоставлении этой синтаксической модели с исторически смежными с ней номинативной и активной. Нетрудно заметить, однако, что подобный в некотором смысле слова атомистический подход, вообще характеризующий сопоставление языковых фактов, вырванных из контекста некоторой целостной системы, заранее ограничивает перспективы решения поставленной проблемы. Тем более скептически приходится смотреть на гипотезы происхождения этой конструкции в случае, если, помимо реализации именно такого подхода, они оказываются уязвимыми и в части своей конкретной аргументации. Вероятно, одним из наиболее ярких примеров последних может послужить известная попытка К. Уленбека обосновать на материале североамериканских языков ее историческую производность от пассивного оборота, неадекватность которой уже неоднократно была показана в специальной литературе. Их другой иллюстрацией является пользовавшаяся еще сравнительно недавно популярностью у части кавказоведов точка зрения о возникновении эргативной модели предложения из так называемой «индефинитной», поскольку в качестве последней при этом по недоразумению рассматривался глагольный тип той же самой эргативной конструкции, т. е. та ее разновидность (функционирующая, например, в абхазском языке), в которой, как показал И. И. Мещанинов, отношения эргативности всецело передаются в составе словоформы глагола-сказуемого.

Значительно более перспективной предпосылкой решения проблемы представляется сопоставление соответствующих цельных типологий предложения, которые реализуются во всей совокупности входящих в каждую из них конкретных моделей. Не говоря о том, что такой подход настойчиво ставит обычно ускользающую из поля зрения проблему происхождения абсолютной модели, которая в рамках типологии предложения структурно коррелирует с эргативной (эта задача, естественно, не существует для исследователей, отождествляющих абсолютную конструкцию с номинативной), именно он создает хотя бы минимальные условия для системного анализа фактов. Понимание этого обстоятельства, по-видимому, наиболее отчетливым образом заявляет о себе в работах Н. Ф. Яковлева, в отличие от подавляющего большинства других авторов рассматривавшего генезис эргативной конструкции (в его терминологии — «продуктивного оборота») в тесной связи с формированием абсолютной («непродуктивного оборота») ¹.

¹ См.: Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф, Грамматика адыгейского литературного языка, М.—Л., 1941, стр. 39—41; Н. Ф. Яковлев, Синтаксис чеченского литературного языка, М.—Л., 1940, стр. 48; е го ж е, Изучение яфетических языков Северного Кавказа за советский период, сб. «Языки Северного Кавказа и Дагестана», М.—Л., 1949, стр. 310—311.

Обращаясь к более широкому — по сравнению с концептом эргативной конструкции — понятию типологии предложения языков эргативного строя, следует подчеркнуть, что его структурную специфику образует установленная в историко-типологических работах советских исследователей корреляция эргативной и абсолютной конструкций, мотивированная строго проводимым в этих языках принципом лексикализации глагольных слов по признаку их транзитивности ~ интранзитивности. Аналогичным образом типология предложения представителей активного строя характеризуется противопоставлением активной и инактивной конструкций, первую из которых обуславливают активные глаголы, а вторую — стативные. При этом первые из них, как правило, передают «одушевленное» действие: ср. их семантику «рождать, -ся», «умирать/убивать», «расти», «идти», «бежать», «петь», «плакать», «нести», «ломать», «есть», «лежать», «падать» (для специфического значения двух последних лексем ср. грузинские *cola* «лежать» и *caksewa* «падать») и т. д.; вторые — «неодушевленное» действие и состояние: ср. семантику «быть длинным», «быть красным», «быть приятным», «катиться», «лежать», «падать» (для специфики значения двух последних лексем ср. грузинские *deba* «лежать» и *dawardna* «падать»). Наконец, в языках номинативного строя при всех глаголах выступает единая номинативная конструкция предложения, что наводит на мысль, что в них функционирует по существу единый лексический класс глагольных слов (здесь нецелесообразно принимать во внимание некоторые иные модели предложения, в частности, аффективную, которые встречаются и в языках других типов и поэтому не определяют его общего типологического облика).

Структурные различия предложения эргативной и номинативной типологий почти всегда обращали на себя внимание и уже давно поставили перед исследованием соответствующую сопоставительную проблематику, разработке которой посвящена довольно богатая литература. Напротив, внешнее сходство моделей предложения, функционирующих в языках эргативного и активного строя, породило на начальном этапе исследования впечатление, будто активная типология предложения является всего лишь разновидностью эргативной, основанной на оппозиции глагола-сказуемого по признаку активности ~ инактивности обозначающего действия, а не по признаку его переходности ~ непереходности² (справедливость требует отметить, что этому впечатлению, судя по всему, не поддавался Э. Сепир, усматривавший в фактах типологических расхождений местоименных систем, а также функциональных отличий эргатива и актива различие предложений эргативной и активной типологии³). Не всегда достаточно четко они разграничиваются и в современных работах⁴.

² См.: Х. К. Уленбек, К учению о падежах, сб. «Эргативная конструкция предложения», М., 1950, стр. 97—100; Г. Ш. Карольсфельд, О переходных и непереходных глаголах, там же, стр. 173—174; С. Л. Быховская, «Пассивная» конструкция в афетических языках, «Язык и мышление», II, 1934, стр. 55, 67, и мн. др. работы.

³ E. S a p i r, [пец. на кн.:] С. С. Uhlenbeck, Het passieve karakter van het verbum transitivum of van het verbum actionis in talen van Noord-Amerika, IJAL, I, 1917, стр. 88; ср.: Ch. J. Fillmore, The case for case, «Universals in linguistic theory», New York, 1968, стр. 54.

⁴ См.: G. H. M a t t h e w s, Hidatsa syntax, «Papers on formal linguistics», The Hague, 1965, стр. 146; а также: T. M i l e w s k i, Etudes typologiques sur les langues indigènes de l'Amérique, Kraków, 1967, стр. 71, 74 и сл. В связи с очевидными различиями обеих конструкций У. Чейф видит два типа опять-таки «эргативных» языков: W. L. C h a f e, Meaning and the structure of language, Chicago — London, 1970, стр. 232.

Действительно, некоторый внешний параллелизм эргативной и активной конструкций, с одной стороны, и абсолютной и инактивной, с другой, едва ли возможно отрицать. Он дает себя знать преимущественно в отдельных совпадениях морфологического оформления компонентов обеих пар. Ср., в частности, преобладание в эргативной и активной моделях двухличного принципа спряжения глагола-сказуемого (лишь крайне редко встречающегося в языках номинативной типологии), характерную для обеих конструкций так называемую «чистую» именную основу при глагольном дополнении, а также яркий префиксальный тип глагольного спряжения. Две черты сходства обеих моделей предложения могут быть отмечены и в их синтаксической структуре. Так, с одной стороны, здесь наблюдается более отчетливая по сравнению с номинативной конструкцией синтаксическая доминанция глагола-сказуемого. С другой стороны, по крайней мере, для большей части языков общим у активной конструкции с эргативной оказывается и словопорядок SOV (где S — символ подлежащего, O — дополнения и V — сказуемого). Ср., например, абхазское эргативное построение *a-cabarg a-ps d-a-rgəlwojɬ* «правда покойника воскрешает» (в составе глагольной словоформы здесь присутствует префикс 3-го лица объектного ряда *d-* и префикс 3-го лица субъектного ряда *a-*) и активное построение на языке тупи *ixé kipiŋi a-i-nirā* «я мальчика бью» (где в глагольном сказуемом налицо префикс 1-го лица активного ряда *a-* и префикс 3-го лица инактивного ряда *i-*).

Не составляет труда показать, однако, что при некотором формальном сходстве обеих сопоставляемых моделей предложения налицо их серьезные структурные расхождения. При этом весьма показательным представляется то обстоятельство, что если их параллелизм лежит в основном в плане такого консервативного уровня, каковым принято считать морфологию, и лишь отчасти затрагивает синтаксис, то расхождения обеих более очевидны в плане самой синтаксической структуры предложения и особенно — в плане ее лексемного наполнения.

Так, например, если эргативная конструкция задается лексически транзитивным глаголом, то активную организует активный («одушевленный») глагол. Если в позиции подлежащего активной конструкции предложения может присутствовать лишь именная лексема активного («одушевленного») класса, т. е. названия людей, животных и растений, то в роли подлежащего эргативной конструкции способны в принципе выступать любые имена существительные. Если при построении второй, как известно, минимально необходимыми являются две синтагмы, предикативная и комплетивная, то при построении первой минимально необходима лишь одна — предикативная. При облигатном наличии в составе второй прямого дополнения, в первой последнее отсутствует (в соответствии с профилирующим в языках активной типологии принципом лексикализации глагольных слов прямое и косвенное дополнения здесь вообще не дифференцированы). Некоторые различия имеются и в морфологическом инвентаре, обслуживающем компоненты обеих сопоставляемых моделей предложения. В частности, невозможно сомневаться в функциональном отличии противопоставления эргативного и абсолютного падежей в составе второй и оппозиции активного и инактивного падежей в составе первой. Вместе с тем очевидно, что частью из перечисленных выше структурных особенностей эргативная конструкция предложения уже сближается с номинативной и что отождествление эргативной и активной моделей невозможно.

Должно быть поэтому понятным, насколько существенным шагом вперед в разработке рассматриваемой проблемы является проводимое у отдельных авторов хотя и в различной терминологии, но в общем доволь-

но отчетливое разграничение обоих построений. По-видимому, раньше других оно было намечено в работах С. Д. Кацнельсона, противопоставившего так называемую «пережиточную» эргативность современных представителей эргативного строя «актуальной» или «архаической» эргативности, к которой первая должна восходить исторически (не менее важным в этом плане представляется высказанный им позднее взгляд о функционировании в рамках эргативности «архаического» типа особого принципа лексикализации глаголов, отличного от современного и предполагавшего объединение в едином классе как транзитивных предикатов, так и предикатов движения)⁵. В известной степени зависимое от последнего и поэтому сходное разграничение встречается позднее у Г. Хёппа, использующего при анализе типологии предложения в языке аранта понятия эргативной и преэргативной конструкции (при этом автор исходит из несколько различных в соответствующих построениях синтаксических потенций и морфологических характеристик имен активного и инактивного классов)⁶. Самое общее представление о типологии предложения, по существу уже совпадающей с активной, дает и модель так называемой «идеальной эргативной системы», построенная недавно Дж. Лайонзом с целью диахронического объяснения механизма его эргативной и номинативной типологии: отмечая, что эта модель в настоящее время не реализуется в языках, по традиции квалифицируемых в качестве эргативных, он подчеркивает своеобразие синтаксических потенций «одушевленных» и «неодушевленных» имен в ее рамках⁷.

Какие же аргументы могут быть привлечены для обоснования такого понимания эволюции структуры предложения, согласно которому его эргативная конструкция исторически формируется из активной?

В пользу именно подобной направленности развития говорят прежде всего три следующих аргумента общего порядка. Во-первых, нельзя не обратить внимания на характерное диалектическое соотношение, существующее между формой и содержанием эргативной конструкции. Если, как было показано выше, в плане выражения эта модель еще во многом совпадает с трехчленным вариантом активной, то в плане содержания она в значительной степени уже приспособлена к передаче субъектно-объектных отношений, на выражение которых специально ориентирована структура номинативной конструкции. Во-вторых, о том же должна говорить высокая объяснительная способность модели активной конструкции предложения по отношению к эргативной, что в имплицитной форме уже неоднократно использовали в своих работах некоторые исследователи проблемы генезиса эргативности. Так, еще в 1934 г. С. Л. Быховская обосновывала большую древность активного построения по сравнению с эргативным невозможностью преобразования в языках эргативного строя безобъектных глаголов абсолютной конструкции в класс транзитивных, что пришлось бы допустить при обратном предположении (как известно, в эргативных языках засвидетельствована противоположная тенденция перехода непродуктивной группы так называемых «диффузных» или «переходно-непереходных» глаголов при их безобъектном употреб-

⁵ См.: С. Д. Кацнельсон, К генезису номинативного предложения, Л., 1936, стр. 103; е го ж е, Эргативная конструкция и эргативное предложение, ИАН ОЛЯ, 1947, 1, стр. 43—44, 48—49; е го ж е, К происхождению эргативной конструкции, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 33—36; е го ж е, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 192.

⁶ См.: G. Höp p, Evolution der Sprache und Vernunft, Berlin, 1970, стр. 109—114; ср. отчасти также: G. H. Matthews, указ. соч., стр. 146.

⁷ См.: J. Lyons, Introduction to theoretical linguistics, Cambridge, 1971, стр. 356—359; ср. также: J. Fillmore, указ. соч., стр. 53—54.

лении в класс интранзитивных)⁸. Наконец, третий аргумент общего порядка заключается в том, что именно такая историческая перспектива соответствует отмеченной во многих современных исследованиях индуцирующей роли грамматических потенций имен «одушевленного» класса и глаголов «действия» в развитии языковой структуры (имеется в виду процесс постепенного распространения этих потенций соответственно на имена «неодушевленного» класса и глаголы «состояния»)⁹.

Однако, по-видимому, имеется и непосредственное структурное основание исторической трансформации активной конструкции предложения в эргативную, связанное со спецификой соотношения лексического и грамматического в языке активной и эргативной типологии, без выявления которой невозможно по-настоящему раскрыть каузальный аспект обсуждаемой проблемы (впрочем, существуют серьезные основания полагать, что тезис о первичности лексического и вторичности грамматического, вопреки известному утверждению Р. Карнапа о нерелевантности значения слов для синтаксиса, имеет силу и для представителей других языковых типов¹⁰). Конкретно в виду имеется, по-видимому, общепризнанное ныне в теории эргативности синтаксически доминирующее в представителях эргативного строя положение глагольного сказуемого, самим своим лексемным качеством задающего всю структурную модель предложения. Ср., в частности, обусловленность эргативной и абсолютной конструкций последнего соответственно транзитивным и интранзитивным глаголом-сказуемым, с одной стороны (см. работы С. Л. Быховской, Н. Ф. Яковлева, А. С. Чикобава, Т. Милевского, К. Регамэ, А. Мартине и мн. др.), и активной и инактивной конструкций активным и стативным глаголом-сказуемым, с другой (встречающиеся в названных языках иные классы глагольных лексем аналогичным образом обуславливают здесь функционирование аффертивной и иногда некоторых других моделей предложения).

Если принять тезис о структурной доминации в эргативном построении глагольного сказуемого, то он, несомненно, должен учитываться не только синхронным, но и диахроническим аспектом исследования. Отсюда естественно прийти к заключению, что предпосылки исторического преобразования одной конструкции предложения в иную здесь следует искать, по всей вероятности, в перестройке самого лексемного качества организующего их глагола, и, следовательно, — в изменении в языках эргативного строя ранее функционировавших принципов структурной организации глагольной лексики (высказывавшаяся в прошлом точка зрения о происхождении эргативной конструкции предложения непосредственно из доглагольного состояния, как известно, так и не получила в специальной литературе ни теоретического, ни эмпирического обоснования). Уместно заметить в этой связи, что в отдельных случаях исследователи рассматриваемых языков вплотную подходили именно к такому представлению процесса развития. Достаточно отметить, например, что, рассматривая специфику функционирования эргативной конструкции предложения в баббийском языке, еще и поныне сохраняющем довольно

⁸ См.: С. Л. Быховская, указ. соч., стр. 72; ср.: И. И. Мещанинов, Общее языкознание. К проблеме стадильности в развитии слова и предложения, Л., 1940, стр. 219; а также: А. Н. Савченко, Эргативная конструкция предложения в праиндоевропейском языке, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 90.

⁹ См. например: И. М. Тронский, Общепраиндоевропейское языковое состояние, Л., 1967, стр. 90.

¹⁰ См.: Ф. П. Филин, Методология лингвистических исследований А. А. Потебни, «Язык и мышление», III—IV, 1935, стр. 146; Р. А. Будагов, К теории синтаксических отношений, ВЯ, 1973, 1, стр. 4.

широкую совокупность импликаций активного строя, Ю. Д. Дешериев констатирует, что в последнем «мы обнаруживаем пережиточно сохранившиеся признаки древнейшей семантической дифференциации глаголов действия и состояния и ее связь с генезисом эргативного строя предложения»¹¹. Вместе с тем, характеризуя активную конструкцию предложения, реконструирующуюся, по всей вероятности, для древнейшего протоиндоевропейского, А. Н. Савченко отмечает, что «при сравнении с вариантами эргативной конструкции, существующими в современных языках, она оказывается нетипичной, потому что в ней выражение субъекта действия эргативным или абсолютным падежом зависело не от переходности или непереходности глагола, а от глагольной формы действия или состояния... Нужно иметь в виду, что современные варианты эргативной конструкции, по-видимому, далеко отошли от того, что было при возникновении ее»¹².

Структурный облик представителей так называемого «западного» ареала распространения эргативности, в той или иной степени характеризующихся признаками промежуточности их типологии между эргативной и номинативной (ср., в частности, язык бурушаски, в котором в построениях с глагольными формами презенсных времен уже господствует номинативная модель), свидетельствует о том, что ослабление здесь лексемной оппозиции транзитивных и интранзитивных глаголов приводит к постепенной номинативизации структурного типа предложения. Это наблюдение находится в соответствии с тем известным обстоятельством, что в номинативных языках транзитивность ~ интранзитивность в лучшем случае оказываются лишь синтаксической характеристикой глагола (ср., в частности, существующие дефиниции транзитивного глагола в работах по различным индоевропейским языкам). В то же время функционирующая в них по существу единая номинативная конструкция предложения заставляет думать, что она обозначает наличие здесь в принципе единого лексического «класса» глагольных слов.

В свете всего сказанного выше естественно предположить, что формирование обеих коррелирующих моделей предложения эргативной типологии — эргативной и абсолютной — должно быть связано с фактом преобразования лексемного противопоставления активных и стивных глаголов в оппозицию транзитивных и интранзитивных. Между тем, как известно, именно такое понимание исторической последовательности принципов лексикализации глагольных слов составляет в теории эргативности довольно общее место. При этом заслуживает быть подчеркнутым то обстоятельство, что подобное представление разделяется столь разными и, следовательно, отправляющимися от различных исходных постулатов языковедами, как К. Уленбек, С. Л. Быховская, И. И. Мещанинов, М. М. Гухман, Ю. Д. Дешериев, А. Н. Савченко, М. А. Коростовцев, К.-Х. Шмидт и др.¹³.

¹¹ Ю. Д. Дешериев, Некоторые особенности эргативного строя предложения в бабийском языке, «Язык и мышление», XI, 1948, стр. 160.

¹² А. Н. Савченко, указ. соч., стр. 90.

¹³ См.: Х. К. Уленбек, Пассивный характер переходного глагола или глагола действия в языках Северной Америки, «Эргативная конструкция предложения», М., 1950, стр. 84, примеч. 2; С. Л. Быховская, указ. соч., стр. 72; И. И. Мещанинов, указ. соч., стр. 219—220; М. М. Гухман, Происхождение строя готского глагола, М., 1940, стр. 143; Ю. Д. Дешериев, указ. соч., стр. 160; А. Н. Савченко, Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке, ВЯ, 1955, 4, стр. 117—118; М. А. Коростовцев, Категория переходности и непереходности глаголов в египетском языке, ВДИ, 1968, 4, стр. 112; К.-Х. Шмидт, Проблемы генетической и типологической реконструкции кавказских языков, ВЯ, 1972, 4, стр. 23.

В ходе этого процесса все стативные глаголы должны были преобразоваться в интранзитивные, а активные — распределиться между транзитивными и интранзитивными (в число последних попадают, в частности, *verba movendi*). В связи с этим интерес представляет встречающийся во многих эргативных языках более или менее замкнутый и, что особенно важно, непродуктивный класс так называемых «диффузных», или «лабильных», глаголов (например, абхаз. *a-bəl-ra* «жечь; гореть», *a-ča-ra* «есть; питаться», *a-rč^wa-ra* «ломать; ломаться» и т. п.). Замеченная уже Н. Ф. Яковлевым их характерная активная семантика¹⁴, а также их двойное переходно-непереходное функционирование в предложении (прежде всего в виду имеется их способность к организации как эргативной, так и абсолютной конструкций), по-видимому, позволяет рассматривать класс «диффузных» глаголов в качестве пережиточной группы активных глаголов, которые, хотя и несколько приспособлены к общему механизму эргативного строя, все еще не лексикализованы по профилирующему в них принципу обозначения переходного или непереходного действия.

Приведенные теоретические аргументы могут быть подкреплены и множеством эмпирических свидетельств перестройки активной конструкции предложения в эргативную, разбросанных по представителям самых различных языковых семей. Наиболее яркими из них являются факты пережиточного функционирования активной конструкции, наблюдающиеся в целом ряде эргативных языков как Нового, так и Старого Света, особенно — в североамериканских языках чинук-цимшиан, алгонкинских, салиш, а также в эскимосско-алеутских, отдельных австралийских и кавказских. Так, в частности, в последних достоверно известны прецеденты употребления эргативного падежа подлежащего при варьирующей по объему совокупности интранзитивных глаголов; ср. баббийск. *as w-ujtas* «я иду», *as liwas* «я говорю», *as w-ože* «я упал»; кабард. *a-bə qežəḥ* «он бегают», *a-bə qeḥ^{no}əḥ* «он ходит», *a-bə xitheləḥ* «он тонет»; груз. *deda-m-čaaɣwela* «мать кашлянула», *gwelwešap-ma gamoiɣwiza* «дракон проснулся»; левг. *ada zuerna* «он бегал», *ada xkadarna* «он прыгал», *ada čukurna* «он мчался» и т. п. Встречаются также случаи использования личных аффиксов эргативного ряда в морфологической структуре тех же глаголов; ср. груз. *te w-irbine* «я бегал», *šen mo-x-wedi* «ты пришел» и т. д. против ожидавшихся — при соблюдении в аористных глагольных формах норм эргативности — форм с личными аффиксами абсолютного ряда типа **m-irbine*, **mo-g-wedi* и т. д. Архаичный, а не инновативный характер подобных явлений подтверждается тем, что они связаны исключительно с исторически активными глаголами — их семантика обычно довольно строго ограничена передачей активной деятельности, движения, говорения и т. п. субъектов «одушевленного» класса и не распространяется на другие категории глаголов, как того следовало бы ожидать в случае, если бы за данными фактами стоял процесс преобразования эргативного строя. Имеются основания квалифицировать подобные промежуточные по своему существу построения в качестве эргативообразных.

Не менее показательным представляется и то обстоятельство, что реально засвидетельствованы языки (из числа кавказских сюда относятся абхазско-адыгские), в которых, наряду с фундаментальной для их структурного облика оппозицией транзитивных и интранзитивных глаголов, достаточно отчетливо выступает и пересекающаяся с ней противопостав-

¹⁴ См.: Н. Ф. Яковлев, Д. А. Ашхамаф, указ. соч., стр. 216; а также: Н. Т. Гишев, Глаголы лабильной конструкции в арытском языке, Майкоп, 1968, стр. 60—64.

ление динамических и статических — оно составляет ближайшую аналогию корреляции активных и стативных глаголов в представителях активного строя (при этом распределение глаголов на динамические и статические единодушно трактуется в специальной литературе в качестве архаического¹⁵).

Напротив, не были засвидетельствованы факты преобразования модели предложения обратной направленности. На этом основании активная конструкция могла бы быть генетически квалифицирована в качестве «преэргативной», если бы не известные случаи ее непосредственной трансформации и в номинативную. Процесс такого преобразования отмечается, например, в североамериканском языке хидатса из группы сиу, где историческая оппозиция двух моделей предложения — активной и инактивной (по настоящее время функционирующая в ближайше родственных ему языках дакота и ассинибойн) — в значительной степени уже перестроилась на противопоставление двух лишь формально обособляющихся типов глагольного спряжения¹⁶. Согласно известной в индоевропеистике гипотезе, именно подобная эволюция структуры предложения должна была иметь место и в праиндоевропейском состоянии. В сугубо предварительном порядке можно высказать предположение о том, что реализация последнего пути может находиться в некоторой связи с преобладанием в той или иной языковой традиции не двухличного, а одноличного принципа глагольного спряжения.

Выше были кратко охарактеризованы внутриязыковые (структурные) импульсы, обусловившие формирование эргативной и коррелирующей с ней абсолютной конструкции предложения. Нельзя, однако, не заметить, что перестройка типологии предложения не составляет изолированного от других сторон языка явления, а реализует только одну из сторон значительно более широкого процесса эволюции языковой системы.

Между тем, если учесть весь комплекс других параллельно протекающих в структуре языка изменений, то, по-видимому, становится возможным увидеть стоящие за ними глубинные движущие силы содержательного порядка. В виду имеется процесс преобразования активного строя языка как некоторой целостной системы структурных координат в строй эргативный, параллельно реализующийся на разных уровнях языковой структуры. Так, на уровне лексики этот процесс характеризуется не только сменой профилирующего принципа лексикализации глагольных слов (переход от противопоставления активных и стативных глаголов к оппозиции транзитивных и интранзитивных), но и постепенной деградацией лексических классов имен существительных, отражающих признак активности («одушевленности») ~ инактивности («неодушевленности») обозначаемых денотатов; последовательной утратой целого ряда более частных лексических импликаций и фреквенталий активного строя (например, различия указательных, вопросительных и других местоимений по их соотносительности с классами «одушевленных» и «неодушевленных» реалий, корреляции инклюзивного и эксклюзивного местоимения 1-го лица мн. числа); становлением ряда глагольных лексем, специально ориентированных на передачу субъектно-объектных отношений (например, *verba habendi*). На синтаксическом уровне, наряду

¹⁵ См., например: А р н Ч и к о б а в а, Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. I — Историческое взаимоотношение номинативной и эргативной конструкций по данным древнегрузинского литературного языка, Тбилиси, 1948, стр. 108 (на груз. яз.); см. также: К.-Х. Ш м и д т, указ. соч., стр. 23.

¹⁶ G. N. M a t t h e w s, указ. соч., стр. 142—157; см. также: K. L. H a l e, [рец. на кн.:] G. N. Matthews, *Hidatsa syntax*, IJAL, 33, 3, 1967, стр. 336—338.

с преобразованием типологии предложения, этот процесс предполагает в инвентаре его членов дифференциацию прямого и косвенного дополнения со строгой приглагольной позицией первого. Наконец, он находит выражение и в существенном преобразовании морфологической системы языка: например, в парадигме именного склонения корреляция активного и инактивного падежей сменяется корреляцией эргативного и абсолютного; начинают формироваться такие уже специально ориентированные на передачу субъектно-объектных отношений падежи, как родительный и дательный; в глагольном спряжении классно-личные аффиксы активной и инактивной серий преобразуются соответственно в личные аффиксы эргативного и абсолютного рядов; снимается диатеза центробежной и центростремительной форм глагола и т. д.

Таким образом, в конечном счете определяющий стимул трансформации активной конструкции предложения в эргативную, как и в целом — активной типологии языка в эргативную, судя по приведенной аргументации, следует усматривать не в структурном плане, признание чего составляло почти общее место специальных работ последнего времени, а за его пределами. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при этом происходит переход от разграничения моделей предложения по признаку активности ~ инактивности передаваемого действия к их разграничению по более абстрактному признаку его переходности ~ непереходности. В свете сказанного можно предположить, что за этим процессом стоит смена самой семантической детерминанты языка, сдвигающейся от противопоставления активного («одушевленного») и инактивного («неодушевленного») начал к оппозиции субъектного и объектного (ср. в этой связи неоднократно формулировавшуюся в отечественном языкознании точку зрения, в соответствии с которой сдвиги в типологии синтаксических структур способны отражать определенные изменения содержательных структур). В пользу подобного предположения говорит среди прочих и то обстоятельство, что адекватное определение эргативной конструкции предложения оказывается возможным исключительно на уровне глубинной синтаксической структуры (нельзя не отметить, что существующие дефиниции этой модели в большинстве случаев сводятся к описанию морфологических особенностей ее отдельных разновидностей и поэтому не могут претендовать на роль сколько-нибудь общего определения). Вместе с тем, если учесть, что преобразование семантической детерминанты языка прежде всего дает себя знать на наиболее тесно связанном с передаваемым мыслительным содержанием уровне лексики (в частности, в перестройке принципа лексикализации глагольных слов) и лишь затем проявляется на уровне синтаксиса и морфологии, то приходится заключить, что рассматриваемые здесь изменения в структуре предложения опосредствованы преобразованиями в лексической системе языка. С последним выводом хорошо согласуются известные из дескриптивных грамматик эргативных языков случаи широкого сохранения импликаций активного строя на уровне морфологии и отчасти синтаксиса при слабой представленности его лексических импликаций (ср., например, факты абхазско-адыгских языков). Таким образом, генезис эргативной конструкции предложения может, вероятно, послужить одной из иллюстраций той сложной и опосредствованной связи, которая существует между строем языка и мышлением.

Прежде чем обратиться к возникающему в связи со сказанным вопросу о причинах становления эргативности в исторически номинативных индоиранских языках, следует коротко остановиться еще на одном важном для рассматриваемой проблематики следствии, которое вытекает из признания факта синтаксической доминации глагола-сказуемого над имен-

ными компонентами эргативного предложения. Дело в том, что именно факт такой доминации объясняет, почему рассматриваемая конструкция эргативных языков, строй которых еще сохраняет довольно тесный контакт с активной типологией (северно- и центральноамериканские, многие папуасские, абхазский), имеет глагольный морфологический тип и, напротив, эта же конструкция существенно продвинутых по пути дальнейшей эволюции эргативных языков — смешанный или даже чисто именной морфологический тип, в котором отношения эргативности находят свое выражение уже исключительно в составе именных компонентов предложения¹⁷. Любопытно отметить, что на интуитивных основаниях глагольный тип эргативной конструкции рассматривался в качестве наиболее древнего и в ряде ранних работ по языкам эргативной типологии.

Как свидетельствует сравнительная грамматика индоиранских языков, эргативообразная, а иногда даже и собственно эргативная конструкция предложения может сформироваться и на исторической базе номинативной структуры языка (принципиальная возможность такой эволюции как будто свидетельствует об определенной близости семантических детерминант эргативного и номинативного строя). Вместе с тем, наиболее существенным для адекватной диахронической квалификации индоиранской эргативности должно быть то бросающееся в глаза обстоятельство, что эргативная конструкция возникает здесь, в отличие от всех других затронутых выше случаев, не как следствие структурной эволюции глагола и поэтому не может иметь своей предпосылкой изменение принципа лексикализации глагольных слов (ср. также невозможность признать наличие в эргативных индоиранских языках двух принципов лексикализации глагольных лексем — одного для построений с их презентными формами и другого — для построений с их аористными формами). Как известно, эргативная конструкция имеет здесь совершенно иные истоки и складывалась не имеющим никаких аналогий путем преобразования компонентов исторически атрибутивной, а не предикативной синтагмы¹⁸ (в соответствии с этим рассматриваемая конструкция с момента своего становления вопреки обычному ходу развития характеризуется здесь смешанным, а не глагольным морфологическим обликом). Из специальной литературы становится ясным, что индоиранская эргативность имеет чисто структурную мотивацию и не предполагает какого-либо сдвига в содержательном плане языка.

С точки зрения адекватной оценки эргативной конструкции предложения в индоиранских языках весьма показательными представляются два факта: во-первых, будучи обусловлена за редчайшими исключениями лишь претеритными временными формами «транзитивного» глагола, она проводится непоследовательно; во-вторых, как подчеркивают ее исследователи, с момента своего формирования она обнаруживает тенденцию к контаминации с номинативной, т. е. оказывается неустойчивой. Еще более интересным является то обстоятельство, что наряду с непоследовательно проводимой эргативностью в целом ряде этих языков вопреки ожиданиям засвидетельствовано и параллельное функционирование подобия активной конструкции предложения при претеритных формах группы интранзитивных глаголов, передающих «одушевленное» действие (на-

¹⁷ Три морфологических разновидности эргативной конструкции были, по-видимому, впервые выделены И. И. Мещаниновым еще в 1935 г.: см. его «Язык Ванской клинписи (Die Van-Sprache). II. Структура речи» (Л., 1935, стр. 191—201). Ср.: Г. А. Климов, К определению эргативной конструкции предложения, сб. «Philologica. Исследования по языку и литературе», Л., 1973, стр. 199.

¹⁸ Ср.: E. V e n e n i s t e, La construction passive du parfait transitif, BSLP, 48, 1, 1952; Л. А. П и р е й к о, Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков, М., 1968, стр. 9—34.

пример: пушту *дъ асвелъл* «он вздыхал», *дъ дангъл* «он прыгал», *дъ траплъл* «он спешил», *дъ хандъл* «он смеялся»). Перечисленные факты приводят к мысли, что типология предложения в индоиранских языках, имеющих эргативную конструкцию, сложилась не как результат действия внутренних закономерностей их развития, а при участии фактора контакта с сопредельными представителями соответствующих структур (ср. бурушаски, гималайскую группу тибетско-бирманских языков и др.)¹⁹.

Таким образом, если изложенные выше соображения адекватны, то формирование устойчивой эргативной конструкции предложения должно, по-видимому, быть связано с процессом преобразования языков активной типологии²⁰.

¹⁹ Здесь представляется нецелесообразным останавливаться на недавно высказанной М. Халлидеем точке зрения о становлении эргативной конструкции в английском языке ввиду используемого при этом ее расширительного понимания, не предполагающего определенных типологических импликаций эргативности. См.: M. A. K. Halliday, Notes on transitivity and theme in English, «Journal of linguistics», 1967, 3; 1968, 4.

²⁰ Уже после того, как настоящая статья была сдана в печать, вышла в свет работа А. Н. Савченко «К вопросу о происхождении эргативной конструкции предложения» («Иберийско-кавказское языкознание», XVIII, Тбилиси, 1973, стр. 134—143), решающая поставленную проблему принципиально сходным образом.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. П. ВОЛОДИН

К ВОПРОСУ ОБ ЭРГАТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (на материале ительменского языка)

0. Чукотско-камчатские языки характеризуются как языки эргативного строя: при наличии двух типов спряжения глагола — непереходного (иначе: субъектного) и переходного (иначе: субъектно-объектного) — субъект действия в предложении с переходным глаголом оформляется косвенным (эрг.-твор.) падежом, а объект действия — прямым (абс. или им.) падежом, так же, как субъект в предложении с непереходным глаголом. Конструкция предложения с непереходным глаголом традиционно называется номинативной, конструкция предложения с переходным глаголом — эргативной. В специальной литературе утверждается, что эргативная конструкция ительменского языка обладает теми же структурными признаками, что и в других чукотско-камчатских языках; отличие состоит лишь в том, что субъект действия в эргативной конструкции ительменского языка оформляется не твор., а местн. падежом¹.

Позднее обнаружилось, что эргативная конструкция с субъектом действия в местн. падеже крайне редко встречается как в текстах, так и в разговорной речи. Продуктивной конструкцией предложения с переходным глаголом в ительменском оказалась так называемая «абсолютная конструкция» (когда и субъект, и объект действия одинаково выражаются абс. падежом). Это заставляло характеризовать эргативную конструкцию в ительменском как «пережиточную», однако вопрос о том, каково соотношение абсолютной и эргативной конструкций, какова их дистрибуция, не получил удовлетворительного ответа².

Новые, впервые обнаруженные явления ительменской грамматики позволяют, как кажется, ответить на этот вопрос.

1. Любой глагол субъектного спряжения в чукотско-камчатских языках порождает предложение номинативной конструкции (субъект выражен абс. падежом). В чукотском языке: 1) *Мури мытэкэтыркын майңываамэты* «Мы отправляемся к большой реке»; 2) *Тумгыт егтэлгээт* «Товарищи спаслись». В корякском языке: 3) *Мую мытковэталлаң нымэлг'эв*, «Мы работаем хорошо»; 4) *Қайкмиңын куйгучев'ңың школак* «Ребенок учится в школе». В ительменском языке: 5) *Кэ́мма тл'аскичен т'ет'еманк к'ед'чукит* «Я сижу в дыму из-за комаров», 6) *Т'са́лай ил'ен т'ал'касч шу́зваланке* «Лиса ушла подальше в кусты».

¹ С. Н. Стебницкий, Ительменский язык, сб. «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934.

² См.: А. П. Володин, Способы выражения субъектно-объектных отношений в ительменском языке, сб. «Языки и фольклор народов сибирского Севера», М.—Л., 1966; е го же, Эргативная конструкция в ительменском языке, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967.

Любой глагол субъектно-объектного спряжения в чукотском и корякском языках порождает предложение эргативной конструкции (субъект выражен твор.-эрг. падежом, объект — абс. падежом). В чукотском языке: 7) *Моргынан мьтльунэт рыркат* «Мы увидели моржей»; 8) *Тумгэ нантыватын купрэн* «Товарищи поставили сеть». В корякском языке: 9) *Мочгынан мыччаёг'ыцын тэнмытэн* «Мы выполним план»; 10) *Қайыкмиңынак экминнин каликал* «Ребенок взял книгу». В ительменском языке любой глагол I и II субъектно-объектного спряжения порождает предложение абсолютной конструкции (как субъект, так и объект выражены абс. падежом): 11) *Кэмма тл'иннучен тхлочх силқайл'* «Я накормил старуху толкушей» (глагол I субъектно-объектного спряжения); 12) *Т'салай тхалнен тхалтхал* «Лиса съела мясо» (глагол I субъектно-объектного спряжения); 13) *Т'салай энжищнен мин'л'* «Лиса поймала зайца» (глагол II субъектно-объектного спряжения). Ни один глагол, взятый в какой-либо из личных форм субъектно-объектного спряжения (независимо от времени и вида), не порождает в ительменском предложения эргативной конструкции (с субъектом действия в местн. падеже).

2. Во всех чукотско-камчатских языках, включая ительменский, порядок слов относительно свободный, так как синтаксическая функция слова добавочно выражается средствами морфологии. Личная форма глагола всегда однозначно указывает, кто является деятелем и на кого (на что) направлено действие. Однако в ительменском, поскольку субъектно-объектный глагол порождает предложения абсолютной конструкции, имеется случай, когда порядок слов приобретает значимость. Это происходит при совпадении лица (и числа) субъекта и объекта действия, т. е. в 3-м лице: 14) *Исх ан'чпнен п'еч* «Отец выучил сына». В этом случае субъект всегда занимает место перед объектом действия; перемена их мест связана с переменной их функции и, следовательно, смысла всего предложения: 15) *П'еч ан'чпнен исх* «Сын выучил отца»³.

Эксперименты показали, что элиминация одного из имен в абс. падеже дает эллиптическую конструкцию, в которой оставшееся имя всегда будет выражать субъект действия: 14а) *Исх ан'чпнен* «Отец выучил» (но не «отца выучили»); 15а) *П'еч ан'чпнен* «Сын выучил» (но не «сына выучили»).

Элиминация слова *т'салай* из (13) вообще разрушает смысл: *тхалнен тхалтхал* «*мясо съело (кого-то)». Таким образом, имя в абс. падеже (если оно одно) при субъектно-объектном глаголе всегда обозначает субъект действия. Это резко отличает ительменский от других чукотско-камчатских языков, где имя в абс. падеже при субъектно-объектном глаголе всегда обозначает объект действия.

Однако по-ительменски возможна конструкция типа «сына выучили». Объект действия при этом, как и в других чукотско-камчатских языках, выражается абс. падежом. Меняется оформление глагола: 16) *П'еч нан'чпчен* «Сына выучили», ср. (14) и (15).

При таком оформлении глагола имя в абс. падеже всегда обозначает объект действия, и место его относительно глагола не фиксировано: 17) *Тхалтхал нтхалчен* «Мясо съели», ср. (12); 18) *Мин'л' ннккичен* «Зайца поймали», ср. (13).

Примеры (16) — (18) представляют собой вполне законченные предложения. Однако в случае актуализации субъекта он может быть введен в структуру. При этом субъект оформляется местн. падежом с показателем *-енк ~ -анк*: 19) *П'еч нан'чпчен исхенк* «Сына выучил отец», ср. (16);

³ Значимость в данном случае имеет только позиция субъекта относительно объекта действия; по отношению к глаголу они могут занимать любое место.

20) *T' salaienk tɬalɬɬal ntɬalɬen* «Лиса мясо съела», ср. (17); 21) *Min'-a' t' salaienk nɛnkɬikɛn* «Зайца лиса поймала», ср. (18).

В примерах (19) — (21) порядок слов свободный: имя, обозначающее субъект, и имя, обозначающее объект действия, оформлены разными падежами⁴. Подчеркнем, что субъект оформлен косвенным падежом, а объект — прямым. Иначе говоря, перед нами примеры предложений «эргативной» конструкции, совершенно аналогичные по оформлению тем примерам, которые приводит С. Н. Стебницкий⁵, говоря о «наиболее характерной черте синтаксиса» ительменского языка (к сожалению, в кратком синтаксическом разделе его статьи приведены только следующие три примера: 22) *Ksxoenk nralɬɬ nɛnɛn nɛnɛkɛɬɬ* «Собака укусила ребенка», 23) *Ksxoɛnk ntɬalkɬalɬɛn nozɛn* «Собаки будут есть юколу», 24) *Isxoenk nɛlɬɛn pɛɬal* «Отец возьмет шапку»).

Из сопоставления этих примеров и предложений (19) — (21) можно заметить, что глагол во всех этих предложениях оформлен одинаково префиксом *n-* и суффиксом *-ɛn*. Эта рамка передает значение 3-го лица субъекта действия при 3-м лице объекта; но мы тщетно стали бы искать эту форму в субъектно-объектных парадигмах ительменского языка — ее нет ни в парадигме, приводимой С. Н. Стебницким⁶, ни в позднейших парадигмах. Примеры (12) — (15) показывают, как выражается значение «он — его» в субъектно-объектных парадигмах ительменского языка: суффиксом *-nɛn* для I спряжения и суффиксом *-ɬɛnɛn* для II спряжения.

Отсюда следует вывод, что, наряду с субъектно-объектной парадигмой, формы которой порождают предложения только «абсолютной» конструкции (почему эту парадигму и можно условно назвать «абсолютной»), в ительменском существует вторая субъектно-объектная парадигма, формы которой порождают предложения только «эргативной» конструкции (и эту вторую парадигму можно условно назвать «эргативной»).

3. Такая парадигма была выделена. В отличие от субъектно-объектной, «абсолютной» парадигмы, состоящей из 28 форм, «эргативная» парадигма состоит только из шести форм. Такое различие вызвано тем, что «абсолютная» парадигма — конкретно-личная (если иметь в виду лицо субъекта действия): в каждой ее форме имеется точное указание на лицо — число субъекта и лицо — число объекта; «эргативная» же парадигма — обобщенно-личная: в каждой ее форме имеется точное указание на лицо — число объекта действия, тогда как субъект указан в общей форме: «они», «кто-то». Поэтому форму «абсолютной» парадигмы *an'ɬɛn-nɛn* информант всегда переведет «они выучили его», а форму «эргативной» парадигмы *n-an'ɬɛn-nɛn* — «его выучили».

Примеры, подобные (19) — (24), казалось бы, заставляют воздержаться от тезиса об обобщенно-личном характере предложений, порождаемых глаголом в форме на *n- /.../-ɛn*: во всех этих предложениях имеется конкретный субъект, выраженный именем в «эргативном» падеже. Однако тексты, записанные В. И. Иохельсоном в 1910—1911 гг.⁷, и наши собственные записи показывают, что этот субъект в форме на *-ɛnk* ~ *-ank* — н е о б я з а т е л ь н ы й член конструкции. Форма «эргативной» парадигмы на *n- /.../ -ɛn* нормально порождает предложения без всякого субъекта,

⁴ Мы намеренно воздерживаемся от перевода предложений (19) — (21) пассивными оборотами типа «сын выучен отцом», чтобы избежать слишком грубых параллелей с русским языком, хотя, возможно, основания для этого имеются.

⁵ См.: С. Н. Стебницкий, указ. соч., стр. 103 (в примерах сохранена авторская транскрипция).

⁶ Там же, стр. 96.

⁷ «Kamchadal texts collected by W. Jochelson», ed. by D. S. Worth, The Hague, 1961.

Особенно ярко и отчетливо проявляется этот факт, когда мы сталкиваемся с текстами этнографического характера, где рассказывается о способах охоты, приготовления той или иной пищи, выделки того или иного предмета и т. п. В нашем распоряжении имеется несколько десятков таких коротких рассказов. Вот один из них — о приготовлении килькила (одного из блюд традиционной ительменской кухни):

Текст: 1) Килэкил ёнсккзосчен ён'ч'ин айва'ан. 2) Нён'ч ёнкукатесчен ёнтозатесчен ёнкенёззат'асченлил' нлинсатесчен хамл'хед'. 3) Хамл'х келила'ин нён'чеззатесчен нинил' нлинсатесчен килэкил. 4) Н'войке лем ёнсккзосчен айва'ан килэкил. 5) Картове л'а'а'н лем ёнсккзусче'н киле'н. 6) Картовел'а'н ёнкукатесчен ёнтозатесчен ёззат'асчен ёнкелил' нлинсатесчен хамл'хед'. 7) Киле'н ёнсккзосчен атнок синк ма' нветаткзоскичен.

Перевод: «1) Килькил делают из рыбы (и) из мозгов. 2) Рыбу отваривают, растирают, кладут туда шикшу (болотная ягода), заливают жиром. 3) Нерпичий жир растапливают (и) обильно заливают килькил. 4) Так же делают килькил из мозгов. 5) Из картофеля тоже делают килькил. 6) Картофель отваривают, растирают, кладут туда шикшу (и) заливают жиром. 7) Килькил делают дома (и) в лесу, где работают».

В этом тексте 14 раз встречаются переходные глаголы, и все они оформлены префиксально-суффиксальной рамкой *н-.../-чен*, причем в каждом случае обязательно имеется объект действия, тогда как субъект ни разу не находит эксплицитного выражения. Называть субъект в данном случае не нужно: во-первых, он известен (им может быть всякий человек), во-вторых, субъект не важен (предметом рассказа является объект действия, который и выдвигается на передний план). В случае необходимости подчеркнуть, выделить субъект действия используется известная форма на *-енк ~ -анк*. Такая необходимость возникает не всегда, и поэтому в текстах примеры «эргативной» конструкции (т. е. предложения, в которых субъект действия выражен формой на *-енк ~ -анк*) весьма редки. Это и послужило первым толчком к тому, чтобы объявить «эргативную» конструкцию в ительменском «пережиточной».

4. Поскольку в «эргативной» парадигме субъект получает обобщенное выражение («кто-то», «они»), то естественно было сопоставить ее с субъектным рядом 3-го лица мн. числа. В сопоставлении обе парадигмы выглядят так:

Абсолютная парадигма (субъект 3-го лица мн. числа)	«Эргативная» парадигма
1. <i>н-ан'чп-миң</i> «они выучили меня»	<i>н-ан'чп-миң</i> «меня выучили»
2. <i>н-ан'чп-ҫин</i> «они выучили тебя»	<i>н-ан'чп-ҫин</i> «тебя выучили»
3. <i>н-ан'чп-нен</i> «они выучили его»	<i>н-ан'чп-чен</i> «его выучили»
4. <i>н-ан'чп-ми'ң</i> «они выучили нас»	<i>н-ан'чп-ми'ң</i> «нас выучили»
5. <i>н-ан'чп-схен</i> «они выучили вас»	<i>н-ан'чп-схен</i> «вас выучили»
6. <i>н-ан'чп-не'ң</i> «они выучили их»	<i>н-ан'чп-че'ң</i> «их выучили»

Как видим, различия очень малы. Только в третьей объектной строке («они — его») «абсолютная» и «эргативная» парадигмы имеют различные формы — *н- /.../-нен* и *н- /.../-чен* соответственно; это же различие повторяется в шестой объектной строке («они — их»): *н- /.../-не'ң* и *н- /.../-че'ң* соответственно). Только в этих двух случаях по форме глагола можно однозначно судить о конструкции предложения. Во всех остальных объектных строках парадигмы формы одинаковы и могут порождать предложения как абсолютной, так и «эргативной» конструкции: 25) *Лилл'е'ң кэмма нан'чпмиң* «Сестры выучили меня» (абсолютная конструк-

ция) и 26) *Лилихл'е'нк кэмма нан'чпмиң* то же («эргативная» конструкция); 27) *Лилихл'е'н кэза нан'чпун* «Сестры выучили тебя» («абсолютная» конструкция) и 28) *Лилихл'е'нк кэза нан'чпун* (то же, «эргативная» конструкция).

Случаи подобного рода заставляли сделать вывод, что субъектно-объектная форма глагола в ительменском безразлична по отношению к порождаемой ею конструкции предложения. И все же «эргативная» и «абсолютная» парадигмы имеют четкое формальное различие в третьей объектной строке, т. е. в случае наиболее частотном, наиболее характерном для речи. Только в этом случае вместо местоимений может быть подставлено любое имя как для субъекта, так и для объекта действия (то же относится к шестой объектной строке). Все остальные объектные строки в обеих парадигмах ограничены со стороны объекта местоимениями строго определенного лица и числа. В текстах эти формы встречаются гораздо реже, и поэтому, вероятно, не было необходимости различать их специальными показателями в «абсолютной» и «эргативной» парадигмах.

Пристальный анализ позволяет усмотреть различие между обеими парадигмами во всех объектных строках. «Эргативная» парадигма реагирует на лицо субъекта (всегда 3-е), но безразлична к числу. В то же время соответствующие формы «абсолютной» парадигмы всегда передают значение субъекта 3-го лица мн. числа. Поэтому в (25) и (27) субъект всегда выступает во мн. числе (*лилихл'е'н*), и ед. число субъекта предполагает другое оформление глагола, тогда как в (26) и (28) субъект действия может быть выражен как формой мн. числа (*лилихл'е'нк*), так и формой ед. числа, и на оформлении глагола это не отразится: 29) *Лилихл'енк кэмма нан'чпмиң* «Сестра выучила меня» («эргативная» конструкция, но: *Лилихл' кэмма ан'чпмиң* то же, «абсолютная» конструкция); 30) *Лилихл'енк кэза нан'чпун* «Сестра выучила тебя» («эргативная» конструкция; но: *Лилихл' кэза ан'чпун* с тем же значением, «абсолютная» конструкция).

5. Итак, «эргативная» конструкция предложения в ительменском существует как конструкция с обобщенно-личным субъектом действия, т. е. субъектом только 3-го лица, который в случае необходимости вводится в структуру предложения в форме местн. падежа. Это значит, что при субъекте не-третьего лица, который выражается личным местоимением и потому всегда конкретен, «эргативная» конструкция в ительменском невозможна. Между тем в более ранних работах по ительменскому языку утверждалось, что личные местоимения, наряду с формой абс. падежа, имеют и форму «эргативного» падежа (С. Н. Стебницкий и Т. А. Молл называют его падежом действующего лица)⁸. Формы этого «падежа», в сопоставлении с формами абс. падежа, выглядят так:

Абсолютный падеж		Падеж действующего лица
<i>кэмма</i>	«Я»	<i>кэмлэн</i>
<i>кэза</i>	«ТЫ»	<i>кэлэн</i>
<i>энна</i>	«ОН»	<i>шнеҫа</i>
<i>муза'н</i>	«МЫ»	<i>мээлэн</i>
<i>туза'н</i>	«ВЫ»	<i>тээлэн</i>
<i>итх</i>	«ОНИ»	<i>тл'эн</i>

Наличие подобных двух рядов форм сближает ительменский с другими чукотско-камчатскими языками, где формы эрг. падежа обозначают

⁸ С. Н. Стебницкий, указ. соч., стр. 92; Т. А. Молл, Очерк фонетики и морфологии седангинского диалекта ительменского языка; «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 167, 1960, стр. 209.

субъект действия в предложениях эргативной конструкции [ср. чукотские примеры (1) и (7), корякские примеры (2) и (9)]. Между формами эрг. падежа других чукотско-камчатских языков и ительменского наблюдается даже известное материальное сходство. Все это первоначально также заставляло приписывать формам падежа действующего лица в ительменском ту же функцию, что и формам эрг. падежа личных местоимений в других чукотско-камчатских языках. Прежде эти формы были идентифицированы как формы эрг. падежа⁹: на первом этапе исследования ительменского синтаксиса они считались внешними признаками эргативной конструкции. Однако в текстах сразу же были обнаружены пары предложений, в которых субъект выражался либо формой абс. падежа, либо формой «эргативного»; 31) *Кэмма т'ан'чпчен тизун п'е'н* «Я выучил ваших детей»; 32) *Кмэ́лвэ́н т'ан'чпчен тизун п'е'н* (то же).

Полевые исследования подтвердили, что форма глагола совершенно не реагирует на то или иное оформление местоимения в функции субъекта действия. Это было отнесено на счет «разрушения» эргативной конструкции в ительменском и ее «вытеснения» абсолютной конструкцией, поскольку примеры типа (26), (28), (32) встречаются гораздо реже. Такое же объяснение получили следующие примеры: 33) *Кцаң кэ́зза кэ́лшэ́н кэмма и'лк к'енкмиң кхтатмаң а́ззанке*¹⁰ «Сразу ты (абс.) ты (эрг.) меня за уши бери, тащи (меня) наружу»; 34) *Ашно'н'чк Сисил'хан инеуа тешсе́зуэ-нен нарта*¹¹ «На подъемах Сисильхан (абс.) он (эрг.) поднимал (все время) нарту». В этих примерах субъект действия выражен дважды — формой абс. падежа и формой «эргативного» падежа.

Позже были обнаружены такие примеры: 35) *Хол'а'н нил'кичен мзи́лшун э́нникл'атакичен* «Парни ушли, (а) мы спать легли», 36) *Кэмма қа'м айқал' нукақ тскичен км'улш'н тпилүетескичен* «У меня есть нечего, я сам голодаю». Предложения (35) и (36) представляют собою примеры номинативной конструкции, со сказуемым — непереходным глаголом; и тем не менее, формы «эргативного» падежа оформляют здесь субъект состояния, т. е. выступают в совершенно несвойственной им функции. В других чукотско-камчатских языках подобное невозможно.

Примеры типа (35), (36) заставляют сделать вывод, что формы «эргативного» падежа личных местоимений в ительменском сопоставимы по функции скорее с абс. падежом, который обозначает субъект как при непереходном, так и при переходном глаголе. Между тем известно, что при глаголе «эргативной» парадигмы имя (resp. местоимение) в абс. падеже всегда обозначает объект действия: *э́нна нан'чпчен* «его выучили». Что же значит *инеуа нан'чпчен* — форма «эргативного» падежа местоимения при глаголе «эргативной» парадигмы? Как оказалось, она также обозначает объект действия: *инеуа нан'чпчен* переводится как «его самого выучили».

Итак, формы личных местоимений, называемые «падежом действующего лица», «эргативным падежом», не выполняют функций, присущих этим формам в других чукотско-камчатских языках. Они выполняют те же функции, что и формы абс. падежа, т. е. обозначают субъект при глаголе абсолютной парадигмы и объект при глаголе «эргативной» парадигмы. Отличие их от форм абс. падежа в том, что они обозначают подчеркнутое указание на лицо: *кмэ́лвэ́н* «я сам», *кэ́лвэ́н* «ты сам» и т. д. Следовательно,

⁹ См.: А. П. Володин, А. Н. Жукова, Ительменский язык, «Языки народов СССР», V, Л., 1968, стр. 339.

¹⁰ «Kamchadal texts...», стр. 137.

¹¹ Е. П. Орлова, Ительменские сказки. Тексты с переводами, [Л.], 1937 (стеклограф., ЛИНГФак ЛИФЛИ, на правах рукописи), стр. 37.

они не являются даже падежными формами, это скорее местоимение «сам», имеющее форму всех трех лиц. Если это так, значит, формы типа *кэмлвэн*, *кэллвэн* должны склоняться, как и формы типа *кэмма*, *кэсса* и др. Обнаружена только форма твор. падежа: *Кэсса кэллвэнетл'?* — *Э кэмлвэнетл'* «Ты одна? — Да, я одна» (буквально: «сама с собой»), *Энна шин'н'атл' сун'л'кзууен*. «Он один (сам с собой) жил». Но уже и этого достаточно, на наш взгляд, чтобы считать формы *кэмлвэн*, *кэллвэн* принадлежащими падежной парадигме: аффикс падежа терминален, т. е. занимает самый последний порядок в цепи морфем, образующих словоформу существительного; приведенные же примеры показывают, что аффикс *-лвэн* — нетерминальный аффикс.

6. Суммируя изложенное, можно наметить следующую схему соотношения различных конструкций предложения в ительменском языке¹².

Имеются две исходные конструкции предложения — субъектная (двучленная) и субъектно-объектная (трехчленная). Субъектно-объектной конструкции противопоставляются две производных конструкции предложения. Обе эти конструкции двучленные, но при необходимости они могут быть распространены за счет введения в них необязательных компонентов. В каждом случае эти компоненты выражаются формами косвенных падежей.

6.1. Одна из этих конструкций может быть определена как субъектно-обобщеннообъектная. Она порождается непереходными глаголами, производными от переходных: *анн'чпа'л'кес* «учить, учительствовать» < *ан'чпес* «учить кого-л.», *инэнккес* «ловить, заниматься промыслом» < *энккес* «ловить, промысливать кого-л.» Ср. 37) *Иақйақ эн'ч энккичуен* «Чайка поймала рыбу» (субъектно-объектная конструкция) и 38) *Иақйақ қа'м эм кичуенк инэнккэзуен қичуенк лем* «Чайка не только на реке промысливает (занимается ловлей), на море тоже» (субъектно-обобщеннообъектная конструкция).

В случае необходимости в эту последнюю конструкцию вводится компонент в косвенном падеже, уточняющий объект действия: 39) *Иақйақ эн'чел'инэнккэзуен* «Чайка (обычно) рыбой промысливает».

6.2. Другая двучленная конструкция, производная от субъектно-объектной, может быть определена как обобщенносубъектно-объектная. Она порождается тем же переходным глаголом, что и субъектно-объектная конструкция, но этот глагол выступает в форме специальной парадигмы (выше она условно именовалась «эргативной»): 40) *Эн'ч нэнккичен* «Рыбу поймали», ср. (37).

В случае необходимости в обобщенносубъектно-объектную конструкцию вводится компонент в косвенном падеже, уточняющий субъект действия: 41) *Иақйақанк нэн'ч нэнккичен* «Чайка рыбу поймала».

6.3. Следует отметить, что необязательные члены, вводимые как в обобщенносубъектно-объектную, так и в субъектно-обобщеннообъектную конструкции, оформляются одними и теми же падежами: твор. и местн. Дистрибуция этих падежей пока что до конца не выяснена. Можно только констатировать, что объект чаще всего вводится в форме твор. падежа, ср. (39); что же касается субъекта, то намечается тенденция оформлять местн. падежом субъект действия, когда в его роли выступает одушевленный предмет, и твор. падежом, когда в роли субъекта выступает неоду-

¹² Для того чтобы отчетливее показать характерные черты каждой конструкции, введем новые наименования для них. Так, конструкцию предложения с непереходным глаголом (традиционно именуемую номинативной) назовем по признаку наличия структурообразующего компонента субъектно; конструкцию с переходным глаголом (ранее всюду именуемую абсолютной) назовем субъектно-объектно. Тот же принцип положен в основу номинации производных конструкций.

шевленный предмет: 42) *К'эзза книн и с х е н к хейцин сон' л'езанке нтилүен* «Тебя твой отец до такой жизни довел», ср. также (19) — (24), (26), (28) — (30), (41); 43) *Т' л е н о л' испчен м'эзүанке қтз'эс* «Обва закрыл нам дорогу».

6.4. Основные конструкции простого предложения в ительменском показывает следующая схема:



Структурообразующие компоненты (субъект и прямой объект) выражаются формой абс. падежа.

По признаку наличия/отсутствия структурообразующих компонентов все конструкции распадаются на две группы: конструкции с обязательным наличием субъекта (субъектная и субъектно-обобщеннообъектная) и конструкции с обязательным наличием объекта (субъектно-объектная и обобщенносубъектно-объектная)¹³.

Конструкции с обязательным наличием субъекта порождаются глаголами субъектного спряжения: основными непереходными (субъектная) и производно-непереходными, образованными от переходных посредством префикса *ин- ~ ан-* (субъектно-обобщеннообъектная).

Конструкции с обязательным наличием объекта порождаются переходными глаголами, как основными, так и производными: субъектно-объектного спряжения (субъектно-объектная конструкция) и обобщенно-субъектно-объектного (обобщенносубъектно-объектная конструкция). Важно подчеркнуть, что и во втором случае спряжение сохраняет объектный характер. Отличительным признаком этого спряжения является префикс *н-*, передающий значение обобщенного указания на субъект.

Префикс *-ин- ~ ан-* и префикс *н-*, передающие значение неконкретного, обобщенного указания (первый — на объект, второй — на субъект), обнаруживают генетическое и материальное сходство (наличие тематического *-н-* в препозиции к корню) с аналогичными аффиксами других чукотско-камчатских языков.

7. Известно, что эргативная конструкция предложения получила свое название прежде всего по падежу субъекта. Впоследствии, однако, было установлено, что это не главная характерная черта эргативной конструкции. В целом ряде иберийско-кавказских языков субъект действия в эргативной конструкции не получает специфического, «эргативного» выражения (абхазский, абазинский, некоторые глагольные времена в грузинском и мегрельском). А. С. Чикобава характеризует эргатив как переменную морфологическую величину¹⁴. Существенными, постоянными признаками эргативной конструкции, по А. С. Чикобава, считаются: а) «безаккузативность» эргативной конструкции (объект выражается

¹³ Строго говоря, субъектно-объектная конструкция входит в обе эти оппозиции, поскольку и субъект, и объект являются в ней равно обязательными (структурообразующими) компонентами.

¹⁴ А. С. Ч и к о б а в а, Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов».

формой прямого падежа, как и субъект в номинативной конструкции); б) специфическое оформление переходного глагола (классное объектное или субъектно-объектное спряжение).

По этим структурным признакам трехчленная (субъектно-объектная) конструкция предложения в ительменском может быть трактована как эргативная. Структура субъектно-объектного глагола в этой конструкции очень близка другим чукотско-камчатским языкам (вплоть до материального совпадения некоторых личных аффиксов); отсутствие специфического оформления субъекта обнаруживает типологическое сходство ительменского с некоторыми иберийско-кавказскими языками.

В то же время двучленная обобщенносубъектно-объектная конструкция, ранее ошибочно принимаемая за «классическую» эргативную, не находит себе соответствия в других чукотско-камчатских языках. Эта конструкция может быть трактована как пассивная (по отношению к трехчленной, которая в этом случае должна рассматриваться как активная)¹⁵.

¹⁵ Ср. в этой связи: В. С. Х р а к о в с к и й, Активные и пассивные конструкции в языках эргативного строя, ВЯ, 1972, 5.

Д. И. ЭДЕЛЬМАН

О КОНСТРУКЦИЯХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Общеизвестен факт сосуществования в большинстве иранских языков номинативной и эргативной конструкций предложения. Эргативная характерна для предложений с переходными глаголами в формах прошедших времен, образованных от основ (бывших причастий) на **-ta*; номинативная — для предложений и с переходными, и с непереходными глаголами во всех других формах¹. С последней совпадает также конструкция с непереходными глаголами в прошедших временах от основы на **-ta*, что позволяет рассматривать ее не как особую «абсолютную», а как подкласс номинативной. Иными словами, предложения с глаголами в непрошедших временах и прошедших, образованных не от основ на **-ta*, знают здесь только номинативную схему; предложения с прошедшими временами от основ на **-ta* могут строиться либо по эргативной модели (с переходным глаголом), либо по неэргативной — практически номинативной (с непереходным глаголом).

Такое распределение обеих конструкций в тех языках, где представлена эргативная, свидетельствует о том, что типология предложения здесь не является ни выдержанной номинативной (где отсутствовала бы эргативная модель), ни тем более эргативной (где любые формы переходных глаголов требовали бы эргативного построения предложения), а носит смешанный характер. Эта черта типологии предложения обуславливает наличие здесь явлений, не свойственных последовательно номинативным или эргативным языкам. Так, эргативной конструкции противопоставлена не абсолютная, а номинативная, общая для непереходных глаголов во всех временных формах и для переходных глаголов в формах не от основы на **-ta*. К тому же для большинства иранских языков характерно наличие категории залога, а следовательно, и пассивных форм глагола и пассивного построения предложения (см. ниже), что обычно считается свойством языков номинативного строя, поскольку последовательно эргативные языки не имеют залога. Все эти явления позволяют характеризовать типологию предложения в большинстве иранских языков как смешанную номинативно-эргативную с резким преобладанием черт номинативности и подчиненным положением эргативной конструкции.

Номинативное построение находит здесь выражение в оформлении имени субъекта номинативом или прямым падежом, в субъектном согласовании глагола и в оформлении возможного объекта косвенным падежом (при наличии двух или более косвенных падежей — специальным объектным) или равнозначным ему предложным /последложным сочетанием, либо местоименной энклитикой; в ряде языков неопределенный объект передается прямым падежом. Общая схема конструкции: «я иду», «я делаю то-то», «я шел». Номинативная модель предложения унаследована иран-

¹ При образовании форм прошедших времен не от основ на **-ta* (ягнобский язык, имперфекты в мунджанском, парачи) используется номинативное построение.

скими языками из древнеиранского состояния, для которого она, судя по синтаксису языка памятников, была наиболее характерной.

Эргативная конструкция в иранских языках характеризуется постановкой имени-субъекта в косвенном падеже (обычно — в историческом генитиве) или заменой его местоименной энклитикой; имя-объект оформляется прямым падежом, но в ряде языков также и косвенным (или предложным/последложным сочетанием), если объект определенный. Глагол может иметь в одних языках объектное, в других — субъектно-объектное, в третьих — чисто субъектное или нулевое согласование. Общая схема предложения: «(у) меня это сделанное», «(у) меня это сделано» и т. п. Эргативная конструкция сложилась, по-видимому, на рубеже древнеиранской и среднеиранской языковых эпох из пассивно-посессивных оборотов типа древнеперсидского *ima tya manā/maiū kartam (astiy)* «это что у меня (или: мною) сделанное (есть)»². В дальнейшем, с превращением этих оборотов в устойчивые синтаксические конструкции, они были осмыслены как выражающие активное действие³. Это заставило ряд языков выработать новые средства для выражения пассива и соответственно еще одну — пассивную модель предложения.

Основные признаки пассивного построения: субъект действия в предложении факультативен; может быть выражен предложным/последложным или более пространном описательным сочетанием. Объект оформляется номинативом — прямым падежом. Предикат выражается либо аналитической формой пассива, либо описательным сочетанием, состоящим, как правило, из неличной формы основного глагола и личной формы глагола «становиться», «идти» или «приходить». Общая схема таких построений: «мною /при помощи меня/ посредством меня/ со стороны меня/ от моей руки (и т. д.) это сделанным стало/ пришло/ пошло».

Таким образом, во многих современных иранских языках предложения с переходными глаголами могут иметь три разных схемы построения — номинативную-активную, эргативную и пассивную — в зависимости от залоговых и видо-временных форм глагола; предложения с непереходными глаголами — одну, номинативную (см. табл. 1).

Материал, приведенный в табл. 1, показывает, что в языках номинативно-эргативной типологии (с преобладанием черт номинативности), где эргативная конструкция ограничена определенным набором видо-временных форм, она находится фактически в дополнительной дистрибуции к номинативно-активной конструкции, от которой отличается лишь формально, а не по характеру выражаемых отношений, и тем самым входит в систему актива. Это представляется необычным с точки зрения теории эргативности, разработанной на материале последовательно эргативных языков, согласно которой эргативная конструкция стоит вне залоговых противопоставлений. Однако для языков номинативно-эргативной типологии — при подчиненном положении эргативной конструкции и при ее дополнительной дистрибуции по отношению к номинативно-активной — трактовка ее как частной подсистемы активной, связанной с определенными видо-временными формами и отличной от номинативно-активной лишь формально, думается, вполне допустима. Это подтверждается тем, что во многих иранских языках наблюдаются случаи контами-

² Л. А. П и р е й к о, Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков, М., 1968, стр. 9 и сл. Иная трактовка этих оборотов дана в работе Дж. Кардона [G. S a r d o n a, The Indo-Iranian construction *mana (tama) kartam*, «Language», 1970, 46, 1], где они рассматриваются как сочетания, входящие в глагольную систему пассива, что едва ли правомерно.

³ Подробнее о различиях между эргативной конструкцией, которую иногда исследователи отдельных языков описывают как пассивную, и собственно пассивной см.: Л. А. П и р е й к о, указ. соч., стр. 39—40.

Таблица 1

Конструкции предложения в пушту

Временные формы	Номинативная		Эргативная	Пассивная
	непереходный глагол	переходный глагол		
	—	активный залог		пассивный залог
Настоящее	<i>zə darēžəm</i> «я останавливаюсь»	<i>zə day tarəm</i> «я его привязываю»	—	<i>day zmā lə xvā tarəl (ay) kēži</i> «он мною привязываем» (буквально: «он с моей стороны привязанным становится»)
Прошедшее несовершенное	<i>zə daredəm</i> «я останавливался»	—	<i>mā day tārə</i> «я его привязывал»	<i>day zmā lə xvā tarəl (ay) kedə</i> «он мною был привязываем» (буквально: «он с моей стороны привязанным становился»)

нации эргативной конструкции с номинативной-активной и никогда — с пассивной. В ряде этих языков, не знающих ныне эргативной модели предложения, но выявляющих ее явные рефлексy в виде генитивного происхождения общих внепадежных форм (показатель мн. числа *-ān* < др.-иран. род. мн. *-ānām*⁴, местоимение 1-го лица ед. числа *man* < др.-иран. род. ед. *mana*), утрата ее произошла путем контаминации с номинативной-активной, но не с пассивной.

Все эти модели предложения, обусловленные в конечном счете семантикой глагола (переходностью/непереходностью), уже освещались в литературе, поэтому здесь лишь делается попытка установить их соотношения в рамках единой системы.

Значительно меньше внимания уделяется обычно другим характерным для иранских языков построениям, которые, как и рассмотренные выше, связаны с семантикой предиката. Наиболее общими из них являются посессивные конструкции, или конструкции наличия (типа «у меня это есть»), и конструкции, обозначающие физическое и психическое состояние субъекта (типа «мне холодно», «мне голодно», «мне нравится», «мне страшно» и т. п.)⁵, иногда характеризующиеся в качестве разновидностей эргативной. В литературе уже рассматривался вопрос о связи между образованием эргативных построений в индоиранских языках и отсутствием в них в древний период глагола со значением «иметь»⁶. Этот же фактор обусловил и наличие в них посессивных конструкций.

Глагол, который в ряде иранских языков развил абстрактную семантику «иметь», — и. е. **dher-*, **dhera-* (Роконгу, 252), др.-инд. *dhar-*, др.-иран. **dar-* — в древнеиранских языках еще этой семантики не имел и выявлял определенный круг конкретных значений: «держатель», «удержи-

⁴ См.: Б. В. Миллер, Показатель множественности «ān» в иранских языках, сб. «Памяти акад. Н. Я. Марра», М. — Л., 1938, где указывается, что некоторые авторы считают *-ān* продолжением не генитива, а номинатива типа **-ānas*.

⁵ См.: Б. В. Миллер, О полистадиальности иранских языков, сб. «Академия наук — академику Н. Я. Марру», М. — Л., 1935, стр. 310.

⁶ A. Meillet, Le développement du verbe *avoir*, «Antidoron J. Wackernagel», Göttingen, 1923, стр. 9—13; E. Benveniste, La construction passive du parfait transitif, BSLP, 48, 1, 1952; Л. А. Пирейко, указ. соч., стр. 28 и сл.

вать», «схватывать», «содержать» и несколько более отвлеченное — «владеть». Например, др.-перс. *Aspačanā vaçabara Dārayavahauš xšāyaθiyahyā isuvām dārayatīy*. DNd. 1—2 «Аспатина щитоносец(?) держит боевой топор Дария-царя»; авест. *vispe haoma... yaēcit qzahu dərətāyō* Y. 10. 17 «все, о хаома, те, которые в тяготах содержащиеся...». Идея же обладания в древнеиранских языках выражалась исключительно конструкцией наличия с выражением субъекта обладания именем в генитиве⁷ или местоименной энклитикой, как и в именных сочетаниях принадлежности (типа «мой дом»), объекта — именем в номинативе, предиката — факультативной связкой или глаголом *ah-* «быть», либо глаголом *bav-* «быть», «становиться». Например, др.-перс. *avahyā Kabājiyahyā brātā Bardīya nāma āha* DB. I. 29—30 «У того Камбиза брат по имени Бардия был».

Далеко не во всех иранских языках средней и новой эпохи у основы **dar-* развилась абстрактная семантика «иметь», и, следовательно, далеко не во всех языках появилась конструкция обладания типа «я имею». В отдельных языках, например в осетинском, ягнобском, глагол с основой **dar-* сохраняет древнее конкретное значение, не приобретая абстрактного. В ряде других, например в курдском (в курманджи и мукри), язгулямском, ваханском, глагол **dar-* самостоятельно вообще не употребляется (хотя этимологически прослеживается в окаменелых провербных основах, например, язг. *pərdar-* «держат; удерживать», *padir-* «удерживаться»). В некоторых языках, например ишкашимском и шугнано-рушанской группе, эта основа употребляется только в составе устойчивых глагольных фразеологизмов (или сложноименных глаголов) типа шугн. *χōj dēr: χōj dād, dāyd* (инфинитив *dērtōw* вторичного образования) «бояться» (буквально: «страх держать»), руш. *χōj dēr-* (формы прошедшего времени нет, инфинитив *dērtōw* вторичен) и т. п.

В этих языках, где, как и в древнеиранских, нет глагола «иметь», идея обладания выражается исключительно конструкциями наличия типа «у меня это есть /имеется». Их построение варьирует в зависимости от морфологических и лексических возможностей каждого языка. Наиболее общие принципы, отразившиеся, в частности, в севернопамирских языках, сводятся к следующим. Субъект обладания передается именем в косвенном (генитивного происхождения) падеже (если у данной категории имен есть падежи), сочетающемся обычно с послелогами: шугн. *du-aray vazēn-ēn māš-and yast*⁸ «Две-три козы у нас имеются»; руш. *mun-ā kurta yast*⁹ «У меня есть рубашка»; язг. *imi rang nak tu yast* «Ее облик — именно у тебя имеется»; *tu-me bu yast encavn?* «У тебя есть еще иголка?», ср. однако: *sum yast-yo tu-je?* «Есть у тебя [при себе] деньги?»¹⁰. Встречается также выражение субъекта обладания историческими местоименными энклити-

⁷ Ср. различие конструкций принадлежности с генитивом и обладания с дативом субъекта в других древних индоевропейских языках, см.: E. V e n e i s t e, «Etre et «avoir» dans leurs fonctions linguistiques, BSLP, 55, 1, 1960, стр. 123. Отсутствие формы датива в древнеперсидском и неразличение генитива/датива энклитикой затрудняют выявление таких различий в древнеиранском материале.

⁸ И. И. З а р у б и н, Шугнанские тексты и словарь, М.—Л., 1960 (далее — Зар. Сл.), стр. 53.

⁹ М. Ф а й з о в, Язык рушанцев Советского Памира, Душанбе, 1966 (далее — Ф.), стр. 204.

¹⁰ Различение в севернопамирских языках собственно принадлежности (или постоянного наличия), с одной стороны, и наличия «при себе» (или временного наличия), с другой, путем присоединения разных послелогов типологически напоминает различие генитивных и дативных конструкций в древних индоевропейских языках (см. примеч. 7) и имеет аналогии в других иранских языках. В частности, как любезно сообщил В. И. Абаев, в осетинском в случае неотчуждаемой принадлежности субъект выражается именем в дательном, отчуждаемой — в направительном падеже: *īs tyn dywwx læppijy* «Есть у меня два мальчика (сына)», ср. *īs tæm fonz qūzy* «Есть у меня пять коров».

ками; например, язг. *ded-a nān-at yast-yo?* «Отец-мать у тебя есть ли?»; *dow bon čiray-af yast* «У вас есть два абрикосовых дерева». Объект обладания передается именем в прямом падеже.

Предикат выражен обычно глаголом наличия и отождествления *yast* «имеется; есть; является», отличным от современной связки, с которой в основном совпали исторические энклитики. Будучи по происхождению застывшей формой старой связки 3-го лица ед. числа, *yast* (<**asti*) является исключением с точки зрения спряжения, выражая лицо и число современными связками или отделяемыми личными показателями.

В конструкциях наличия, когда субъект обладания выражен в предложении именем, как и в конструкциях отождествления, энклитика при *yast* выступает как отделяемый личный показатель, согласующийся с подлежащим (т. е. в конструкциях наличия — с объектом обладания): сарык. *mū-yap da šart yost*¹¹ «У меня два условия имеются» (ср. язг. *yast-əm xəšri?* «Являюсь [ли я] красивой?»). В тех конструкциях наличия, где субъект не выражен именем, энклитика выступает в своем историческом значении выразителя субъекта обладания, и основа *yast* имеет практически нулевое согласование (примеры см. выше).

В язгуляемском языке глагол *yast* развил различные отрицательные формы для конструкции наличия и отождествления: в первой употребляются формы *na-yast*, *nest* «не имеется; нет», во второй — *nast* «не является; не есть». Примеры: *dow roc-əm yúst-ata wū doyd-ja nā-yast* «Два сына у меня есть, но ни одной дочери нет», но *nast-ay varm*, *yəbór* «[Это] не есть облака, [а] мгла». В большинстве же языков отрицательная форма универсальна, ср. руш. *mun-ā kiṭōb nist* Ф 206 «У меня нет книги»; *az-um āblā nist*¹² «Я не дурак».

Характерно, что если в конструкциях отождествления чаще выступает современная связка (глагол *yast* используется здесь при стилистическом подчеркивании отождествления), то в конструкциях наличия предпочтительнее употребление именно *yast*. Связка отмечается крайне редко: бадж. *mév-īnd-en di čīd*¹³ «У них два дома суть». К тому же, поскольку подлежащее — объект обладания — в конструкции наличия обычно представлено 3-м лицом, соотносимая с ним связка, как правило, опускается, и такие построения без основы *yast* не имеют формально выраженного предиката: хуф. *dūm-ōw aráy jōn* С РТ 92 «У нее три души»; бадж. *dī-nd yi šart* К 247 «У него одно условие»; *nur tu-nd kor* К 251 «Сегодня у меня дело».

В прошедших временах и неизъявительном плане в конструкциях наличия (как и отождествления) употребляется глагол «быть», с теми же правилами выражения субъекта и согласования предиката: руш. *biyō māš-ā waht na-vid* Ф 105 «Вчера у нас не было времени»; *way-ā mis čil rizēn váwan* С РТ 55 «Чтобы у него тоже были сорок дочерей»; хуф. *pōdžō-yōw-an cavār ric vaḡ-at yi vērz vic* С РТ 73 «У царя были три сына и была одна кобыла»; язг. *dow roc-əm vad* «У меня было два сына».

Таким образом, севернопамирские языки практически продолжают древнюю конструкцию наличия. Сходное построение имеет эта модель и в других иранских языках — с косвенным или энклитическим оформлением субъекта, прямым — объекта и с выражением предиката глаголом

¹¹ Т. Н. П а х а л и н а, Сарыкольско-русский словарь, М., 1971 (далее — П СС), стр. 217.

¹² В. С. С о к о л о в а, Рушанские и хуфские тексты и словарь, М.—Л., 1959 (далее С РТ), стр. 216.

¹³ Д. К а р а м ш о е в, Баджувский диалект шугнанского языка, Душанбе, 1963 (далее — К), стр. 251.

«быть; иметься; наличествовать» или факультативной связкой¹⁴. В тех языках, где отсутствует глагол с абстрактной семантикой «иметь» (например, в курдском, осетинском, ягнобском, ваханском, ишкашимском), данное построение является единственным средством передачи отношения обладания. В других, например в персидском, таджикском, белуджском, гилянском, малых языках Ирана, пушту, мунджанском, где глагол **dar-* развил абстрактную семантику «иметь»¹⁵ и имеется конструкция обладания типа перс. *mān darām* «я имею», посессивная сосуществует с ней. В некоторых языках они распределены по говорам, или конструкция обладания является литературной нормой, а посессивная сохраняется и развивается в говорах, как это представлено, например, в таджикском языке. В других языках обе конструкции употребляются в языке параллельно, что вызывает их частичную контаминацию.

Именно такой частичной контаминацией можно, по-видимому, объяснить косвенный падеж субъекта при глаголе *lor-* (<**dar-*) «иметь» в мунджанском¹⁶ в формах настоящего времени, что исключает эргативную трактовку построения. Примеры: *mān šart lorəm* Г 37 «Я имею условие»; *ta čen pūri lōriy* Г 410 «Ты сколько сыновей имеешь?». При этом изредка встречается и прямой падеж субъекта, возможно, как остаточное явление: *tu tot-nēna lōraū yo čī-lōraū?* Г 39 «Ты отца-мать имеешь или не имеешь?». При продолжающемся параллельном употреблении конструкций обладания и наличия практически в одних и тех же отрезках речи (например, *tu tot-nēna lōraū yo čī-lōraū?... — mān tot-nēna āštāt* Г 39 «— Ты отца-мать имеешь или не имеешь?... — У меня отец-мать имеются») контаминация этих конструкций идет еще дальше, и застывшая форма 3-го лица ед. числа глагола «иметь» *let* начинает употребляться в конструкциях наличия в значении «имеется; есть»: *mān yū pūr let* Г 410 «У меня один сын есть»; *da Mānjon sāsti qalbi let* Г 149 «В Мунджане крутые горы есть».

Сходного типа конструкции наличия отмечаются и в других иранских языках. В гилянском это конструкция с недостаточным глаголом *dərə* «находится; имеется»¹⁷ (он же выступает и как вспомогательный в «определенных» формах, там, где в персидском выступает *daštān* «иметь»). Не исключено, что «неправильное» спряжение глагола «иметь» в ряде малых языков Ирана, например натанзи, ярани, фаризанди¹⁸, махаллати¹⁹ и др., также связано с явлением контаминации конструкций «я имею» и «у меня имеется». Характерно при этом, что все более или менее надежные примеры контаминации говорят о тенденции перестройки конструкции обладания по типу конструкции наличия и глагола «иметь» по типу «иметься», а не наоборот, что свидетельствует о большей устойчивости именно второй конструкции.

¹⁴ Различение собственно связки и глагола «иметься; наличествовать» распространено очень широко в иранских языках, ср. тадж. *ast — hast*, белудж. *in — ast*, гилян. *ə — isə, dərə*, авромани *ā — han*, пушту *dəy — s/šta* и т. п. В отдельных языках это различие захватывает и прошедшее время (шемерзади: *bea ~ dāvia*) и даже всю парадигму (мукри *bān ~ hebān*).

¹⁵ В некоторых языках глагол **dar-*, развил новую семантику «иметь», сохраняет и старую «держат; хватать», что отражается на его парадигме: в конкретном значении он имеет полную парадигму, в абстрактном — ограниченный набор форм (например, в литературном таджикском, персидском).

¹⁶ См.: А. Л. Г р ю б е р г, Языки Восточного Гиндукуша. Мунджанский язык, Л., 1972 (далее — Г), стр. 428.

¹⁷ В. С. Р а с т о р г у е в а, Глагол, в кн.: «Гилянский язык», М., 1971 (далее — Гил.), стр. 139—140, 150.

¹⁸ См.: A. C h r i s t e n s e n, Contributions à la dialectologie iranienne. Dialecte guilāki de Recht. Dialectes de Fārizānd, de Yaran et de Natanz, København, 1930, стр. 137, 249; Б. В. М и л л е р, О полистадиальности..., стр. 310.

¹⁹ О. М а n n, К. Н а d а n k, Kurdisch-persische Forschungen, Abt. III, I, Berlin — Leipzig, 1926 (далее — KPF), стр. 77.

Конструкция паличия в некоторых языках сходна с эргативной, что дало повод отдельным авторам рассматривать ее как разновидность последней. Однако всестороннее рассмотрение не дает для этого оснований, поскольку конструкция паличия: 1) отличается от эргативной по существу передаваемых ею специфических отношений; 2) основой ее является непереходный глагол бытия или паличия; 3) она используется независимо от временной соотнесенности глагола, что для иранской эргативной конструкции невозможно; 4) она распространена и в тех языках, где нет эргативной конструкции, и не мотивирована ею.

Особое место занимают отмечаемые во многих иранских языках построения, передающие физическое или психическое состояние субъекта: голод, жажду, сонливость, желание, любовь, страх, стыд и т. п. В них субъект, находящийся в данном состоянии, выражается именем в косвенном падеже (в ряде языков — с предлогами или послелогоми), либо энклитикой, независимо от временной соотнесенности состояния. Распространение этих конструкций по языкам не так единообразно, как распространение посессивных: то, что в одном языке выражается описанной здесь «косвенной» конструкцией типа «мне голодно», «мне стыдно», «мне нравится», «мне больно», «мне страшно» и т. п., в другом может выразиться «прямой» конструкцией типа «я голодный ем», «я стыд имею», «я люблю», «я испытываю боль», «я боюсь» и т. д. и наоборот.

Для севернопамирских языков, например, характерно использование для выражения любви, желания «косвенной» конструкции. Наиболее последовательно она представлена в язгулямском, где предикатом является неизменяемая основа или глагольное имя *γi* «хотящий, любящий; желание; любовь» (в прошедшем времени добавляется основа прошедшего времени *vad* глагола «быть»). Имя субъекта состояния оформляется здесь косвенным падежом (для той категории имен, которая имеет падежи), либо выражается исторической местоименной энклитикой. Все построение в целом, таким образом, формально сходно с эргативным: *dim na xi doγd manor γi* «Она очень любит свою дочь» (ср. *dim na xi doγd wint* «Она увидела свою дочь»); *na-γi-t* «Я не хочу» (ср. *na-wint-əm* «Я не видел»), *čig-at γi vad?* «Что ты хотела?» (ср. *čig-at-wintá vad?* «Что ты видела?»).

Такого же типа построения отмечаются в шугнано-рушанской группе. Так, рушанский и, по-видимому, хуфский еще сохраняют «косвенный» его характер: руш. *way rad niγišt lap žiwj* С РТ 304 «Он очень любит слушать радио»; *ca žiwj-i um...* С РТ 304 «Раз он ее любит...»; хуф. *tu žū(w)j* С РТ 304 «Я хочу». В других языках этой группы наблюдается сближение рассматриваемых конструкций (в разной степени в различных языках) с «прямыми» построениями. В бартагском встречаются как «косвенная» конструкция (*az mun-at žōwj?*²⁰ «Ты меня любишь?»), так и переходные от «косвенной» к «прямой» — выражение субъекта и косвенным падежом имени, и энклитикой одновременно (*mun-um az dī na-žōwj vad* С БТ 33 «Я его не любила»), и, наконец, «прямая», аналогичная конструкции при непереходном глаголе в прошедших временах (*az-um γi čizad-um na-žōwj* С БТ 39 «Я ничего не хочу»). В шугнанском (и баджувском) субъект всегда выражается прямым падежом и энклитикой, как при любых (поскольку здесь эргативная конструкция утрачена) глаголах в прошедших временах: шугн. *wiz-um wi na-žiwj* Зар. Сл. 61 «Я его не люблю»; бадж. *tu-t tu cūdnd žiwj?* К 255 «Насколько ты меня любишь?».

²⁰ В. С. Соколова, Бартагские тексты и словарь, М.—Л., 1960 (далее — С БТ), стр. 33.

Таким образом, в севернопамирских языках конструкция с предикатом типа «любить; хотеть; нравиться» обнаруживает сходство с построениями, образуемыми переходными глаголами в прошедших временах, — с эргативным в тех из названных языков, где оно налицо, и с номинативным в тех языках, где нет эргативного. При этом в шугнанском (и баджувском), где нет эргативной модели предложения, но переходные глаголы, в отличие от непереходных, имеют в 3-м лице ед. числа показатель *-i* (старую энклитику), эта же энклитика наблюдается и в данной конструкции. В язгулямском и бартагском, где в 3-м лице мн. числа при переходных глаголах используется показатель язг. *əf-*, барт. *-af* (старая энклитика), он же употребляется и в данном построении: барт. *uf wī virōd-af az wī yičəθ na-žōwʃ* С БТ 55 «Те его братья его совсем не любили». В шугнано-рушанской группе эта конструкция стремится к дальнейшей перестройке по типу обычной модели предложения с переходным глаголом. В результате возникает вторичный сложноименный глагол с вспомогательным «делать» — *žiwʃ cidōw* (и вторичный инфинитив *žiwʃdōw*), спрягающийся как обычный глагол и не образующий особой модели предложения, например, барт. *yā xi řan lap žōwʃ-i čūg* С БТ 33 «Он очень любил свою жену».

«Косвенная» конструкция с предикатом «хотеть; любить; нравиться» наблюдается во многих других иранских языках. Таковы, например, конструкции с глаголом *wistin* «хотеть» в мукри (*de-m-e-wē* «мне хочется», *de-t-e-wē* «тебе хочется») ²¹, с глаголами *go-*, *gu-* в значении «хотеть; любить» в диалектах тати ²², *bayistān* в том же значении в татском ²³, *pie* «любить; хотеть; желать» в талышском ²⁴, *boyistan*, *voistan* в значении «хотеть; нравиться» в таджикских говорах ²⁵, с глаголами того же значения в ряде языков Ирана (семнани, шемерзади, махаллати, кохруд, хунсари, в диалектах Фарса и т. д.) ²⁶, *rimi-* «хотеться» в мунджанском (Г 428) и др.

Любопытно, что прослеживаемый в древнеперсидском прототип этой модели характеризуется не генитивным, как в конструкциях наличия, а аккузативным оформлением, что особенно важно, если учесть, что древний аккузатив употреблялся и в направительном значении: *yađā mām kāmā āha* DNa 37—38 «Как мне желательно было»; *tya rāstam awa mām kāmā* DNb 12 «Что правильно, то мне желательно».

Предложения, передающие другие типы психического состояния — страх, стыд и т. п., строятся по языкам различно, даже по таким близкородственным, как севернопамирские. Язгулямский, например, и здесь обнаруживает «косвенные» построения: *mon x°ayek* «я боюсь»; *tu mon qatay x°araj fərmāg?* «Ты стесняешься со мной есть?». В шугнано-рушанской группе соответствующая язгулямскому *x°ayek* основа *χōj* выступает в «прямых» — номинативных конструкциях: либо в значении «страх» в составе сложноименного глагола с вспомогательным **dar-* (например,

²¹ К. Р. Эйюби, И. А. Смирнова, Курдский диалект мукри, Л., 1968, стр. 99.

²² Е. У а г - Ш а т е г, A grammar of Southern Tati dialects, The Hague — Paris, 1969, стр. 242, 268—269.

²³ А. Л. Г р ю н б е р г, Язык северозербайджанских татов, Л., 1963 (далее Г Т), стр. 25.

²⁴ Б. В. М и л л е р, Талышский язык, М., 1953, стр. 182 и сл.

²⁵ См., например: А. Э. Р о з е н ф е л ь д, Ванджские говоры таджикского языка, Л., 1964, стр. 33, 67; М. М а х а д о в, Припанджские говоры таджиков Дарваза, АҚД, Душанбе, 1972, стр. 25; Б. С а д у л л а е в, Говоры таджиков Шахрисабза, АҚД, Душанбе, 1972, стр. 14.

²⁶ См.: КРФ, Abt. III, I, стр. LXXXIX, 19—20, 80 и др.; Б. В. М и л л е р, О полистадиальности..., стр. 310; КРФ, Abt. I, Berlin — Leipzig, 1909, стр. 39.

барт. *tū di-mand xōj dōr...* С БТ 27 «Поскольку ты боишься...»), либо в значении «боящийся» со связкой или глаголом *yat*-«приходить» (здесь — «становиться», например: руш. *az-um xōj* С РТ 293 «я боюсь»; бадж. *waz-um xōj yat* «я испугался», *waz xōj yādum* «я испугаюсь»). Значение стыда передается в шугнано-рушанской группе описательными оборотами, *tu-rd xarm, tu xu dars ca na-xōyi* «Тебе стыдно, что ты уроков не учишь».

Сходным образом — «косвенными» конструкциями — выражаются, например, в язгулямском языке значения физического состояния типа «мне голодно», «мне хочется пить», «мне хочется спать» и т. п. Эти конструкции, основой которых является глагольное имя на *-ág* или прилагательное типа *təxnág* «жаждущий», требуют оформления субъекта косвенным падежом или выражения его энклитикой: *mon x'arag* «я голоден»; — *tu paxsag?* — *nast-am paxsag* «— Тебе хочется спать? — Не хочется мне спать»; *mūn təxnag nast* «Я не хочу пить» (буквально: «мне не жаждется»). В шугнано-рушанской группе и здесь выступает «прямая» конструкция: барт. *az-um lap mōwz* С БТ 132 «Я очень голоден», бадж. *waz-um dūnd ma'xūn j yast idi...* «Я так голоден, что...».

Модели предложения с косвенным падежом или энклитикой в функции субъекта и неизменяемой формой предиката характерны для многих других иранских языков. Они отмечаются, например, в персидских говорах: тегеран. *gošne-m-e* «голодно-мне-есть», *gošne-t-e* «голодно-тебе-есть» и т. д. (ср. *sārd-eš-e* «холодно-ему-есть», *gārm-et-e* «жарко-тебе-есть», *če-tun-e?* «Что с вами?» и т. п.)²⁷, в малых языках и диалектах Ирана, а также в гилянском: *tā-ra vištā-y* Гил. 239 «Тебе голодно-есть», *mī zaāka gārm-a be* Гил. 232 «Моему ребенку жарко будет»; в татском: *in sāgā kišnā-y-ū* «Эта собака голодная» (Г Т 25); в мунджанском такую конструкцию образует глагол *larāvīy*-«недомогать; болеть» (Г 428).

Все эти «косвенные» конструкции, несмотря на их внешнее сходство с эргативными, не могут быть причислены к последним практически по тем же причинам, по которым не причисляются к ним и конструкции наличия. Данные конструкции — их можно условно назвать конструкциями состояния, или аффективными, — отличаются от эргативных тем, что они: 1) передают специфические отношения; 2) безразличны к переходности/непереходности предиката (если глаголы «любить», «хотеть» еще могут трактоваться как переходные, хотя часто выступают без объекта и могут подчеркивать более состояние субъекта, чем направленность действия на объект, то «стыдиться», «недомогать», «хотеть спать» и др. такой трактовке не поддаются) и могут образовываться не только с глагольными, но и с именными предикатами («холодно», «жарко» и т. п., сюда же относится и местоименный вариант с *če* «что»); 3) безразличны к временной соотнесенности состояния; 4) употребляются и в тех языках, где эргативное построение неизвестно. Очевидно, их следует выделить в особый тип аффективных конструкций, или конструкций состояния²⁸, имеющих возможным прототипом древнеиранскую модель с аккузативом субъекта.

К рассмотренным конструкциям состояния примыкают разнообразные идиоматические обороты со сходными значениями, где субъект имеет косвенное выражение, а составной предикат часто включает глаголы движения типа «приходить», «уносить» и др., подчеркивающие, что субъект здесь не является источником состояния, а состояние «приходит к нему» или «уносит его». Таковы, например, обороты типа «сон его уносит» (т. е.

²⁷ Л. С. Пейсков, Тегеранский диалект, М., 1960 (далее — ПТ), стр. 56.

²⁸ См. сравнение их с аффективной конструкцией в грузинском (Б. В. Миллер, О полистадиальности..., стр. 318), хотя в целом ученый считал их происхождение связанным с распространением эргативности на непереходные глаголы.

он засыпает) во многих иранских языках (например, хуф. *uf jāldað xūd m yēst* С РТ 73 «Они быстро засыпают»), «боль ему пришла» (тегеран. *dārd-eš umād* «боль-ему пришла», т. е. «ему стало больно», ср. *bavār-ām nemiyād* «вера-мне не приходит», т. е. «мне не верится» — П Т 56, тадж. *xanda-am omad* «смех-мне пришел», т. е. «мне стало смешно») и др., отмечаемые для персидского, таджикского, памирских, пушту²⁹, татского (Г Т 25), авромани³⁰ и т. д.

Практически такие обороты можно найти во всех иранских языках. При этом отдельные основы в разных языках требуют описательных косвенных оборотов одинакового типа. Такова, например, основа *for-* «хотеться; нравиться», наблюдаемая в таджикском (*ba man nameforad* «мне не хочется; мне не нужно»), ряде памирских языков (шугн. *tu-rd na-fört*, вах. *mārək... nə fort*, сангл. *tum-ba na-bufōru* «мне не нравится», руш. *ūf-ri fērt* «им понравилось», барт. *tā-ri na-förd* «тебе не нравится»). Однако все эти построения, явно поздние, носят описательный характер разной степени идиоматичности и указывают скорее на тенденции развития отдельных синтаксических оборотов в будущем, чем на наличие особого типа конструкции предложения (ср. в рушанском *way žiwj* «он любит» с косвенным падежом субъекта и явно поздний описательный оборот с послелогом: *way-re fört* «ему нравится»).

Резюмируя сказанное выше, можно сделать следующие обобщения. В большинстве иранских языков различается пять синтаксических моделей предложения, наличие которых обусловлено в конечном счете семантической характеристикой их предиката. Первые три — номинативная, эргативная и пассивная — связаны с семантическим критерием переходности/непереходности глагола, последние две — конструкции наличия и состояния — с более частными семантическими группами предикатов.

Подавляющее большинство непереходных глаголов (кроме глаголов обозначающих физическое и психическое состояние в ряде языков) требует, независимо от видо-временной формы, номинативной конструкции предложения.

Большая часть переходных глаголов (кроме отдельных глаголов состояния) требует различных построений, в зависимости от залоговых и видо-временных форм глаголов: глаголы в активном залоге обуславливают конструкции эргативную (в прошедших временах с основой на *-ta) и номинативную (в непершедших временах и в прошедших, образованных не от основ на *-ta); глаголы в пассивном залоге — пассивную.

Глаголы со значением «иметься», «наличествовать», а также в ряде случаев связка и глагол «быть» в предложении со значением наличия требуют особой конструкции наличия, или посессивной, независимо от временной соотнесенности предиката.

Глаголы, а также именные предикаты со значением физического и психического состояния, в ряде языков образуют особые конструкции состояния, или аффективные, независимо от временной соотнесенности предиката или его спрягаемого компонента.

История этих конструкций различна. Номинативная восходит к общедревнеиранской номинативной схеме и через нее — к общеевропейской. Столь же древнее происхождение имеет и посессивная модель с древнеиранским генитивом (это не исключает возможности дативного построения отдельных ее разновидностей в более раннюю, чем зафиксированная памятниками, древнеиранскую эпоху, учитывая, что в древне-

²⁹ D. L. R. L o r i m e r, *Syntax of colloquial Pashtu*, Oxford, 1915, стр. 31.

³⁰ D. N. M a s k e n z i e, *The dialect of Awroman*, København, 1966, стр. 51 и сл.

персидском форма генитива объединяла функции этих двух падежей, а авестийские примеры слишком скудны, чтобы проследить на них общий принцип выражения принадлежности). Эргативная конструкция возникла из пассивно-посессивных оборотов³¹, т. е. из частной разновидности посессивной. Аффективная, или конструкция состояния, имеет возможным прототипом засвидетельствованную в древнеперсидском древнеиранскую аффективную модель с аккузативным оформлением имени субъекта. Пассивное построение предложения носит явно инновационный описательный характер, различно оформляется по языкам и выделилось, по-видимому, спонтанно в разных языках из номинативного активного.

В настоящее время наблюдается тенденция к контаминации в отдельных языках разных моделей, выражающих сходные отношения. Так, эргативная конструкция, противопоставленная номинативной-активной лишь формально, а не по характеру выражаемых отношений, имеет тенденцию к контаминации с ней. Посессивная, или конструкция наличия, может заменяться конструкцией обладания с глаголом «иметь», но, являясь в целом устойчивой за счет обособленности значения глагола и специфики отношений ее членов, может при параллельном употреблении способствовать перестройке конструкций обладания с «иметь» в посессивные с «иметься». Аффективные конструкции в ряде языков формально сходны с эргативными и параллельно с последними могут перестраиваться по типу обычных номинативных. В отдельных языках они весьма устойчивы.

Во всех иранских языках возникают новые «косвенные» обороты описательного характера с различной степенью идиоматичности, выражающие физическое и психическое состояние. Это говорит об определенной тенденции стилистически акцентировать отсутствие инициативы в возникновении состояния со стороны его субъекта.

Характерно, что посессивные и аффективные конструкции наблюдаются как в языках номинативно-эргативной типологии (пушту, курдском, язгулямском и др.), так и в языках чисто номинативной типологии (персидском, таджикском, осетинском, пугнанском и др.), тем самым, их мотивировка эргативностью исключается.

³¹ E. Benveniste, «Être» et «avoir» ..., стр. 123.

Г. К. ВЕРНЕР

РЕЛИКТОВЫЕ ПРИЗНАКИ АКТИВНОГО СТРОЯ
В КЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Светлой памяти Андрея Петровича Дульзона

Возросший интерес языковедов к енисейским языкам с их своеобразной структурой выдвигает в настоящее время на первый план наряду с другими вопрос об исконном строе предложения в енисейском праязыке (номинативный, эргативный или активный строй)¹. Решение этого вопроса будет способствовать уточнению места праенисейского в типологической и генеалогической классификациях языков Евразии, откроет новые возможности для сравнительно-типологических обобщений. Следует к тому же отметить, что успехи, достигнутые в изучении современных енисейских диалектов², особенно за истекшее десятилетие, и собранный во время полевых исследований огромный фактический материал делают постановку данного вопроса вполне возможной, хотя многие явления еще не нашли однозначного истолкования.

Накопленные данные показывают, что в современном кетском эргативная конструкция как таковая отсутствует, но наблюдаются некоторые черты, которые в известной мере сближают этот язык с языками эргативного строя³.

Сходство кетского с языками эргативного строя наблюдается, например, в субъектно-объектном спряжении, однако при этом остаются неизменными (не склоняются) имена и местоимения, согласующиеся с глагольными формами в качестве субъекта действия (т. е. нет как такового эргативного падежа). По особенностям субъектно-объектного спряжения кетский сближается, с одной стороны, с языками типа ненецкого, о которых И. И. Мещанинов заметил, что они лишь приближаются по структуре глагольных форм к языкам эргативного строя⁴, а с другой — с языками типа абхазского и эламского⁵. Последние, хотя и не обнаруживают

¹ Возможность выделения данных трех целостных систем обоснована в статье: Г. А. Климов, К характеристике языков активного строя, ВЯ, 1972, 4.

² Следует особо выделить следующие исследования: К. В о u d a, Das kottische Verbum. Beiträge zur kaukasischen und sibirischen Sprachwissenschaft. 2, «Deutsche Morgenländische Gesellschaft. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes», 22, 4, Leipzig, 1937; его же, Die Sprache der Jenissejer, «Anthropos», 52, 1—2, 1957; А. П. Дульзон, Кетский язык, Томск, 1968; Е. А. Крейнович, Глагол кетского языка, Л., 1968; «Кетский сборник. Лингвистика», М., 1968 (далее сокращенно — КСЛ); «Кетский сборник. Мифология, этнография, тексты», М., 1969, и др.

³ См.: Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский, Предисловие. Кеты, их язык, культура, история, КСЛ, стр. 10; М. Н. Валл, Употребление падежей в кетском языке. АҚД, Новосибирск, 1970, стр. 5.

⁴ И. И. Мещанинов, Эргативная конструкция в языках различных типов, Л., 1967, стр. 50—51.

⁵ См.: А. С. Чикобава, Проблема эргативной конструкции в кавказских языках: стабильный и лабильный варианты этой конструкции, «Изв. ИЯИМК», XII, Тбилиси, 1942, стр. 223—224; Г. А. Климов, Кавказские языки, М., 1965, стр. 33; И. М. Дьяконов, Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 104.

особого падежа у имени в роли субъекта переходного действия, все же признаются эргативными по особенности своего субъектно-объектного спряжения, а именно — по совпадению показателей субъекта при глаголе непереходной семантики с показателями объекта при глаголе переходной семантики (ср. в особенности факты абхазского языка)⁶. Возникает, однако, вопрос, можно ли в таком случае реконструировать эргативную конструкцию для более раннего этапа развития кетского или — шире — праенисейского языка, или же енисейские языки вообще не знали эргативной конструкции, и, следовательно, наблюдающиеся схождения с языками эргативного строя требуют иной интерпретации?

Большой интерес представляет в этом отношении точка зрения, согласно которой, кроме языков номинативного и эргативного строя, можно еще различать языки активного строя, являющиеся, по Г. А. Климову, «типологическими предшественниками языков выдержанного эргативного строя»⁷. Если учитывать архаический характер енисейского языкового типа, то подобная интерпретация кетских языковых фактов в историческом плане не исключается; ниже мы предпримем попытку истолковать схождения между кетским языком, с одной стороны, и языками эргативного строя, с другой, исходя именно из данной предпосылки⁸.

Как отмечается Г. А. Климовым, «...семантической детерминантой активного строя является противопоставление не субъектного и объектного начал (как это имеет место в языках эргативного и, по-видимому, номинативного строя), а активного и инактивного. В соответствии с этим структура названных языков специально ориентирована на передачу не субъектно-объектных отношений, которые находят здесь лишь имплицитное выражение, а отношений, существующих между активным и инактивным актантами...»⁹. В кетском субъектно-объектные отношения, правда, нашли выражение в структуре глагольных словоформ, но наблюдается ряд особенностей, которые, как будет показано ниже, позволяют определять их как вторичные.

В свое время оживленную дискуссию вызвал вопрос об именной классификации и категории рода в кетском языке; учитывая последующие изыскания исследователей в этой области¹⁰ и отвлекаясь от частности, можно, на наш взгляд, сегодня констатировать, что наиболее древним противопоставлением имен, на котором основаны прочие именные классификации и которое наложило глубокий отпечаток на всю грамматическую систему кетского языка, было противопоставление активных (одушевленных) и инактивных (неодушевленных) имен¹¹. При этом следует, разумеется, учитывать, что данная классификация основывалась на представлениях древних енисейцев об окружающей их действительности. Общеизвестно, что в силу мировоззренческих представлений древнего человека некоторые объекты неживой природы, равно как и многие физические явления природы, рассматривались как живые существа, и это,

⁶ И. О. Г е ц а д з е, К истории формирования эргативной конструкции в абхазском языке, сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 156—159; «Грамматика абхазского языка», Сухуми, 1968, стр. 77—87.

⁷ Г. А. К л и м о в, К характеристике языков активного строя, стр. 3.

⁸ На возможность такой интерпретации фактов кетского языка в историческом плане обратил внимание автора Вяч. Вс. Иванов.

⁹ Г. А. К л и м о в, К характеристике языков активного строя, стр. 4.

¹⁰ См. в особенности: В. Н. Т о п о р о в, Т. В. Ц и в ъ я н, Об изучении имени в кетском, КСЛ, стр. 230—235; Е. А. К р е й н о в и ч, О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка, там же, стр. 185—194; А. П. Д у л ь з о н, О древней центрально-азиатской языковой общности, «Труды Томск. ун-та», 197 — Вопросы русского языка и его говоров, 1968, стр. 178; И. Г. В е р н е р, Категории рода в кетском языке, АҚД, Томск, 1972, стр. 14—15.

¹¹ Ср.: А. П. Д у л ь з о н, Кетский язык, стр. 62.

естественно, отразилось на классификации имен: некоторые имена, обозначающие объекты и явления неживой природы, относились тем не менее к одушевленным именам. Так, в кетском к одушевленным именам относятся наименования людей по самым различным признакам и свойствам (полу, родству, возрасту, профессии, положению в обществе и т. д.), божеств, духов, мифологических персонажей, а также личные имена и прозвища (клички) людей и животных; наименования представителей животного мира, включая подводный животный мир и мир насекомых; наименования некоторых частей тела (например: имб. ¹² *тл'а* *ʔ*, сым. ² *тл'а* *ʔ* «палец»; имб. ³ *һу*:, сым. ³ *фһу*: «сердце»; кет. ² *мам* «женская грудь» и т. д.); подавляющее большинство наименований объектов растительного мира; наименования космических объектов и явлений природы (например: имб., ¹ *кһи'п*, сым. ¹ *хеп* «луна»; имб. ² *кэʔ*, сым. ⁴ *хэ'п*: *х* «звезда»; имб. ¹ *и'*, сым. ¹ *и'* «солнце»; имб. ⁵ *ул'ес'*, сым. ⁵ *урес* «дождь»; кет. ⁵ *ул'гит* «вихрь» и т. д.); наименования некоторых кожных заболеваний (например: имб. ⁶ *бэкс'а*, сым. ⁶ *бэксей* «болячка»; имб. ¹ *кы'п* «бородавка», имб. ⁸ *с'убаң* «фурункул»); наименования некоторых бытовых, хозяйственных и культовых предметов, а также наименования отдельных географических объектов (например, имб. ³ *кһу*:, сым. ⁴ *ху'п*: *п* «шест для лодки»; имб. ⁴ *кэр'*, ⁴ *кэ:дэ*, сым. ⁴ *кэ'п*: *т* «жердь»; сым. ¹ *ейску'и'* «икона», имб. ⁵ *бал'бес'* «крест»; имб. ¹ *кһу'к*, сым. ¹ *хук* «Енисей») и т. д.)¹³.

Конечно, в современном кетском исконное противопоставление активных и пассивных имен осложнено некоторыми поздними инновациями, например, подразделением одушевленных имен на имена мужского и женского родов, смешением в ряде случаев показателей женского и вещного родов, но тем не менее оно выражено грамматически еще довольно четко. Важно, кстати, отметить, что это противопоставление нашло выражение — и, насколько позволяют судить факты, так было в кетском языке всегда, — не в структуре самих имен, а в различных грамматических показателях как самого имени, так и слов, согласующихся с ним. Следует особенно выделить следующие случаи, в которых отражено противопоставление одушевленный ~ неодушевленный:

1. В парадигме склонения имен (включая, конечно, и части речи, выступающие в функции существительных, кроме личных местоимений) во мн. числе одушевленные имена получают особые падежные показатели в род., дат., исходн., назначит. и местно-личн. падежах, в то время как неодушевленные имена сохраняют показатели, которые они получают в ед. числе¹⁴; ср.: сым. ⁵ *кэддаң* «к человеку», ⁵ *д'әннаң* «к людям», но: ¹ *оксыдиң* «к палке», ⁵ *аВдиң* «к палкам».

2. В глагольных формах совпадают показатели неодушевленного объекта в ед. и мн. числах 3-го лица, при различных показателях одушевленного объекта, ср.: сым. ¹ *ди'пчаң* «тащу это (одну вещь)», ¹ *ди'пчаң*

¹² Сокращения: кет. — кетский, имб. — имбатский, сым. — сымский. Транскрипция: *е, ь, о* — закрытые, *э, а, э* — открытые гласные соответственно переднего, среднего и заднего рядов; *к* — увулярный смычный; *х* — увулярный глухой, *В* — увулярный звонкий спирант; *ң* — заднеязычный носовой сонант; (') — полудолгота, (:) — долгота гласных. Слововые тоны и краткосложные акцентные типы обозначены цифровыми индексами.

¹³ См.: Е. А. Крейнович, Именные классы и грамматические средства их выражения в кетском языке, ВЯ, 1961, 2, стр. 114—116; е г о ж е, О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка, стр. 185—194; И. Г. Вернер, Вопросы именной классификации в современных енисейских диалектах, «Уч. зап. [Омск. пед. ин-та]», 52 — Вопросы филологии, 1969, стр. 172—178.

¹⁴ Можно отметить и некоторые другие различия функционального характера между одушевленными и неодушевленными именами в парадигме склонения, ср. также отсутствие показателя неодушевленного объекта в императивных формах глагола.

«тащу их (много вещей)», но: ⁶дигачаң «тащу его (человека)», ³ди:чаң «тащу ее (женщину)», ⁶даңачаң «тащу их (людей)».

3. Предикативные аффиксы 3-го лица различны для ед. и мн. числа у слов, согласующихся с одушевленными именами, но совпадают у слов, согласующихся с неодушевленными именами, ср: ⁶ахта²ду² «он хороший», ⁶ахта²да² «она хорошая», ах⁴тэ^h:н «они (люди) хорошие», но: ах²тэ² «это (вещь) хорошее», ах²тэ² «они (вещи) хорошие».

4. В очень многих случаях при неодушевленном субъекте соответствующая глагольная форма либо вообще не имеет показателя субъекта, либо имеет таковой, но совпадающий с показателем неодушевленного объекта¹⁵; ср.: ¹д-и'ра'х «он сгнил», ¹б-и'ра'х «это (вещь) сгнило»; ⁴дэ^h:нтет' «он бил его», ди¹-б-и'нтет' «он бил это».

5. Как правило, одушевленные имена получают во мн. числе аффикс -н, а неодушевленные — аффикс -н, если выбор одного из них не обусловлен фонетическими условиями или семантическими факторами¹⁶.

6. Счет одушевленных и неодушевленных предметов до пяти различен, так как это фактически предикативные формы, оформленные предикативными суффиксами — имб. -аң, сым. -э:н (для одушевленных), имб. -ам, сым. -э (для неодушевленных); но ср. также атрибутивные формы числительного «один» — имб. қэк, сым. хэк (перед одушевленным именем), имб. қус', сым. хус (перед неодушевленным именем).

7. На противопоставление одушевленный ~ неодушевленный указывает и ряд особенностей в системе местоимений, особенно тот факт, что среди личных местоимений 3-го лица нет заместителей неодушевленных имен: имеющиеся личные местоимения могут замещать лишь одушевленные имена¹⁷.

Для кетского языка устанавливается в историческом плане и другая лексическая импликация, наблюдающаяся в языках активного строя, а именно — отсутствие как такового противопоставления глагольных лексем (основ) по признаку переходности ~ непереходности. В кетском образовании переходных и непереходных глагольных форм зависит не от семантики соответствующей основы, а от наличия или отсутствия объекта, на который направлено действие. Эта особенность и явилась основанием для выделения у кетского глагола грамматической категории переходности ~ непереходности¹⁸. Вместе с тем, учитывая своеобразие глагольного формообразования, в особенности — описанную А. П. Дульзоном категорию рода процесса (формы действия и состояния)¹⁹, можно предположить, что исторически в сфере глагольных слов по признаку активности ~ инактивности выделялись глаголы действия (активные), глаголы состояния²⁰ (стативные) и, возможно, аффективные глаголы, ко-

¹⁵ Случаи совпадения субъектных показателей женского и вещного родов в таких глагольных формах являются инновацией.

¹⁶ См.: Т. И. Порогова, Образование и употребление форм числа существительных кетского языка. АКД, Томск, 1968, стр. 13—15.

¹⁷ См. о сходном явлении в шумерском: И. М. Дьяконов, указ. соч., стр. 62.

¹⁸ См.: А. П. Дульзон, Кетский язык, стр. 140; Е. А. Крейннович, Глагол кетского языка, стр. 9. Ср. типологически сходную параллель в шумерском языке: И. М. Дьяконов, указ. соч., стр. 63.

¹⁹ См.: А. П. Дульзон, Кетский язык, стр. 140; е го же, Общность глагольных форм индоевропейских языков с урало-алтайскими, «Уч. зап. Томск. ун-та», 75 — Вопросы лингвистики, 2, 1969; е го же, Строение кетского глагола, ВЯ, 1970, 5; е го же, Отражение древних глагольных форм состояния в урало-алтайских языках, ВЯ, 1971, 1.

²⁰ Ср. глагольные дублеты, в которых один глагол сочетается только с активными, другой только с инактивными именами: ⁵уйбахэт «стол стоит», но: ¹ду'фын «он (человек или существо муж. р.) стоит», ¹дэ'фын «она (женщина или существо жен. р.) стоит».

торые не поддаются однозначной квалификации в качестве активных или стативных ²¹.

Несмотря на перестройку древней морфологической системы, сохранились, однако, следы того, что в структуре глагольных словоформ было представлено два ряда грамматических показателей, которые соотносились с активными и инактивными именами в зависимости от того, был ли соответствующий глагол глаголом действия или состояния. У активных глаголов, которые передавали различные действия и движения, был представлен ряд аффиксов, получивших в литературе название личных показателей группы Б ²²; они соотносились с активными именами, обозначающими деятеля. Другой же ряд аффиксов, условно обозначаемый теперь показателями группы Д, был, очевидно, поначалу связан с идеей пребывания актанта ситуации в определенном состоянии и, следовательно, мог соотноситься как с активными, так и с инактивными именами. В пользу выдвигаемого предположения говорят следующие факты современных кетских диалектов.

1. У некоторых активных глаголов (движения или действия), сохранивших очень архаическую парадигму спряжения, представлены именно личные показатели группы Б, например:

сым.	<i>бэаде</i>	«иду»	<i>бахыбдер</i>	«я ношу (одежду)»
	<i>кыаде</i>	«ты идешь»	<i>кухыбдер</i>	«ты носишь»
	<i>эаде</i>	«он идет»	<i>ахыбдер</i>	«он носит»
	<i>уаде</i>	«она идет»	<i>ихыбдер</i>	«она носит»
	<i>длчаде</i>	«мы идем»	<i>длчхыбдер</i>	«мы носим»
	<i>клчаде</i>	«вы идете»	<i>клчхыбдер</i>	«вы носите»
	<i>эчаде</i>	«они идут»	<i>аңхыбдер</i>	«они носят»

2. Личные показатели группы Д обнаруживают несомненную тесную связь с предикативными аффиксами (в частности, в формах ед. числа), т. е. с аффиксами, оформляющими формы состояния субъекта действия. Ср:

сым.	<i>б'фен'н'а²ди²</i>	«я маленький»	<i>1дийфың</i>	«я пухну»
	<i>б'фен'н'а²гу²</i>	«ты маленький»	<i>1куйфың</i>	«ты пухнешь»
	<i>б'фен'н'а²да²</i>	«она маленькая»	<i>1дэйфың</i>	«она пухнет»
	<i>б'фен'н'а²ду²</i>	«он маленький»	<i>1дуйфың</i>	«он пухнет»
	<i>фен'н'э²</i>	«это (вещь) маленькое»	<i>б'бимбафың</i>	«это пухнет» ²³

Интересно в этой связи отметить, что у носительницы языка симских кетов М. И. Латиковой личные префиксы группы Д заменяются предикативными суффиксами, например: *4и'и^h:йди* (вместо *ди4и'и^h:й*) «я ем», *4и'и^h:йку* (вместо *4ки'и^h:й*) «ты ешь», *4и'и^h:йда* (вместо *да4и'и^h:й*) «она ест» и т. д.

²¹ Ср.: Г. А. Климов, К характеристике языков активного строя, стр. 5—6. Используемые термины, разумеется, условны, так как к соответствующим явлениям нельзя во всех случаях подходить с точки зрения индоевропейского языкового сознания.

²² О показателях группы Б и Д см.: К. В о u d a, Die Sprache der Jenissejer, стр. 98 и сл.; но в особенности: Е. А. К р е й н о в и ч, О явлениях развития кетского языка от форм аналитических к формам синтетическим, сб. «Аналитические конструкции в языках различных типов», М.—Л., 1965, стр. 284.

²³ Симской форме *фен'н'э²* соответствует имб. *б'н'нам*, в которой -м можно возводить к исконному -б- (т. е. показателю вещного рода). Что касается соответствующих показателей во мн. числе, то в глагольных формах они совпадают с показателями в ед. числе; ср. *1диифың* «мы пухнем», *1куйфыңын* «вы пухнете», *1дуйфыңын* «они пухнут», т. е. произошла нейтрализация в отношении числа, а в предикативных формах показатели группы Д заменены показателями группы Б, возможно, в связи с общим пересмыслением показателей группы Б (подробнее об этом см. ниже).

3. Наиболее существенной является, однако, следующая особенность. Среди показателей группы Д, как правило, представлен специальный показатель вещного рода в 3-м лице ед. и мн. числа, в то время как среди показателей группы Б такового нет, и его заменяет соответствующий показатель женского рода (см. табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Показатели группы Д (префиксы)

Число	Лицо	Первый ряд	Второй ряд
Ед. число	1-е	<i>ди-/д-/т-</i>	<i>ди'-/ди-</i>
	2-е	<i>ги-/г-/к-</i>	<i>ку'-/ку-</i>
	3-е	<i>ди-/д-/т-</i>	<i>ду'-/ду-</i>
	{ м. р. ж. р. вещ. р.	<i>да-</i>	<i>дъ'-/дл-</i>
		<i>б-/б/да¹</i>	<i>би'-/би-/б</i>
Мн. число	1-е	<i>ди-/д-/т-</i>	<i>ди'-/ди</i>
	2-е	<i>ги-/г-/к-</i>	<i>ку'-/ку-</i>
	3-е	<i>б-/б/да-</i>	<i>би'-/би-/б</i>
	{ вещ. р. невещ. р.	<i>ди-/д-/т-</i>	<i>ду'-/ду-</i>

¹ В ряде случаев показатель женского рода (*да-*) употребляется вместо показателя вещного рода (*б-*), но это явно поздняя инновация (см. об этом: И. Г. Вернер. Категория рода в кетском языке, стр. 10). Подробнее о различных рядах показателей группы Б и Д см.: Е. А. Крейнович, О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка, стр. 142; его же, Глагол кетского языка, стр. 23; ср.: А. П. Дульзон, Кетский язык, стр. 205.

Таблица 2

Показатели группы Д (инфиксы)

Число	Лицо	Первый ряд	Второй ряд
Ед. число	1-е	<i>ди-/д-/т-</i>	<i>-ди-/д-/т-</i>
	2-е	<i>ку-/гу-/к-</i>	<i>-ку-/гу-/к-</i>
	3-е	<i>-а-</i> (наст. вр.)	\emptyset
	{ м. р. ж. р. вещ. р.	<i>-э-</i> (прош. вр.)	\emptyset
		<i>-и-</i> (наст. вр.)	\emptyset
	{ вещ. р. невещ. р.	<i>-и-</i> + детерм. (прош. вр.)	\emptyset
		<i>-б-/л-м-</i>	<i>-б-/л-м-</i>
Мн. число	1-е	<i>-даң-</i>	<i>-даң-</i>
	2-е	<i>-каң-/гаң-</i>	<i>-каң-/гаң-</i>
	3-е	<i>-б-/л-м-</i>	<i>-б-/л-м-</i>
	{ вещ. р. невещ. р.	<i>-аң-/эң-</i>	<i>-аң-</i>

Наличие специального показателя вещного рода (*б/би/м*) среди показателей группы Д как раз и может свидетельствовать о том, что все эти последние поначалу соотносились с именами, которые обозначали субъект, пребывающий в определенном состоянии (сативные глаголы), причем это могли быть и активные, и инактивные имена. Кроме того, эти показатели соотносились и с объектом, который испытывал на себе действие (ср. инфиксы группы Д)²⁴. Это явление как раз и может быть сопоставлено с соответствующим выражением субъектно-объектных отношений в языках

²⁴ О появлении среди инфиксов группы Д показателей группы Б во 2 и 3-м лице мужского и женского рода ед. числа и во всех лицах мн. числа, кроме вещного рода, см. ниже.

Таблица 3

Показатели группы Б (префиксы и инфиксы)

Число	Лицо	Первый ряд	Второй ряд	Третий ряд
Ед. число	1-е	ба	ба/бо	бо
	2-е	ку	ку	ку
	3-е	а	бу	о
Мн. число	1-е	даң/даң	даң/даң	даң/даң
	2-е	каң/каң	каң/каң	каң/каң
	3-е	и/∅	∅	у
		и/∅	∅	у
		аң	бу	эң

типа абхазского, но в целом оно не получило в кетском такого развития, которое бы позволило говорить о выдержанной эргативной конструкции в историческом плане и тем более — в настоящее время.

Совсем иное положение наблюдается в группе показателей Б. Отсутствие специального показателя для вещного рода говорит о том, что показатели Б по происхождению были аффиксами, которые соотносились лишь с активными именами, обозначающими деятеля, и встречались только в активных глаголах. Уже на поздней стадии развития кетского языка в связи с переосмыслением исконного значения показателей группы Б, когда и у активных глаголов появилась нужда в показателях вещного рода, роль этих последних здесь стали выполнять показатели женского рода. Примечательно, однако, что в этой роли показатели женского рода выступают нейтрально по отношению к числу: в формах мн. числа они сохраняются такими же, как в формах ед. числа.

Точно такое же расширение функций показателей женского рода наблюдается и в парадигме склонения имен: из-за отсутствия специальных падежных показателей у имен вещного рода, их функцию выполняют соответствующие показатели имен женского рода, причем в этой функции они не дифференцированы по числу (см. табл. 4).

Отсутствие специальных падежных показателей у имен вещного рода (т. е. у инактивных имен) отражает, несомненно, древнее состояние, при котором эти имена вообще не склонялись. Однако, если более пристально

Таблица 4

Падежные показатели

Падежи	Ед. число			Мн. число	
	м. р.	ж. р.	вещ. р.	невещ. р.	вещ. р.
Абсолютн.	—	—	—	—	—
Род.	-да	-ди/-т	-ди/-т	-на	-ди/-т
Дат.	-даңа	-диңа	-диңа	-наңа	-диңа
Исходн.	-даңал'	-диңал'	-динал'	-наңал'	-диңал'
Назначит.	-дата	-дита	-дита	-на́та	-дита
Местно-личн.	-даңта	-диңта	-диңта	-наңта	диңта
Местно-простран.	-ка/-га	-ка/-га	-ка/-га	-ка/-га	-ка/-га
Продольн.	-бэс'	-бэс'	-бэс'	-бэс'	-бэс'
Орудно-совм.	-ас'	-ас'	-ас'	-ас'	-ас'
Лишительн.	-ан	-ан	-ан	-ан	-ан
Зват.	-э	-А	—	-А	—

приглядеться к фактам енисейских языков, то обнаруживается, что развернутой парадигмы склонения в древности не было и у активных имен падежные показатели в большинстве случаев восходят к послелогам, а показатели падежей, начиная с дат. и кончая местно-личн., представляют собой сочетание «показатель родительного падежа + послелог». Таким образом, именно род. и абс. падежи составляли древнейшую бинарную оппозицию в склонении активных имен, на основе которой возникла более развернутая падежная парадигма.

Для выяснения природы показателя род. падежа интересно сравнить глагольные показатели группы Б с показателями местоименной парадигмы склонения.

В ед. числе показатели род. падежа личных местоимений (в настоящее время формы род. падежа личных местоимений функционируют как притяжательные местоимения) полностью совпадают с глагольными показателями группы Б (первый ряд), ср.: *аб/аба* «мой» (форма род. падежа *а-ба* от местоимения *ат* [членимого, видимо, как *а-т/а-де*]²⁵ «я»), *ук/угы* (< *угу*) «твой» (род. п. *у-гу* < *у-ку* от местоимения *у* «ты»), *буда* «его» (род. п. *бу-да* < *бу-д-а* от местоимения *бу* «он»), *буди* «ее» (род. п. *бу-ди* < *бу-д-и* от местоимения *бу* «она»).

Правда, совпадение этих двух разрядов показателей несколько осложняется за счет падежных показателей для местоимений 3-го лица ед. числа, у которых появляется *-д-*, отсутствующее у соответствующих глагольных показателей группы Б, и за счет показателей мн. числа. Однако картина проясняется при учете данных других енисейских языков, например, коттского. Элемент *-д-* в формах мужского и женского родов 3-го лица ед. числа отсутствует в коттском склонении (например, абс. п. *ији* «он», *ија* «она» — род. п. *ијий* «его», *ијай* «ее»); можно поэтому предположить, что *-д-* не имеет отношения к показателям род. п. *-а-*, *-и-* также в кетском языке. Ср. также в коттском: абс. п. *ајој* «мы», *аиој* «вы», *ипајај* «они», род. п. *ајојој* «нас», *аиојој* «вас», *ипајајај* «их». Коттские показатели род. падежа личных местоимений нетрудно возвести к соответствующим кетским показателям группы Б *дан*, *кан*, *ан* в 1, 2 и 3-м лицах мн. числа²⁶.

Из приведенных фактов можно заключить, что и показатели род. падежа, и глагольные показатели группы Б имеют единое происхождение. Они представляют собой показатели особого падежа, который принимали личные местоимения в случае их согласования с активными глаголами в качестве субъекта действия²⁷.

Правда, предложенное толкование пока имеет ограничения в связи с тем фактом, что с падежными показателями совпадают лишь показатели группы Б первого ряда, и предстоит еще выяснить различия, существовавшие между всеми тремя рядами этой группы, но тем не менее связь показателей Б с формантами род. падежа и притяжательными префиксами несомненна. Позднее глагольные показатели группы Б стали соотноситься не только с личными местоимениями, но и с активными именами, выступающими в качестве субъекта действия, т. е. с теми именами, которые могли замещаться личными местоимениями. В связи с тем, что в кетском языке и в настоящее время нет личных местоимений, которые могли бы

²⁵ Форма личного местоимения 1-го лица ед. числа *аге* отмечена Кастреном: C. A. M. C a s t r e n, Versuch einer jennisel-ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörtlerterverzeichnissen aus den genannten Sprachen, SPb., 1859, стр. 48.

²⁶ Отсутствие согласных *д-*, *к-* в показателях 1 и 2-го лица мн. числа *-ој* в коттском может быть объяснено так же, как отсутствие *-д-* в формах 3-го лица ед. числа.

²⁷ Интересно в этом отношении гипотеза, согласно которой глагольные показатели группы Б восходят к притяжательным, а группы Д — к личным местоимениям (см. работы Н. К. Каргера, Е. А. Крейновича, Б. А. Успенского, А. П. Дульзона, Б. А. Серебrenникова).

замещать имена вещного рода (инактивные), то естественно предположить, что исторически инактивные имена не могли выступать в роли субъекта действия при активных глаголах и ставиться в род. (активном) падеже. Поэтому в ходе более поздней перестройки грамматической структуры языка соответствующие показатели женского рода стали использоваться и в качестве показателей вещного рода как в группе глагольных показателей Б, так и в парадигме склонения. Это было связано с общим процессом переосмысления первоначальных функций глагольных показателей группы Б и Д в соответствии с развитием черт номинативного строя. [Не исключено, что эта тенденция в развитии была связана с длительным пребыванием праенисейского в едином языковом союзе с урало-алтайскими и индоевропейскими языками, тогда как в более ранний период он мог более тесно примыкать к ареалу древних языков Передней Азии (эламский, шумерский и др.)²⁸.]

Процесс переосмысления первоначальных функций глагольных показателей Б и Д не завершен, очевидно, полностью и в настоящее время. Факты кетского языка показывают, что показатели группы Б в ходе исторического развития языка из лично-субъектных превратились в лично-объектные, а показатели группы Д — в лично-субъектные. Это видно, во-первых, из того, что в настоящее время показатели группы Д сохранились в качестве лично-объектных только в 1-м лице ед. числа²⁹, а также в 3-м лице ед. и мн. числа вещного рода; во всех других случаях в качестве лично-объектных встречаются только показатели группы Б. Во-вторых, даже в тех случаях, где показатели группы Б можно бы рассматривать как лично-субъектные, они оттесняются на второй план префигурованными лично-субъектными показателями группы Д. Ср. парадигму глагола «нести»:

<i>ди⁵-бо-ббыхэс</i>	«я несу это»	<i>ди⁵-бо-ббыне</i>	«я нес это»
<i>ди⁵-бо-гахэс</i>	«я несу его»	<i>ди⁵-бо-гане</i>	«я нес его»
<i>ди⁵-бо : хэс (< *ди-бо-гыхэс)</i>	«я несу ее»	<i>ди⁵-бо-дит'не</i>	«я нес ее»
<i>ди⁵-бо-аңэс</i>	«я несу их»	<i>ди⁵-бо-аңэне</i>	«я нес их» и т. д.

Таким образом, произошло полное переосмысление былых функций показателей группы Б и Д³⁰, в результате чего в роли лично-субъектных в настоящее время могут выступать только показатели группы Д, т. е. показатели, соотносившиеся раньше с субъектом состояния и объектом действия. Эта инновация, а также тот факт, что в современном кетском языке имя или местоимение, обозначающее субъект действия при любых глаголах, всегда ставится в абс. падеже (он совмещает функции номина-

²⁸ См. гипотезу Н. Л. Членовой о связи кетов с носителями карасукской культуры, которая уходит корнями к культуре древней Передней Азии (Н. Л. Членова, Соотношение культур карасукского типа и кетских топонимов на территории Сибири, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Материалы межвузовской конференции 11—13 мая 1969 г.», Томск, 1969, стр. 145—146).

²⁹ Некоторые факты в языке сымских кетов, в частности, наличие дублетов типа *эбага⁴ тэ^h:ш' / кут⁴ тэ^h:ш'* «ты воспитываешь меня», *дибага⁴ тэ^h:ш' / дут⁴ тэ^h:ш'* «он воспитывает меня» могут указывать на то, что в качестве лично-объектных показатели группы Д вытесняются и в 1-м лице ед. числа).

³⁰ Исключения составляют лишь несколько глаголов: *бэбде* «я иду», *бэбйде* «я отлетел», *ба⁴га^h: бде* «слышу», *бэжсы¹хы^hн'* «несет меня течением», *бах⁴бдер* «ношу (шапку, рубашку, костюм)» и т. д. В них показатели группы Б могут рассматриваться как возвратно-объектные, особенно если переводить их как «*идусь» («прожаживаюсь»), «отделяюсь», «слышится мне», «несусь по течению» и т. д.; тогда в целом можно согласиться с точкой зрения А. П. Дульзона о том, что в современных диалектах показатели группы Б не выступают в качестве лично-субъектных (см.: А. П. Дульзон, Аффикация как метод передачи грамматических значений. Лекция по общему языковедению, Томск, 1962; е го же, Кетский язык, стр. 193, 352).

тива и аккузатива), как раз и дают основание причислять современный кетский к языкам номинативного строя.

Не указывает ли этот процесс переосмысления исконной семантики показателей Б и Д на то, что в древнейшую пору в праенисейском субъектно-объектные отношения были выражены в глагольных словоформах лишь имплицитно? Можно предположить, что вначале к активным глаголам относились в основном глаголы движения или действия, связанного с перемещением в пространстве, а другие относились к инактивным глаголам (промежуточное положение могли занимать аффективные глаголы). С развитием субъектно-объектных отношений возникают переходные формы как у активных, так и у определенной группы инактивных глаголов. Интересны в этом отношении параллели в языках древней Передней Азии, где в качестве активных определяются глаголы движения и инхотивные глаголы³¹ (ср. также кет. *багáхан* «стану», «буду» и *бата^h:x* «обернусь, стану, превращусь», имеющие инхотивное значение и употребляющиеся с показателями группы Б).

В связи с тем, что показатели род. падежа и глагольные показатели группы Б в формах ед. числа совпадают с притяжательными префиксами, возникает вопрос о наличии в древности посессивной конструкции. Кроме того, заслуживает внимания вопрос о притяжательных формах органической (неотчуждаемой) и неорганической (отчуждаемой) принадлежности.

Насколько в настоящее время позволяют судить факты кетского языка, отношения принадлежности, выражаемые в кетском как падежным оформлением, так и формами особого притяжательного (личного) склонения, выражались вначале моделями типа *об-да-фын*³² «сын отца» (буквально: «отец-его-сын»).

Энклитическое примыкание местоименного компонента *-да-* (муж. р.), *-ди-* (жен. р.), *-на-* (невещ. р. во мн. числе) к предшествующему имени-определению привело к возникновению парадигмы падежного склонения, которая позднее распространилась на сферу имени. А проклитическое слияние этих компонентов с последующим именем привело к возникновению форм так называемого притяжательного (личного) склонения имен. Наличие тех и других форм в енисейских языках до настоящего времени иногда вводит исследователей в сомнение относительно статуса род. падежа. Однако независимость форм род. падежа от форм притяжательного склонения, несмотря на полное совпадение соответствующих грамматических показателей, подтверждается как семантическими, так и грамматическими фактами. Возьмем сочетание *фын-да-фун* «сын-его-дочь». При членении *фыбда фун* оно имеет смысл «дочь сына» и согласуется с глагольной формой, имеющей показатель ед. числа субъекта (например, *фыбда фун уйде* «дочь сына пойдет»); при членении *фын дафун* оно имеет смысл «(и) сын, (и) его (собственная) дочь» или «сын (и) его (какого-то другого человека) дочь» и согласуется с глагольной формой, имеющей показатель мн. числа субъекта [например, *фын дафун эаде* «сын (и) его дочь пойдут»]. Монолитность форм типа *фыбда* «сына» подтверждается примерами типа *туда фун фыбдас* «эта дочь сына» (буквально: «эта дочь сынбвья»).

Более важно, однако, то различие между этими формами, которое существовало при их возникновении, а именно: притяжательные формы

³¹ И. М. Дьяконов, «Эргативная конструкция и субъектно-объектные отношения (на материале языков Древнего Востока)», сб. «Эргативная конструкция предложения в языках различных типов», Л., 1967, стр. 104.

³² См.: В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян, Об изучении имени в кетском, стр. 244.

личного склонения выражали принадлежность предмета определенному лицу; это склонение было характерно как для активных, так и для пассивных имен, поскольку они обозначали при этом обладаемое. Напротив, формы род. падежа выражали обладание кем-то или чем-то, а поскольку обладать чем-то или кем-то могло, по представлению древних кетов, только живое существо, то вполне естественно, что формы род. падежа были сначала характерны только для активных имен, поскольку именно они могли обозначать обладателя.

С распространением склонения на пассивные имена формы род. падежа и притяжательные формы стали выражать отношения обладания и принадлежности в более широком смысле — отношение части к целому, признака к носителю признака и т. д. Любопытны примеры типа кет. ¹у[•]л' «черенок», ¹а[•]л' «половина», которые употребляются не иначе, как в притяжательной форме ¹ду[•]л' ¹да[•]л', так как ориентированы на такое употребление самой своей семантикой — «черенок чего-то», «половина чего-то». Сходным образом можно объяснить появление притяжательного префикса *д-* у порядковых числительных (кроме числительного «первый»), например, *дынамъс* вместо *ынамъс* «второй» и т. д. С этим же связано и появление «неполносложных» композитов, которые восходят к атрибутивным словосочетаниям с формой род. падежа первого компонента.

В этом смысле можно, очевидно, говорить и о посессивном характере глагольных форм с показателями *Б*³³, так как в них имелось указание на принадлежность действия лицу.

Из других признаков языков активного строя, следы которых еще заметны в кетском, можно указать на следующие:

1. Отсутствуют глагольные лексемы, передающие типичные субъектно-объектные отношения, например, глаголы обладания. Имеются лишь слова именного или наречного характера, которые оформляются предикативными аффиксами: сым. ¹у[•]ш'е «есть», ¹бъ[•]с'е «нет», ³та:н «нет» (ср. селькуп. *т'аңгу* «нет»), ⁵былэ (<русс. *было*). Глаголы же обладания, о которых упоминает Е. А. Крейнович³⁴, могут рассматриваться как поздняя инновация, на что указывает узость и конкретность их семантики.

2. В предложении доминирует глагольная словоформа, а именны члены обычно конкретизируют различные глагольные показатели. В глагольной словоформе наблюдается поэтому тенденция к отражению в ее составе всех элементов предложения, а с этим связана и такая особенность ее, как полисинтетизм. Например: ⁵кул'иңтэбы⁵рэиңын «вы-неоднократно-это-отвязывали», ⁵дурът'бэ¹агет «он-меня-кушает» (буквально: «он-вода-лечь-меня-делает»).

3. Глагол и имя обнаруживают явные черты синкретизма. Хотя они взаимно дифференцированы средствами морфологии, сохраняется ряд особенностей, которые указывают на отсутствие четкой противопоставленности имени глаголу в прошлом. Эти особенности дали основание А. П. Дульзону заметить, что обычное определение глагола как части речи, которая называет действие или другие процессы в виде действия, например, состояние, проявление или изменение признака, для кетского языка представляется не вполне подходящим³⁵. Близость имени и глагола прослежи-

³³ Мысль о том, что в кетском могла в древности существовать посессивная конструкция, была впервые высказана И. И. Мещаниновым (см.: И. И. Мещанинов, Палеоазиатские языки, ИАН ОЛЯ, 1948, 6, стр. 509) и принята Е. А. Крейновичем (см.: Е. А. Крейнович, О модели глаголов кетского языка с основой в начале слова, сб. «Проблемы сравнительной филологии», М.—Л., 1964, стр. 140—141; е го же, О грамматическом выражении именных классов в глаголе кетского языка, стр. 185).

³⁴ Е. А. Крейнович, Глагол кетского языка, стр. 139—142.

³⁵ А. П. Дульзон, Кетский язык, стр. 140.

вается, например, в использовании тождественных грамматических средств. Таковы, например, совпадения глагольных показателей группы Д с предикативными аффиксами, а показателей группы Б с падежными показателями местоимений и имени; способность форманта *-эаң* и падежных показателей присоединяться как к имени, так и к глаголу³⁶; использование формантов *-н*, *-н* для выражения категории числа. Следует отметить также отсутствие формальных различий между именем и инфинитивными формами глаголов, ср.: ²*и'р* «песня; петь; певчий»; ⁵*ириң* «еда; есть; съедобный» и т. д.

4. Для кетского, как и для языков активного строя, устанавливается такое состояние в прошлом, когда глагол не имел категории времени, но характеризовался наличием различных видов, которые уточняли протекание действия с качественной и количественной стороны³⁷. Важно также отметить, что из всех глагольных типов наиболее древним является тип глаголов с префиксальной структурой, при которой основа оказывается в конце слова. Другие глагольные типы в кетском представляют собой более позднюю инновацию³⁸.

5. В кетских глагольных формах наблюдается супплетивизм, связанный с выражением числа субъекта действия, ср. сым. ⁶*дијадаж* «я живу» ~ *ди'јы:н* «мы живем» (²*да'х* «жить»); *диг'айге* «хожу» ~ *чадаңэт* «мы ходим» (²*ка'й* «ходить»). Не исключено, что эта архаическая особенность восходит к кетскому языковому состоянию, когда у имени еще не было категории числа как таковой; по мнению А. П. Дульзона, понятие числа имени в кетском еще отчетливо связано с понятием класса, а показатели мн. числа *-н*, *-н* восходят соответственно к классным показателям совокупности одушевленного множества и собирательности предметов³⁹.

Таким образом, если современный кетский язык, хотя и с известными оговорками, следует причислять к языкам номинативного строя, то вышеперечисленные особенности отдаленно напоминают о состоянии, сходном с активным строем языка. Едва ли следует при этом думать, что кетский язык непременно должен был пройти в своем развитии и стадию эргативного строя. Сохранение черт, напоминающих активный строй, говорит о том, что в процессе перестройки древнего языкового типа черты, характерные для выдержанного эргативного строя, не нашли в кетском широкого распространения и, наоборот, постепенно возобладали те тенденции в развитии, которые обусловили появление черт номинативного строя.

³⁶ См. об этом: М. Н. В а л л, О некоторых функциях *-эс'аң* в функции падежного аффикса в кетском языке, «Уч. зап. [Омск. пед. ин-та]», 52 — Вопросы филологии, 1969, стр. 167; е е ж е, О случаях оформления аффиксами падежей личных форм кетского глагола, «Происхождение аборигенов Сибири и их языков», стр. 96—98.

³⁷ См.: Е. А. К р е й н о в и ч, Глагол кетского языка, стр. 16.

³⁸ См.: там же, стр. 280.

³⁹ А. П. Д у л ь з о н, Происхождение алтайских показателей множественного числа, «Советская тюркология», 1972, 2, стр. 4—5.

Г. А. МЕНОВЩИКОВ

**ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКИЕ ЯЗЫКИ И ИХ ОТНОШЕНИЕ
К ДРУГИМ ЯЗЫКОВЫМ СЕМЬЯМ**

1. История заселения и освоения человеком северо-восточных окраин Сибири и субарктической зоны Североамериканского континента связывается прежде всего с историей образования и последующего разделения эскимосско-алеутской этнической общности. Данные сравнительных исследований различных типов материальной культуры, относящихся к палеолитическому и неолитическому периодам, а также факты сравнительного изучения языков древнего населения субарктического ареала свидетельствуют о несомненном генетическом родстве протоэскимосоалеутов. Однако остается еще множество нерешенных проблем, относящихся к этногенезу коренных народов северо-восточной Сибири и их древних связей (этнических или контактных) с аборигенами других районов Азии и Северной Америки. Особый интерес ученых вызывают эскимосо-алеуты, создавшие на стыке Старого и Нового Света в суровых арктических условиях неповторимые культуры морских зверобоев и охотников на дикого оленя.

Откуда и когда на северные окраины Земли пришли протоэскимосоалеуты; с какими племенами, где и в какое доисторическое время они контактировали или находились в генетическом родстве; при каких обстоятельствах, на каком уровне культуры, когда и где произошло разделение самих протоэскимосоалеутов; какими путями продвигались они в области древней Берингии; устанавливается ли генетическое родство эскимосско-алеутских языков с другими языками, — эти и связанные с ними вопросы ждут еще обстоятельных ответов, которые могут быть получены лишь при условии широких комплексных исследований с участием антропологов, археологов, этнографов и лингвистов. Важное место среди этих исследований должно занять сравнительно-типологическое изучение родственных и неродственных языков коренных народов Сибири, Дальнего Востока и Северной Америки.

2. Эскимосско-алеутская языковая общность характеризуется рядом сходных черт как в области грамматического строя, фономорфологической структуры слова, так и частичными лексическими соответствиями. В целом же строй этих языков в ходе обособленного развития (после гипотетического территориального разделения) претерпел кардинальные изменения, и прямые языковые контакты между эскимосами и алеутами в наше время оказываются абсолютно невозможными.

Между тем происхождение эскимосско-алеутских языков от единой языковой основы подтверждается рядом обстоятельных лингвистических изысканий и не подлежит сомнению¹. По предположениям некоторых

¹ И. В е н и а м и н о в, Замечания о колошенском и кадыакском языках, СПб., 1846; W. T h a l b i t z e r, The Aleutian language compared with Greenlandic, IJAL, 1, 1924—1952; K. B e r g s l a n d, Aleut demonstratives and the Aleut-Eskimo relationship, IJAL, 17, 3, 1951; е г о ж е, Aleut and Proto-Eskimo, «Proceedings of the 32. International congress of americanists», Copenhagen, 1958; е г о ж е, The Eskimo-Uralic hypothesis, «Suomalais-Ugrilaisen seuran aikakauskinjasta», 1959, 61; G. M a r s h,

ученых (В. С. Лафлин, Ч. Чард, Д. Е. Думонд и др.) разделение протоэскимосскоалеутской общности произошло в период между 4000—6000 гг. до н. э.² Разделение этой общности могло иметь место или в самом начале перехода протоэскимосоалеутов на морское побережье, или в более ранний период их длительного совместного пребывания в особых экологических условиях примитивной континентальной культуры. Нижние культурные слои палеолита указывают именно на весьма низкий уровень производства по изготовлению орудий труда у протоэскимосов.

Сопоставительный анализ лексики эскимосского и алеутского языков свидетельствует о том, что сохранившиеся в незначительном числе однокорневые слова в них, относящиеся к обозначениям предметов и явлений, совсем не отражают приморского характера жизни эскимосоалеутов³. Названия предметов морской охоты и морских зверей являются общими для всего эскимосского ареала (от Берингова пролива до Гренландии), но ни одно из этих названий не совпадает с соответствующими алеутскими. На основе лингвистических признаков также можно предполагать, что в гипотетическое время языковой общности протоэскимосоалеуты вели континентальный образ жизни, занимаясь охотой на мелкого зверя, рыболовством и собирательством. Охота на крупного морского зверя, в том числе и на кита, у приморских эскимосов получила свое развитие именно в новых экологических условиях (особенно в период древнеберингоморско-оквической культуры⁴).

Следовательно, в условиях приспособления протоэскимосов к приморскому субарктическому климату и новым видам хозяйственной деятельности произошло существенное обогащение их языка. Такое же обогащение языка новыми понятиями произошло и у алеутов, попавших в условия островной жизни с более мягким климатом. Рассмотрим один пример семантического преобразования общего протоэскимосскоалеутского слова **қа*, которое, по-видимому, означало общее понятие «еда». Этим же словом называли и главный вид питания. В одних экологических условиях таким главным видом пищи могла быть рыба, в других птица, в третьих — вид определенного зверя. Так, в алеутском языке слово *қаз* и поныне означает понятия «еда», «рыба» (надо полагать, что в течение длительного периода для протоалеутов основным ресурсом питания была рыба). От этой же основы в алеутском образовался глагол *қазуқ* «ест» и многие производные слова. В эскимосских диалектах, по-видимому, от этого же корневого элемента (**қа*-) с редуцированным гласным в анлауте образовалось слово *бқалук/бқальук* «рыба» (-*лук/льук* — словопроизводный суффикс). Таким образом, родовое понятие «еда» в алеутском было перенесено на понятие «рыба», а в эскимосском от этой же основы образовалось производное слово «рыба». Рыба, следовательно, для протоэскимосоалеутов в доберин-

M. S w a d e s h, Eskimo Aleut correspondences, IJAL, 17, 4, 1951; Г. А. М е н о в и ц и к о в, Эскимосско-алеутские языки, сб. «Младописьменные языки народов СССР», М. — Л., 1959; е г о ж е, Эскимосско-алеутские параллели, «Уч. зап. [ЛГПИ им. А. И. Герцена]», 167 — Кафедра языков народов Крайнего Севера, 1960; е г о ж е, Эскимосско-алеутская группа, «Языки народов СССР», V, Л., 1968.

² См., например: D. E. D u m o n d, On Eskaleutian linguistics, archaeology and prehistory, «American anthropologist», 67, 5, г. 1, 1965.

³ См. об этом: Г. А. М е н о в и ц и к о в, Эскимосско-алеутские параллели, стр. 184—192.

⁴ См.: K. B i r k e t - S m i t h, Present status of the Eskimo problem, «Indian tribes of aboriginal America. Selected Papers of the 29. International congress of americanists», Chicago, 1952. В статье дается характеристика открытых археологами в XX в. палеолитических и неолитических культур арктических охотников (культуры Ipiutaq, Dorset, Kachemak I—III, Punuk, Okvik, Birnik, Thule и др.). Советскими археологами открыта древнеберингоморская культура, поздним вариантом которой является культура Оквик.

гоморский период была одним из главных продуктов питания (ее они могли в изобилии ловить в реках, озерах и протоках вблизи морского побережья, возможно, где-то на северо-востоке азиатского континента).

Во всех эскимосских диалектах понятия «еда» и «мясо» стали обозначаться также одним словом *ны́ка*, от которого образовался глагол *ны́вакук* «есть». Известно, что основным продуктом питания для эскимосов со времен освоения ими морского промысла было мясо морских зверей. Наиболее доступным объектом добычи была нерпа, в изобилии водившаяся у побережья. Именно этот мелкий морской зверь был назван словом *ны́ксак* (*ны́ксак*), это буквально означало «для еды предназначенное» «съедобное» (*ны́ка* «еда» и *-сак* — суффикс, обозначающий предназначенность предмета для чего-либо). Вполне допустимо, что эскимосская основа *ны́ка* «еда» также восходит к протоэскимосоалеутской основе **ка* «еда», сохранившейся в современном алеутском языке. Компонент *н(ы)*- в эскимосском языке-основе мог присоединиться позднее факультативно или появляться в результате чередования *й* ~ *н* (такое фонеморфологическое изменение имело место и в диалектах, ср.: сирен. *йайвык* ~ чепл. *найвак* «озеро»; наук. *игу* ~ имакл. *нийу* «нога»; сирен. *йаййа* ~ чепл. *навуа* «чайка» и т. д.).

Протоэскимосоалеутская языковая общность устанавливается на основе не единичных лексических соответствий, а значительного числа единых по фонеморфологической структуре и семантике именных и глагольных основ, также ряда соответствий грамматических категорий и фонетических закономерностей. Из наиболее характерных соответствий отметил нижеследующие:

1) В области фонетики — единые (за малым исключением) системы вокализма (*а, у, и*, в некоторых эскимосских диалектах еще *ы* и варианты фонем *у, и*) и консонантизма. В области консонантизма отмечаются соответствия в ряда заднеязычных *к, г, х*, увулярных *к, г, х*, а также звонкого *л* и глухого *ль*, сонантов *н* и *ң*. Наблюдается значительное сходство в структуре слова и слога.

2) В области грамматики — а) общность грамматического числа: эск. ед. число *Ø*, *-к*, дв. число *-к*, мн. число *-т* (*-н, -й*); алеут. ед. число *Ø*, *-х*, дв. число *-х*, мн. число *-с, -н*; б) единое выражение (суффикс *-м*) и сходные функции относительного (род.) падежа в этих языках; в) аналогичные по функциям и частично сходные по морфологическому выражению лично-притяжательные формы имен и субъектно-объектные формы глаголов, большинство показателей которых восходит к усеченным формам личных местоимений; г) наличие в том и другом языке большого количества указательных слов-последлогов, выполняющих в алеутском языке полностью функции неразвившихся (в отличие от эскимосского) локативных падежей; д) общность структур номинативного и (частично) эргативного типов предложения и ряда других сходных синтаксических и фонеморфологических признаков⁵.

К. Бергсланд на примере эскимосско-алеутских фонематических соответствий убедительно продемонстрировал звуковые изменения в общекорневых эскимосско-алеутских словах. К числу обнаруженных им звуковых изменений относятся деназализация *т > р*, исчезновение редуцированного гласного *ĩ* (*ə*) в гренландских и сохранение его в западных (аляскинских и азиатских) диалектах; регулярное чередование по диалектам согласных *т ~ с ~ н* в конечной позиции, согласных *т ~ щ* в начальной позиции; чередование согласных *т ~ ш, р ~ т* в срединной позиции; удвоение согласных *т, к, п, л, м* в восточных (гренландских и лабрадорских) диалектах эскимосского языка и в алеутском языке; сокращение в этих же

⁵ Г. А. Меновщikov, Эскимосско-алеутская группа, стр. 252—365.

диалектах и в алеутском промежуточного гласного при стечении двух гласных. Лексические и фонеморфологические соответствия между эскимосско-алеутскими языками и диалектами, отмеченные К. Бергсландом, убедительно подтверждают генетическую общность их носителей в далеком прошлом. Эти же соответствия могут быть использованы для установления типологической общности эскимосско-алеутских языков с другими языками ⁶.

Кардинальные различия в строе сравниваемых языков свидетельствуют о весьма длительном изолированном развитии их в особых экологических и социальных условиях. Это, прежде всего, 1) различия в фонетике, заключающиеся в отсутствии в алеутском консонантов *v*, *n*, *w* — им в алеутском соответствует сонант *m*; алеутские переднеязычные *m*, *ñ* соответствуют эскимосскому *m*; 2) различия в грамматике заключаются, прежде всего, в следующем: а) в алеутском отсутствуют локативные падежи; б) в этом языке не получила полного развития парадигма спряжения субъектно-объектного глагола: показатели субъекта имеются для всех трех лиц, а показатели объекта — только для 3-го лица (в алеутском — 18 личных форм в переходном глаголе, в эскимосском — 42); в) один и тот же принцип обозначения показателей лица обладателя при именах и лица субъекта и объекта при переходных глаголах используется как в эскимосском, так и в алеутском языках. Различие лишь в количественном использовании личных аффиксов и в их материальном (фонеморфологическом) несоответствии; показатели 1 и 2-го лица объекта в алеутском обозначаются не личными суффиксами, а полными формами личных местоимений, ср.:

эск.	<i>иьны-қа</i> «сын мой»	<i>аглатақа-қа</i> «веду-его-я»	<i>аглатақа-ңа</i> «ведет-он-меня»	<i>аглабақу-ңа</i> «иду-я»
алеут.	<i>лъя-ң</i>	<i>һакасақа-ң</i>	<i>һакасақа тиң</i>	<i>һакаку-ң</i> ⁷ .

Таким образом, общий принцип использования личных показателей при именах и глаголах реализуется в этих языках по-разному.

В то время как основные тематические пласты эскимосской лексики по всем диалектам от Берингова пролива до Гренландии представляются общими, в алеутском языке для обозначения тех же понятий и названий используются (в сравнении с эскимосскими) разнокорневые слова ⁸. Представляется вероятным, что протоалеуты, отколовшись несколько тысячелетий тому назад от протоэскимосов, продвигались в область древней Берингии и Алеутских островов более южными путями. При своем продвижении они могли встретить иноязычные палеоазиатские племена (или племя) и на протяжении длительного времени полностью ассимилировать их (его). Лексика ассимилированных языков (языка) в массе своей могла быть заимствована и адаптирована протоалеутами и подчинена фонеморфологическим и грамматическим правилам и нормам их языка. Предположение об иноязычном субстрате в алеутском языке возникает в связи с тем, что главнейшие элементы его грамматической системы сохраняют общность с соответствующими чертами протоэскимосского языка, тогда как лексический состав этих языков в массе своей значительно различается.

Релевантный характер архетипов лексических и фонеморфологических единиц эскимосско-алеутских языков способствует установлению относительной хронологизации их праязыковой общности, датируемой нами гипотетическим периодом палеолитической доприморской культуры

⁶ К. Bergsland, The Eskimo-Uralic hypothesis.

⁷ Г. А. Меновщиков, Алеутский язык, «Языки народов СССР», V, стр. 389—398; его же, Эскимосский язык, стр. 369—373, 376—377.

⁸ См.: Г. А. Меновщиков, Эскимосско-алеутские параллели, стр. 182.

протоэскимосоалеутов. Разумеется, здесь не могут быть названы конкретно столетия и даже тысячелетия для датировки протоэскимосско-алеутской общности. Лексико-статистические исчисления Сводеша, датирующего период разделения этой общности в 4—5 тыс. лет до н. э., а также подсчеты некоторых этнологов (В. С. Лафлин, Л. Ирвинг, М. Г. Левин, Г. Ф. Дебец, Д. Е. Думонд), устанавливающих возраст языковой общности эскимосо-алеутов в пределах между 4—6 тыс. лет до н. э., представляются весьма относительными, хотя и заманчивыми, для решения вопросов эскимосско-алеутской этногенетической ситуации⁹.

В объяснении разительных отличий в лексике и в частях грамматического строя эскимосско-алеутских языков должен быть совершенно исключен процесс массового табуирования, который в отдельных слоях лексики мог иметь место лишь в отношении названий избранных предметов и явлений, относящихся к области духовной и (реже) материальной культуры. Несмотря на обширную пространственную конфигурацию современных эскимосских диалектов и языков, их неоднократное смешение и разделение в ходе исторического развития эскимосского общества, они сохраняют общие грамматические черты и не обнаруживают явной стратификации. Алеутский же язык в этом отношении оказывается затемненным, и наличие в нем древнейших иноязычных напластований представляется нам вероятным. Не исключается также и тот факт, что эскимосско-алеутские языки еще в доберингоморскую эпоху развивались параллельно на основе общей грамматической системы.

3. Ближайшими соседями эскимосо-алеутов со стороны Северо-Восточной Азии были палеоазиаты Чукотки и Камчатки, со стороны субарктических областей Америки — отдельные племена северных индейцев (атапаски, глинкиты и др.). Эскимосско-алеутские языки не обнаруживают прямого генетического родства ни с одним из языков этих народностей. Хозяйственные и культурные контакты различных племен на стыке Старого и Нового Света в течение всего берингоморского периода оказали лишь частичное влияние на проникновение отдельных элементов из языка в язык. Американские эскимосы и алеуты контактировали с индейцами, азиатские эскимосы — с палеоазиатами Чукотки и Камчатки (чукчами, коряками, а через них — с кереками, юкагирами, ительменами).

Контакты азиатских эскимосов с чукотско-камчатскими народами подтверждены не только археологическими и историко-этнографическими данными, но и лингвистическими фактами, прежде всего — проникновением лексических и грамматических элементов из языка в язык. Не исключена возможность, что в более ранний, не засвидетельствованный достоверно наукой, период, весь протоэскимосскоалеутский этнический массив соседствовал и контактировал со многими иноязычными племенами Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири.

В результате длительного соседства, хозяйственных и культурных контактов азиатских эскимосов и чукчей происходило взаимное обогащение их языков. В качестве языка-посредника функционировал чукотский язык¹⁰. Малочисленная группа азиатских эскимосов заимствовала из языка своих иноязычных соседей и адаптировала большое число качественных наречий, модальных слов, союзов, частиц, что оказало определенное влияние на перестройку морфологической структуры эскимосского глагола, а также простого предложения. Так, качественные и модальные оценки,

⁹ M. S w a d e s h, Unaaliq and Proto-Eskimo, IJAL, 1, 1951—1952; D. E. D u m o n d, указ. соч.

¹⁰ П. Я. С к о р и к, Чукотско-камчатские языки, «Языки народов СССР», V, стр. 235 и сл.; Г. А. М е н о в щ и к о в, Некоторые типы языковых контактов у аборигенов Крайнего Северо-востока Сибири, М., 1970 (VII МСР, Болгария, Варна).

выражающиеся в эскимосском языке обычно аффиксальным способом, с проникновением в него чукотских служебных слов и их адаптацией, стали в ряде случаев вытесняться последними, в результате чего упростилась структура глагола, причем количество лексических единиц в предложении стало больше. Ср., например: *игапигыснамалбица* «напрасно-писал-я» (суффикс - *пигысна* означает напрасно совершаемое действие), *лыганитык игамалбица* «напрасно писал-я» (заимствованное из чукотского языка наречие *лыганитык* «напрасно» делает избыточным в эскимосском глаголе оценочный суффикс -*пигысна*). В предложении *Абулакыбцахпык, панинац пуйгунигатамкын* «Хотя ты и уехал, все-таки не забываю я тебя» заимствованный и адаптированный эскимосским языком чукотский уступительный союз *панинац* (чукот. *панэна*) может быть опущен, поскольку значение уступительности выражено аффиксально (суффикс - *бца*) в форме деепричастия *абулабцахпык* «хотя ты и уехал». Во многих случаях заимствованное чукотское служебное слово заменяет исконно эскимосский синтетический способ выражения комитативного значения. Так, комитативная частица -*нкук* не только употребляется одновременно с заимствованным чукотским союзом *ынкам* «и», но и вытесняется последним. Ср.: (1) *Кавитанкук Муминкук кайикук* / (2) *Кавитанкук ынкам Муминкук кайикук* / (3) *Кавита ынкам Муми кайикук* «Кавита и Муми топят жир».

Примеров замены синтетического способа выражения тех или иных оценочных и других семантических значений в эскимосском языке аналитическим способом на основе заимствованных из чукотского языка служебных слов можно привести большое число¹¹, но и приведенных достаточно для характеристики проницаемости отдельных, не определяющих эскимосской грамматики, элементов. Эскимосско-чукотское двуязычие явилось основным условием заимствования чукотской периферийной (служебной) лексики, что вызвало обогащение азиатско-эскимосского языка дополнительными средствами выражения оценочных и комитативных значений. Но лексические заимствования не смогли повлиять на основы грамматического строя азиатско-эскимосского языка, оставшихся общими со строем его американских и гренландских подразделений. Следовательно, проникновение периферийной (служебной) лексики из чукотского языка в азиатско-эскимосский представляет собою более поздний процесс, относящийся к периоду постоянных контактов их носителей. Результаты подобного взаимодействия разносистемных языков нет оснований рассматривать как проявление генетического родства, поскольку явных лингвистических тождеств между чукотско-камчатскими языками и эскимосско-алеутскими языками Америки не обнаруживается¹².

Массовое проникновение служебных лексических средств из чукотского языка в язык азиатских эскимосов было обусловлено прежде всего причинами экстралингвистического порядка, к которым в первую очередь относятся социально-экономические причины (обмен ресурсами морского промысла и оленеводства), а с последними непосредственным образом связано взаимообогащение духовными ценностями (разные виды фольклора, обрядовые празднества и т. д.). В плане логическом массовое проникновение и адаптация чукотских наречий, союзов, частиц в диалекты языка азиатских эскимосов оказались возможными по той причине, что синтетический способ обозначения качественно-количественных, модальных, темпоральных, комитативных и других семантико-грамматических значений,

¹¹ Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. 2, М.—Л., 1967, §§ 250, 268, 272—273, 278, 310—312.

¹² Ср.: M. Swadesh, Linguistic relations across Bering strait, «American anthropologist», 1962, 64, где генетическое родство между чукотско-камчатскими и эскимосско-алеутскими языками устанавливается по ряду несистемных языковых признаков.

присущий эскимосскому языку, не противопоставляется аналитическому способу выражения этих же значений в чукотском языке: оба этих способа сосуществуют и в том, и в другом из сравниваемых языков.

Весьма характерно, что в составе общей знаменательной лексики, обнаруживаемой в языке азиатских эскимосов и чукотско-камчатских (палеоазиатских) языках, почти нет терминов, относящихся к приморской культуре. Кроме того, фонеморфологическая структура таких общих слов указывает на возможность непосредственных древних контактов эскимосов не только с чукчами, но и с коряками: эти общие слова по составу фонем, несмотря на наличие в чукотском и корякском языках гармонии гласных, более сходны в эскимосском и корякском, чем в эскимосском и чукотском, а ряд общих слов обнаруживается только в эскимосском и корякском и не зафиксирован в чукотском. Ср., например: эск. чапл. *пинасиқ* «кисть для краски» (эск. *пина* «краска», *пинаџа* «амулет») ~ коряк. *пинаџ* «кисть для раскраски одежды»; эск. *лалала* ~ коряк. *лалал*, чукот. *лелел* «роса»; эск. *улаџ* ~ коряк. *џала*, чукот. *џалы* «нож»; эск. *сирен. ну* «сын» ~ коряк. *ун'ун'у* «младенец»; эск. *сирен. митита* ~ коряк. *мит'амит* «цветок»; эск. *наук. гив'ди* «год» ~ коряк. *гивик* «прожил год» (*гэвэгийны* «год»); эск. *пайакит* ~ коряк. *пайакат* «икры ног»; эск. *наук. умкы* «крепость» ~ коряк. *умкын*, чукот. *умкуут* «лес»; эск. *увиныџ* ~ чукот., коряк. *увик* «тело; туловище»; эск. *уйавани* ~ коряк. *уйкэ*, чукот. *айакэн* «далеко»; эск. *йайвали* ~ коряк. *йайвал'йейвэл*, чукот. *ейвэл* «сирота»; эск. *кайџа* ~ коряк. *кайџын*, чукот. *кэйџын* «бурый медведь»; эск. *џуйџиџ* ~ коряк. *џойаџа*, чукот. *џораџа* «колень домашний»; эск. *тыланаџа* ~ чукот. *тыленэџ* (коряк. *катынпын*) «шарус»; эск. *сирен. айимих* ~ коряк. *айгывэ* «раньше» (коряк. *айговэ* «недавно»), эск. чапл. *агра* ~ чукот. *агран* «полог»; эск. чапл. *айваџ* «северный ветер», *айва* «северная сторона» (наук. *айгук* «север») ~ чукот. *айвал* «подветренное место», *айвач* «загородка от ветра», *айван* «эскимос», коряк. *айгыткын* «север»; эск. чапл. *гуйгу* ~ чукот., коряк. *гуйгун* «дом»; эск. *сирен. тилма*, алеут. *тиллах* ~ чукот. *тилмытыл* «орел»; эск. чапл., наук. *авра* ~ чукот. *эвирџын* «пушнина; одежда».

Отдельные параллели эскимосским словам обнаруживаем и в далеко отстоящих чукотско-камчатских языках — керекском и ительменском: Ср.: эск. чапл. *палиџ* «загар; увядание» ~ керек. *па'ал'ан* «солнце»; эск. *џыльџаџ* ~ керек. *џыльџаџ* «баклан»; эск. *на*, *ины*, *ны* ~ керек. *иныџ*, коряк. *нымнын* «жилище» (чукот. *нымытвак* «жить»); эск. чапл. *ипапик* ~ керек. *иппа* «правда»; эск. *кй'ук* ~ ительм. *кй'х* «река».

В области грамматики в эскимосско-алеутских и чукотско-камчатских языках частично типологически общими оказываются показатели числа, ср.:

	Ед. число	Дв. число	Мн. число
Алеут.	(-џ)	-х	-н, -с
Эск.	(-џ)	-к	-т, -н, -й
Чукот.	(-н)	—	-т
Коряк.	(-н, -џа)	-т, -ти/тэ	-в', -в'в' -у/о
Керек.	(-н, -џа)	-т, эт, -ти	-кжу
Ительм.	—	—	-н

Показатели мн. числа -н, -с, -т, -й в эскимосско-алеутских языках материально совпадают с показателями дв. числа в корякском и керекском языках, эскимосский суффикс мн. числа -т идентичен чукотскому -т, алеутский суффикс мн. числа -н — ительменскому -н.

В парадигме спряжения эскимосского языка суффикс -тык означает 2-е лицо дв. числа субъекта в непереходных глаголах и 2-е лицо дв. числа объекта — в переходных. В чукотском языке фонетически аналогичный

суффикс (-*тык*) означает 2-е лицо мн. числа субъекта и объекта, а в корякском в некоторых наклонениях переходного глагола — 2-е лицо дв. числа субъекта и объекта. Необходимо, однако, иметь в виду, что в эскимосском конечный -*к* суффикса -*тык* является показателем дв. числа (ср. -*тык* «двое вы», но -*тын* «ты») и, следовательно, этот суффикс оказывается здесь составным; по образованию суффикс -*тык* восходит к усеченной форме личного местоимения *льпытык* «двое вы» (ср. *льпык* «ты», *льпытык* «вы двое», *льпыси* «вы»). Таким образом, возводить эти суффиксы в чукотско-камчатских и эскимосском языках к одному источнику не представляется возможным.

Примечательно, что корякский суффикс 1-го лица ед. числа объекта -*н* в переходных глаголах будущего I времени совпадает с идентичным показателем 1-го лица ед. числа субъекта и объекта в языке сиренинских эскимосов и с показателем 1-го лица ед. числа субъекта (а также с лично-притяжательным суффиксом 1-го лица ед. числа) в алеутском языке. В эскимосских диалектах этот суффикс в тех же функциях выступает в форме -*на*. В этом случае имеет место материальное и семантическое сходство грамматического показателя. Сравнимые языки имеют и другие сходства фонеморфологического характера, но их так мало, а в целом грамматический строй между этими языками настолько различен, что говорить о едином праязыке для них представляется некорректным на современном этапе научных знаний¹³.

4. Материальные и семантические сходства в области лексики и фонеморфологической структуры не ограничиваются лишь эскимосско-алеутскими и чукотско-камчатскими языками. Сходства типологического характера обнаруживаются в эскимосско-алеутских языках, с одной стороны, и в тунгусо-маньчжурских, тюркских и финно-угорских, с другой. Обратимся к краткому обзору исследований по затронутому вопросу.

Датский ученый М. Вельдике еще в 1745 г. обратил внимание на сходство отдельных сторон строя гренландского (эскимосского) и венгерского языков, в том числе на а) отсутствие скопления нескольких согласных в начале слова, б) отсутствие категории рода, в) аналогичность способов обозначения лично-притяжательных форм имен и субъектно-объектных форм глаголов, а также способов образования глаголов; наличие послелогов¹⁴. М. Вельдике не предполагал, однако, генетического родства между этими языками.

Датский ученый Р. Раск в 1818 г. отнес эскимосский язык к «скифской» семье. Он отметил сходное обозначение категории мн. числа в эскимосском и финно-угорских языках, эскимосский инфинитивный суффикс -*нег* сравнил с венг. -*ни*, привел несколько лексических параллелей эскимосского с саамским, венгерским, финским, отдельными тюркскими языками¹⁵. Такие лексические соответствия, как эск. *kina* «кто» ~ тюрк., венг. *kin*, *ki*, *kim*; эск. *mane* «здесь» ~ якут. *манна* ~ тюрк. *munda*; эск. *manik* «яйцо» ~ саам. *tonne*; эск. *kamik* «обувь» ~ саам. *gama*; эск. *qajaq* «каяк» ~ якут. *qajiq*; зап. эск. *tunraq* «дух», «божество» ~ тюрк. *tenri* «небесный дух; божество»; эск. *qajige*, *qajgi* (азиат. эск.), *qashge* «общественный дом», «большая землянка» (ср. *qajgu* «корни дерева») ~ айну *kashi* «охотничий домик» ~ япон. *kaji*, *kashi* ~ хант. *xat*, *kot* «палатка» ~ фин. *koti* ~ саам. *kāote*, *kāohte* ~ венг. *ház* «дом» ~ датско-норв. *hutta* ~ нем. *hütte* ~ ст.-

¹³ В этой связи неубедительны утверждения М. Сводеша о несомненном генетическом родстве эскимосского и чукотско-камчатских языков (см.: M. S w a d e s h, Linguistic relations across Bering strait).

¹⁴ См. об этом: K. Bergsland, The Eskimo-Uralic hypothesis, стр. 4.

¹⁵ R. R a s k, Undersögelse om det gamle Nordiske eller Isländske sprogs Ordindelse København, 1818.

ирл. *kattia* ~ и.-е. * *keudh* и ряд других, отмеченных в первых сопоставительных работах И. Орлинга, Е. Линдаля, Р. Раска, В. Талбитцера, К. Уленбека¹⁶, позднее повторялись и дополнялись рядом других авторов.

В. Талбитцер и К. Уленбек приложили много усилий, стремясь обнаружить генетическое родство между индоевропейскими и эскимосскими языками. На основе фономорфологического и лексического тождества нескольких десятков слов они с некоторыми оговорками утверждали наличие такого родства, однако не исключали также и возможности заимствования лексики в результате контактов, аккультурации и случайных звуковых и семантических совпадений. Ценный сопоставительный материал по индоевропейско-эскимосским соответствиям, собранный и прокомментированный К. Уленбеком и В. Талбитцером, а также их суждения и выводы относительно межъязыковых связей представляют несомненный научный интерес для сопоставительных исследований.

К. Уленбек, выдвинувший гипотезу эскимосско-индоевропейских языковых связей, в своих статьях на эту тему использовал около 120 эскимосских слов, которым пытался найти параллели в индоевропейских языках. При этом он считал, что материальное и семантическое сходство ряда слов в этих языках может быть объяснено аккультурацией в течение длительного симбиоза двух языковых групп на территории Сибири. Он также не отвергал возможности генетического родства между этими языками в глубокой древности.

Т. Ульвинг, отмечая смелые эксперименты К. Уленбека, справедливо указывает, что «перед тем, как сравнивать эскимосские слова со словами других языковых семей, эскимосский словарь необходимо подвергнуть тщательному и систематическому внутреннему анализу. Это значит, что морфологическая структура его составных частей по возможности должна быть изучена, их взаимосвязь выяснена и замаскированные аффиксы отделены от основ»¹⁷. Т. Ульвинг показал на конкретных примерах, как игнорирование морфологического строения эскимосского слова приводит К. Уленбека к ошибочным эскимосско-индоевропейским сравнениям¹⁸.

Взгляды многих из упомянутых исследователей на обнаруженные ими сходжения эскимосско-алеутских языков с языками других семей (урало-алтайскими, индоевропейской) обстоятельно прокомментировал К. Бергсланд, который весьма осторожно относится к разрозненным лексическим и фономорфологическим параллелям из разносистемных языков, привлекаемым для установления их генетического родства или типологического сходства¹⁹.

5. К грамматическим чертам, которые типологически совпадают в эскимосско-алеутских, чукотско-камчатских, тунгусо-маньчжурских и финно-угорских языках, относятся типы субъектного и субъектно-объектного спряжения с обязательным личным оформлением глагола, а также сходные с ними типы образования лично-притяжательных форм имени. Так,

¹⁶ См.: С. С. U h l e n b e c k, Uralische Anklänge in den Eskimosprachen, ZDMG, 59, 1905, стр. 757—765; е г о ж е, Zur Eskimogrammatik, ZDMG, 60, 1906, стр. 112—114; 61, 1907, стр. 435—438; е г о ж е, Oude Aziatische contacten van het Eskimo, «Mededeel. d. Nederl. Akad. V. Wetensch., Afd. Letterkunde, N. R., Deel 4, 7, 1944; W. T h a l b i t z e r, Is there any connection between the Eskimo language and the Uralian?, «Atti del XXII Congresso intern. degli americanisti», II, Roma, 1928, стр. 551—567; е г о ж е, Possible early contacts between Eskimo and Old world languages, «Indian tribes of aboriginal America. Selected papers of 29-th International congress of americanists», 3, Chicago, 1952, стр. 50—52.

¹⁷ Т. U l v i n g, Two Eskimo etymologies in the light of consonant gradation, «Studia linguistica», VIII, 1, 1954, стр. 18.

¹⁸ Там же, стр. 18—19, 31—33.

¹⁹ См.: К. B e r g s l a n d, The Eskimo-Uralic hypothesis.

образование субъектных форм глаголов эскимосско-алеутских языков в структурно-морфологическом плане сопоставимо с такими же формами в чукотско-камчатских, самодийских и урало-алтайских языках. Показатели 1 и 2-го лица субъекта в этих неродственных языках восходят к усеченным или стяженным формам личных местоимений, присоединяемым к глагольному слову. В одних из сравниваемых языков наличествует шесть субъектных форм (ед. и мн. числа трех лиц), в других — девять (ед., дв. и мн. числа трех лиц — например, в эскимосском, корякском и обско-угорских языках). Субъектно-объектные парадигмы глагола в ряде сравниваемых языков имеют от 12 до 63 личных форм. 12 личных форм находим в языках, где субъект изменяется в трех лицах ед. и мн. числа, а объект выражен только в 3-м лице (в чукотском языке, в финских, мордовских, марийских, пермских языках); 18 личных форм — в языках с объектом только в 3-м лице, в котором к тому же получило выражение дв. число (алеутский, хантыйский, мансийский); 42 личных формы — в языках с показателями субъекта во всех трех лицах ед. и мн. числа и показателями объекта во всех трех лицах и числах (ед., дв., мн.). Наконец, логически завершенная парадигма из 63 личных форм отмечена в языке наукавских эскимосов и в обско-угорских языках (хантыйском, мансийском), где субъект и объект действия маркированы каждый во всех трех лицах и трех грамматических числах²⁰. Несмотря на несовпадение количества личных форм в этих языках, принцип личной аффиксации глагола остается для них общим.

Особого внимания заслуживает типологическое тождество лично-притяжательных форм имен и субъектно-объектных показателей в переходных глаголах в эскимосских и уральских языках. В тех и других языках лично-притяжательный показатель в имени указывает на принадлежность предмета лицу и этот же показатель в глаголе является субъектно-объектным, характеризуя направленность действия данного лица на объект, ср.:]

Хантыйский язык

и м я		г л а г о л	
<i>еут-эм</i>	«мой олень»	<i>тут-эм</i>	«несу-я-его»
<i>еут-эн</i>	«твой олень»	<i>тут-эн</i>	«несешь-ты-его»
<i>еут-ат</i>	«его олень»	<i>тут-тэ</i>	«несет-он-его»

Эскимосский язык (чапл.)

<i>ибныф-қа</i>	«мой сын»	<i>аглатақа-қа</i>	«несу-я-его»
<i>ибныф-ы-н</i>	«твой сын»	<i>аглатақа-н</i>	«несешь-ты-его»
<i>ибныф-а</i>	«его сын»	<i>аглатақā (-а)</i>	«несет-он-его»

Такое тождество лично-притяжательных и субъектно-объектных показателей распространяется на полные парадигмы имен и глаголов. А. Соважо сопоставляет спряжение глаголов в финно-угорских языках с типологически сходным спряжением в эскимосском и, как ряд других авторов, отмечает, что маркированные показатели субъекта и объекта в этих языках восходят к местоименным элементам²¹.

Образование личных показателей имен и глаголов из местоименных элементов характерно не только для эскимосско-алеутских, чукотско-камчатских, финно-угорских, но также тунгусо-маньчжурских, тюркских и ряда других языков. Эскимосские лично-притяжательные формы можно сравнить, например, с эвенкийскими, между которыми не только выяв-

²⁰ «Языки народов СССР», III, М., 1966, стр. 330, 352; V, стр. 369—373, 376—377.

²¹ A. S a u v a g e o t, Caractère ouraloïde du verbe esquimau, BSLP, 49, 1, 138, 1953.

Таблица 1

Лично-притяжательные формы

Лицо обладателя	Эскимосский язык			Эвенкийский язык	
	число предмета			число предмета	
	ед. ч.	дв. ч.	мн. ч.	ед. ч.	мн. ч.
1-е л. ед. ч.	-ка	-хка	-нка	-в/-м, -ми/-ви	-ви/-би
1-е л. мн. ч.	-(х)нут	-хнут	-вут/-нут	-вун/-мун/-пун	-вун/-бун
2-е л. ед. ч.	-н	-тык	-тын	-с, -ни	-ли/-ри(-си)
2-е л. мн. ч.	-(х)си	-хси	-ви/-си	-сун, -нун	-лун/-рун(-сун)
3-е л. ед. ч.	-а	-хык	-и	-н, -ин	-ин
3-е л. мн. ч.	-ат	-хыт	-ит	-тын	-тын

ляется типологическая (структурная) общность, но усматриваются частично и фонеморфологические сближения (ср. табл. 1).

Заманчивым для типологического сравнения представляется материальное и семантическое сходство эскимосских суффиксов 1-го лица мн. числа *-нут/-вут* с эвенкийскими суффиксами этого же значения *-вун/-мун, -пун*, а также ряда суффиксов 2 и 3-го лица. Подобное сопоставление можно распространить на все тунгусо-маньчжурские и монгольские языки, в которых показатели лица при именах и глаголах, как и в эскимосско-алеутских языках, восходят к усеченным формам личных местоимений²².

По мнению А. Соважо, агглютинация усеченных местоименных элементов для выражения субъектно-объектных отношений в глаголе и лично-притяжательных в имени не является слишком древней, а сами способы этой агглютинации варьируются от одного диалекта к другому и даже внутри отдельного диалекта²³. Подобное варьирование способов агглютинации наблюдается не только в финно-угорских и чукотско-камчатских языках, но и в эскимосско-алеутских (см. стр. 49). Общим для тех и других языков оказывается морфологический способ передачи субъектно-объектных отношений; это позволяет предполагать, что типологическое сходжение данной грамматической особенности названных языков могло возникнуть в результате конвергентного развития каждого из них или под влиянием возможных длительных языковых контактов.

Из области словообразования сопоставимыми в фонеморфологическом и семантическом отношении представляются, например, эскимосские суффиксы *-та/-ты, -лык* и соответственно тюркские *-чы/-чи/-сы, -лык/-луқ/-лик*. Посредством эск. *-та*, тюрк. *-чы* образуются имена, обозначающие деятеля по роду занятий, профессии, посредством эск., тюрк. *-лык* — имена обладания, совокупности или соотнесенности предмета с чем-либо. Ср. эск. *игақ* «книга» — *игахта* «учитель», *укини-* «пить» — *укиниста* «портной, швея» и тюрк. *ары* «пчела» — *арычы* «пчеловод», *балыг* «рыба» — *балыгы* «рыбак»; эск. *аңйақ* «лодка» — *аңйалык* «имеющий лодку; хозяин лодки», *ата* «отец» — *аталык* «имеющий отца» и татар. *тау* «гора» — *таулык* «гористая местность», чуваш. *кус* «глаз» — *куслах* «очки»²⁴.

²² «Языки народов СССР», V, стр. 20, 40, 62, 74, 79, 92, 97, 114 и сл.

²³ См.: А. Саувагеот, указ. соч.

²⁴ См.: Э. В. Севортян, К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках, сб. «Вопросы теории и истории языка», М., 1952, стр. 311—314.

Общетюркский аффикс *-к* (*-ак*), придающий образуемым им словам субстантивное значение²⁵, по функции и с точки зрения фонетической сопоставим с общеэскимосским субстантивным аффиксом *-к/-х*.

В области лексических соответствий между эскимосско-алеутскими и некоторыми другими, сравниваемыми здесь языками также обнаруживаются сопоставимые по семантическим и фономорфологическим признакам слова. Изоглоссу самой большой протяженности имеет, например, вопросительное местоимение *ки/кин/кина* «кто», ср. алеут. *кин* ~ эск. *кина* ~ ительм. *ке* ~ юкаг. *кин* ~ селькуп. *кут* ~ коми-перм., удм. *кин* ~ марийск. *кӱ/кӧ* ~ мокш., эрзян. *кие* ~ саам. *ке* ~ ливск. *кис* ~ ижорск., вепск., карельск. *кен* ~ эст. *кес* ~ венг. *ки* ~ калм. *кӕн* ~ бурят. *хен* ~ тюрк. *ким*.

Территориально более близки следующие лексические соответствия: эск. *пу* «древко; рукоятка» ~ селькуп. *по* «дерево; палка»; алеут. *қақ* «еда; рыба» ~ эск. *ика-льук* «рыба» ~ селькуп. *кель* «рыба» ~ нган. *коль* ~ энецк. *каче* ~ ненец. *һала*; эск. *танҕи* «пришелец; чужеземец; враг» (мн. ч. *танҕит*) ~ чукот., коряк. *танҕытан* ~ эвенск. *танҕан* «шлен; неволя», (ср. в тунгусо-маньчжурских языках основа глагола *чаңи-/таңи-* «разбойничать; бродяжничать» (ср. эвенк. *чаңит* «бродяга; разбойник; людоед; черт» ~ ороц. *чиңити* «воин, силач; вражда» ~ орокск. *таңичи* «враг»; в фольклоре этих народностей *чаңит* — название неизвестного древнего племени, с которым у эвенков были столкновения)²⁶; эск. *қуйҕиқ* «олень домашний» ~ чукот. *қораҕа* ~ коряк. *қойаҕа* ~ хант. *қалаҕ* (хант. *қор/қор* «бык олений»); эск. *йук* «человек», *йугыт* «люди» ~ хант. *йог*, *йогыт* «пришлый (далекий) человек, пришлые (далекие) люди»; эск. *қалу* «сачок для рыбы» ~ алеут. *қалат* ~ саам. *галлет*; эск. *камык* «обувь» ~ саам. *гәма* ~ морд. *кеме*²⁷; эск. *ма* «пространство в окружности» ~ хант. *ма* «земля»; алеут. *каликақ* «письмо; грамота; книга» ~ сев.-инд. помо *каликак* ~ сев.-инд. хайда *килкалан* ~ чукот. *келикэл* ~ коряк. *калиҕкал* (ср. в языке гренландских эскимосов *каликалавоқ* «оставлять след после себя», эск. д. Унгава *каликпоқ* «буксировать», эск. д. паллигмиут *каллигайҕоқ* «прикастаться»)²⁸; эск. *нами* «где» ~ юкаг. *намә* «где; что»; эск. *ны/на/ыны* «дом; жилище» ~ юкаг. *нимә*; эск. сирен. *мыңа* «я» ~ юкаг. *мәт*; эск. *ара* «кричать» ~ юкаг. *ару* «слово»; эск. *тана* «тот» ~ юкаг. *тән*; эск. *игна* (*тайигна*) «тот дальний» ~ юкаг. *тигин*, и т. д.

Выявление фономорфологических и лексических соответствий между эскимосско-алеутскими языками, с одной стороны, и чукотско-камчатскими, самодийскими, финно-угорскими, тунгусо-маньчжурскими, монгольскими и тюркскими, с другой, открывает большие возможности для сравнительно-типологических исследований. Приведенные соответствия между эскимосско-алеутскими и некоторыми языками Дальнего Востока, Сибири и Европейской части СССР, в которых нашел проявление целый ряд схождений на разных уровнях их строя, могут указывать, по меньшей мере,

²⁵ См.: Э. В. Севортьян, указ. соч., стр. 342—346; Г. А. Меновщиков Грамматика..., ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 81—82.

²⁶ Г. М. Василевич, Эвенкийско-русский словарь, М., 1958, стр. 115, 515; «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков», рукопись (ИЯ АН СССР, 1973).

²⁷ Саамские и мордовские примеры приводятся по статье: K. Bergsland, The Eskimo-Uralic hypothesis.

²⁸ C. W. Schult-Lorenzen, Dictionary of the West Greenland Eskimo language, København, 1927 (Re-issule 1967), стр. 110; A. Thibert, English-Eskimo dictionary Eskimo-English, Ottawa, 1969, стр. 96; L. Schneider, Dictionnaire esquimau-français du parler de l'Ungava, Quebec, 1970, стр. 104.

на прямые или опосредованные контакты носителей этих языков в условиях весьма древней гипотетической территориальной общности разноязычных народов евроазиатского ареала.

Мы оставляем в стороне эскимосско-индоевропейские соответствия на разных уровнях языкового строя. Такие соответствия в целях установления генетического родства между этими семьями языков выявлялись в разное время К. Уленбеком, В. Талбитцером, Л. Хаммерихом и другими исследователями, при этом на основе случайных отождествлений делались, как уже отмечалось выше, смелые и часто недостаточно обоснованные выводы о возможном древнем генетическом родстве протоэскимосского и индоевропейских языков. Что же касается схождения типа **ni*- «новый; молодой» (ср. эск. *nutaq* «новый», *nikaq* «юный брат») ~ и.-е. **neu-* (греч. νεός, лат. *nevus*, гот. *niujus*, сербо-хорв. *nava*, откуда греч. νεαζ «молодой парень», лат. *novicius* «молодец»), то они могли оказаться или случайными, или же распространившимися в результате длительного прямого или опосредованного контактирования различных народов на стыке Северной Азии и Восточной Европы. К такому же типу эскимосско-индоевропейских схождения относятся эск. **tu* «ударять; протыкать» ~ и.-е. **teu-* (иногда с префиксом *s-*) то же; эск. **tu* «давать» ~ и. е. *do-* то же; эск. *ulik* «покрывало», *ule* «морской прилив» ~ и.-е. **u-l-* «накрывать»; эск. **an-*, *anig(R)* «дышать; дуть», отсюда гренл. *anerpoq* «дышит», *anore* «ветер» (азиат. эск. *anuga*) ~ и.-е. *anH-* «дух; дышать», ср. лат. *animus*²⁹.

Мы глубоко убеждены, что такие одиночные лексические и фонетические «тождества», как алб. *taja* «высокий; вершина» и эск. *taju-* «подниматься на гору» или лат. *kulmen* «вершина» и эск. *kula* «верх» являются случайными совпадениями и не могут служить аргументом при установлении языкового родства.

6. В пределах одной языковой общности соседние диалекты и родственные языки в большей мере обладают сходными строевыми чертами, нежели диалекты и родственные языки, отделенные друг от друга языками другого типа или же дальностью расстояния (например, эскимосы гренландские и азиатские). Языковая непрерывность в пределах одной языковой семьи может быть нарушена на отдельных территориях из-за перемещения той или иной народности с одной территории на другую либо из-за интенсивности распространения одного диалекта (языка) за счет другого. Таким образом, степень родства языков можно установить, в своих сопоставлениях переходя от одного родственного языка к другому, а затем уже — последовательно привлекая к изучению отдаленно родственные и, наконец, гипотетически родственные языки. Эта правильная, с нашей точки зрения, мысль принадлежит М. Сводешу³⁰.

Мы считаем, что установление родства или типологического сходства между языками надо начинать не с сравнения изолированных и случайных языковых фактов эскимосского и индоевропейских языков (или даже территориально близких эскимосского и чукотского, вопреки М. Сводешу), а со сравнения грамматических систем, прежде всего, родственных диалектов и языков (например: эскимосских между собою, а затем — эскимосских и алеутских). На втором этапе целесообразно развернуть поиски типологических и генетических связей между эскимосско-алеутскими языками и ближайшими к ним территориально и историче-

²⁹ См. также ряд других соответствий, приводимых в целях доказательства родства этих разнотипных языков, например: L. L. H a m m e r i c h, Can Eskimo be related to Indo-European?, IJAL, 17, 1951, стр. 217 и сл.

³⁰ M. S w a d e s h, Linguistic relations across Bering strait.

ски чукотско-камчатскими, тунгусо-маньчжурскими, самодийскими, финно-угорскими и другими языками, опираясь при этом не на случайные лексические и фономорфологические «особенности», извлеченные из этих разносистемных языков, а исходя из сопоставления целых серий совпадающих форм и слов, из учета места их в системе и объема функционирования. Поиски же родства эскимосского языка с индоевропейскими, минуя ближайшие семьи языков, представляются малоубедительными.

Семантически и структурно совпадающие единицы сравниваемых языков необходимо рассматривать сначала отдельно в каждом из языков с учетом его внутренних фономорфологических закономерностей. Если же анализ языкового материала в каждом из языков показывает аналогичные результаты, подтверждаемые тождеством не единичных фактов, а серий и целых систем их, лишь в этом случае можно обоснованно судить о возможном языковом родстве.

Л. Б. НИКОЛЬСКИЙ

О ПРЕДМЕТЕ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ

Современное языкознание представлено комплексом дисциплин (интралингвистики, философии языка, психолингвистики, социолингвистики), которые, подвергая рассмотрению разные стороны языка, находятся в дополнительном отношении друг к другу и только в своей совокупности способны адекватно отражать все его свойства. Такая дифференциация языкознания является неизбежным этапом и реальной предпосылкой восстановления на новой основе единства науки о языке. Вместе с тем преждевременным было бы без исчерпывающего познания всех сторон и свойств языка уже в настоящее время приступать к формированию общей языковедческой теории под флагом «системной» или какой-либо иной лингвистики. Думается, что путь к созданию единой теории языка проходит через промежуточный этап дифференциации языкознания и ведет в конечном счете к этапу интеграции специальных теорий, который неминуемо наступит, когда отдельные лингвистические дисциплины исчерпают свои задачи.

Задачи промежуточного этапа частично выполнены. Интенсивно уточняются теоретические основы интралингвистики. В известной степени выяснены исходные теоретические постулаты психолингвистики. Создаются теоретические основы социолингвистики, которая в нашей стране, зародившись в рамках «традиционного» языкознания, постоянно интересовалась темой «язык и общество», постепенно отпочковывается от него, разрабатывая свой подход к языку, специфические методы и процедуры исследования.

Однако, поскольку социолингвистика находится в стадии становления, многие ее исходные положения недостаточно четко определены и прежде всего не совсем еще ясно, что должно составить ее предмет. Поэтому под термином «социолингвистика» не всегда понимается одно и то же. Одни ученые считают социолингвистику областью исследования и тем самым «отказывают ей в праве» быть одной из лингвистических дисциплин¹, другие, незаслуженно возвеличивая ее, называют социолингвистику «языкознанием в полном смысле этого слова»². Существует узкое понимание социолингвистики, связывающее ее с изучением только социальных диалектов³, и широкая трактовка как «раздела языкознания, изучающего причинные связи между языком и фактами общественной жизни»⁴.

Перед тем как определить предмет или, точнее, предметную область социолингвистики, в которую прежде всего входит проблема социальной обусловленности языка, разрабатываемая, например, в плане взаимоот-

¹ Ср., например: D. N u m e s, *Linguistic theory and the functions of speech*, сб. «Giornate internazionale di sociolinguistica», Roma, 1969, стр. 112.

² «Принципы и методы лексикологии как социолингвистической дисциплины», М., 1971, стр. 18.

³ В. М. Ж и р м у н с к и й, Проблема социальной дифференциации языков, сб. «Язык и общество», М., 1968.

⁴ О. С. А х м а н о в а, А. Н. М а р ч е н к о, Основные направления в социолингвистике, «Ин. яз. в шк.», 1971, 4, стр. 2.

ношения языка и культуры, языка и социально-экономической формации, нужно хотя бы кратко и конспективно изложить некоторые вопросы, которые до сих пор нередко ускользали от внимания интралингвистов, а для социолингвистов закономерно являются объектом особого интереса.

Язык — средство коммуникации в обществе. Коммуникация — процесс передачи и приема информации с помощью языка, предполагающий наличие передающего и адресата. Поэтому языковое общение одновременно есть и взаимодействие между людьми. Люди же могут составлять относительно замкнутые группы. Вследствие этого даже общество, использующее один язык, может распасться на ряд общностей с присущей каждой из них формой существования языка (территориальные и социально-групповые диалекты)⁵. Как известно, национальный язык обычно представлен совокупностью форм его существования (территориальных, надтерриториальных⁶, включающих и литературный язык, а также социально-классовых). Социальная в широком смысле слова гетерогенность национального языка становится большей, если в нем выделяются так называемые профессиональные «языки», а также если он подвергается дифференциации, связанной с возрастными и половыми различиями.

Известно, также, что различные формы существования языка в обществе (территориальные и социальные диалекты) распределяются не только социально, но и функционально, т. е. их первоначальная соотносительность с языковой общностью дополняется и осложняется их связью с определенной сферой общения, в которой «принято» использовать именно данную форму (например, диалект в наше время — средство общения крестьянства, но преимущественно в семейно-бытовой сфере).

Социальное и функциональное распределение форм существования языка или лингвистических элементов часто переплетается в такой степени, что позволяет говорить об их социально-функциональной дистрибуции⁷.

В результате такого распределения формы существования национального языка приобретают не только различную социальную значимость, но и различную коммуникативную нагрузку.

Если соотносительность со сферой общения считать частной функцией формы существования языка⁸, то разновидности языка в первую очередь отличаются объемом выполняемых частных функций.

Функциональная «специализация» разновидности языка, ее коммуникативное использование в определенных сферах или сфере общения влечет за собой возникновение информативной специфики. Форма существования языка, обслуживая сферу, включающую определенную совокупность тем общения, располагает только необходимыми в связи с ними лингвистическими элементами. Поэтому не всякая информация может быть передана средствами всех разновидностей языка.

⁵ См.: Е. Д. Поливанов, *Круг очередных проблем современной лингвистики*, «Статьи по общему языкознанию», М., 1968.

⁶ См.: А. В. Десницкая, *Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка*, Л., 1970.

⁷ W. Labov, *The social stratification of English in New York City*, Washington, 1966.

⁸ Следует отметить, что не существует концептуальных различий между Ю. Д. Дешериевым, использующим термин «социальные или общественные» функции и В. А. Авроринным, который отдает предпочтение термину «частные функции языка». Оба исследователя имеют в виду одно и то же — соотносительность языка с разными сферами общения. Термин «частные функции» нам кажется более точным. Известно, что определяющий компонент термина, которым пользуется Ю. Д. Дешериев, а именно «социальный», или «общественный» многозначен: он ассоциируется с сословно-классовой, профессиональной, территориальной и иной дифференциацией общества.

Социально и функционально распределенные формы существования языка составляют систему, соотношенную с континуумом языковой коммуникации в обществе. Эта система называется языковой ситуацией⁹.

Понятие языковой ситуации в еще большей мере приложимо к многонациональным обществам, где вместо форм существования единственного языка социально-функциональному распределению подвергаются разные языки, которые могут иметь функциональные «ранги» средства межнационального, регионального, местного общения, быть языками элиты или широких народных масс.

Языковая ситуация изменяется вследствие изменения социально-экономических и политических позиций, занимаемых языковыми или этнолингвистическими общностями, а также под воздействием мер, принимаемых государством с целью поддержания существующего функционального распределения языков или форм их существования, либо функционального перераспределения тех и других. Иначе говоря, языковая ситуация в целом и социально-функциональная дистрибуция ее элементов зависят как от объективных социально-экономических процессов, так и от субъективного фактора — проводимой в государстве языковой политики.

Поскольку языковая ситуация и ее изменение детерминирована в конечном счете социальными причинами (объективными и субъективными), возникает широкий круг проблем, которые, как думается, адекватно может изучать лишь социалингвистика.

В этот круг прежде всего входит исследование разного рода спонтанных языковых процессов: взаимодействия языков и диалектов, формирования наддиалектных форм речи, языкового нормирования и становления национального литературного языка.

В предметную область социалингвистики необходимо включить и всю проблематику, связанную с языковой политикой.

Если под языковой политикой понимать сознательную деятельность, направленную на сохранение или изменение языковой ситуации, а также на консервацию употребляющихся или на введение новых лингвистических норм, то объектом изучения в социалингвистике, говоря в общей форме, станут процессы выбора языка или его разновидности, лингвистических элементов для того или иного коммуникативного использования. Эти процессы обуславливаются экономическими, социальными, политическими и идеологическими соображениями и факторами. Социалингвистика должна изучать и различные языковые движения, которые могут быть рассмотрены как проявление «языковой политики снизу».

В предметную область социалингвистики следует включить: сознательные процессы нормирования языка обществом и создания национальных литературных языков, кодификационные процессы, процессы терминотворчества и т. п.

Для более или менее значительного числа членов общества в силу их принадлежности к одной языковой или этнолингвистической общности обычным является одноязычие, или моногlossия. Но поскольку все общности осуществляют социальное взаимодействие и связаны друг с другом, в многонациональном обществе получает распространение билингвизм, а в однопациональном — дигlossия.

Явления билингвизма и дигlossии, с точки зрения их происхождения, представляют собой индивидуальное отражение языковой ситуации. Это отражение может быть относительно полным, но оно редко бывает абсолютным, особенно в таком обществе, где функционирует множество язы-

⁹ См.: Л. Б. Н и к о л ь с к и й, Изучение языковой ситуации как прикладная языковая дисциплина, сб. «Проблемы изучения языковой ситуации и языковый вопрос в странах Азии и Северной Африки», М., 1970, стр. 5—12.

ков или форм существования языка (например, Индия, Китай). Число усваиваемых языков или разновидностей языка определяется практической потребностью и ролью индивида в обществе. Билингвизм или диглоссия в большей мере характеризует тех членов общества, которые проявляют социальную мобильность или совмещают несколько социальных ролей¹⁰. Овладеть другим языком или разновидностью языка может целая языковая общность. Однако и в этом случае названные явления возникают по тем же причинам.

Билингвизм и диглоссию можно представить как набор соответственно языков и разновидностей языка. Но это не простая их совокупность. В сознании индивида они подвергаются функциональному распределению, т. е. в микромасштабе воспроизводятся те отношения, которые существуют между ними как элементами языковой ситуации. Поэтому далеко не всякая информация может быть адекватно передана с помощью любого языка или его разновидности.

Кроме того, билингв и диглоссный индивид подчиняется правилам, установленным в данном обществе для использования языков или форм их существования. Эти правила определяют приемлемость высказывания для данной коммуникативной цели в конкретных условиях общения. Короче говоря, для построения социально корректного высказывания билингв или диглоссный индивид должен решить задачу выбора средства общения, допустимого и оптимального в данной коммуникативной ситуации.

Выбор оптимального средства общения — процесс, подверженный действию многих факторов. Он получил наименование «речевое поведение». Речевое поведение также закономерно входит в предметную область социолингвистики.

Однако, принимая термин, мы не можем согласиться с его бихевиористской интерпретацией. Хаймс и другие американские социолингвисты¹¹, провозгласив, что объектом изучения является не структура языка, а структура речи, свели проблему детерминированности речевого поведения к рассмотрению его зависимости только от внешних, неязыковых факторов (по Д. Хаймзу, компоненты коммуникативного акта — участники, тема, ситуация и т. д.). В этом случае речевое поведение, квалифицируемое как часть социального поведения человека, оказывается чем-то вроде условного рефлекса, реакцией билингва или диглоссного индивида на компоненты акта коммуникации, т. е. не выходит за пределы известной схемы «стимул — реакция».

Предварительным и обязательным условием изучения речевого поведения является исследование социально-функционального распределения языков или форм их существования в данном обществе. Применительно к отдельному языку это выливается в рассмотрение его не только в плане реализации, т. е. речи, но и его системы.

При этом для социолингвистики релевантно, что отдельный язык — система функционально и социально распределенных подсистем, в существовании которых отражена осознанная носителями языка социальная (в широком значении слова) дифференциация данного общества.

Выделение подсистем может производиться с помощью двух операций: отождествления языковых единиц по социально-функциональной значимости (соотнесенность единицы со сферой общения и социальной общностью), объединения единиц с идентичной значимостью.

¹⁰ См.: И. С. Ко н, Социология личности, М., 1967; е го же, Личность и ее социальные роли, сб. «Социология и идеология», М., 1969.

¹¹ D. H y m e s, The ethnography of speaking, сб. «Anthropology and human behaviour», Washington, 1962; J. J. G u m p e r z, Linguistic and social interaction in two communities, в его кн.: «Language in social groups», Stanford, 1971.

{Целью изучения речевого поведения является познание социолингвистической нормы. В отличие от лингвистической нормы («реализованный язык»¹²), под социолингвистической нормой следует понимать закономерности или правила выбора языковой системы, подсистемы, либо их варианты для построения социально корректного высказывания.

В качестве факторов, обуславливающих выбор и, следовательно, изменение плана выражения высказывания, выступают социально-функциональная значимость системы, подсистемы или их элементов, равно как и компоненты акта общения (участники, тема, речевая ситуация и т. д.).

Из сказанного следует, что социолингвистика, проявляя интерес к проблемам использования языка или языков в обществе, сосредотачивает свое внимание на процессах выбора средства коммуникации, причем эти процессы в обществе принимают форму языковой политики, а в речевой деятельности сводятся к предречевой ориентации.

И языковая политика, и речевое поведение подвержены воздействию социальных факторов. Однако социолингвиста, исходящего из тезиса об определяющей роли общества по отношению к языку интересуют не сами по себе социальные (или, как их иногда называют, социолингвистические)¹³ факторы и условия функционирования языка, а то, как социальное отражается в языковой ситуации или в системе языка и, кроме того, определяет использование языков или языка обществом и индивидами¹⁴.

Поэтому вместо параллельного изучения и описания социальных и лингвистических структур, к чему, по мнению некоторых ученых¹⁵, может сводиться задача социолингвистики¹⁶, мы предлагаем рассматривать и языковые ситуации, и систему отдельного языка соответственно как совокупность социально и функционально значимых систем или подсистем, разрабатывать методику вычленения последних и закономерности использования тех и других.

Все, что было сказано выше, имело целью не только показать ту реальность, которая должна подвергаться изучению в социолингвистике, но и подчеркнуть специфику социолингвистического подхода к языку.

Тем не менее нужно еще специально остановиться на выявлении того, что отличает социолингвистику от интралингвистики в подходе к структуре языка, его функционированию и изменению.

Интралингвистика, которая основывается на семиотическом подходе, рассматривая язык как организованную совокупность языковых единиц разного функционального типа (фонема, морфема, слово, предложение), интерпретирует его как иерархическую систему единиц, которые объединяются в соответствующие уровни.

Социолингвистика характеризуется социолого-функциональным подходом к языку. В ее представлении язык — система подсистем, в которые объединяются разноуровневые единицы с тождественной социально-функциональной значимостью.

¹² Э. К о с е р и у, Синхрония, диахрония и история, сб. «Новое в лингвистике», 3, М., 1963.

¹³ О. С. Ахманова считает социолингвистическими факторами возраст говорящего, его социальную принадлежность, эмоциональное состояние.

¹⁴ Думается, что в социолингвистике сложилось такое же положение, как и в социальной психологии, которую интересуют «не сами по себе социальные условия», а те, как эти условия «преломляются через своеобразие психики и социально-психологических явлений».

¹⁵ W. B r i g h t, Introduction: the dimensions of socio-linguistics, сб. «Sociolinguistics», The Hague — Paris, 1966, стр. 11.

¹⁶ Попытку В. Брайта установить параллелизм между социальными структурами и структурами языка вряд ли можно считать перспективной. См.: М. М. Г у х м а н, Н. Н. С е м е н ю к, О социологическом аспекте рассмотрения немецкого литературного языка, сб. «Норма и социальная дифференциация языка», М., 1969.

Таким образом, интралингвистика рассматривает членение языка по вертикали, выявляя иерархические отношения между единицами разных уровней, под которыми понимаются совокупности функционально тождественных единиц. При этом уровень основывается на субстанциональной и смысловой противопоставленности составляющих его элементов¹⁷. Социоллингвистика же имеет дело с членением языка по горизонтали: она выявляет отношения контрастности между элементами каждого уровня и вычленяет подсистемы, соотносящиеся с разными сферами общения и разными социальными общностями. При этом подсистема — совокупность разноуровневых единиц, связанных иерархическими отношениями.

Что касается функционирования языка, то и к этой теме лингвистика и социоллингвистика подходят с разных сторон. Функционирование языка может быть рассмотрено как единый двусторонний процесс, включающий предречевую ориентацию говорящего и речемыслительный процесс или, по Щербе, речевую деятельность. В ходе этих процессов создается языковое высказывание, адекватно выражающее данную информацию, правильное с грамматической и корректное с социальной точки зрения.

Социоллингвистика, включая в свою предметную область речевое поведение, тем самым ограничивается изучением только первого процесса. Речемыслительный процесс — объект исследования в интралингвистике.

Можно сказать, что интралингвистика, независимо от ее направлений, представляет функционирование языка как совокупность производимых с помощью языка актов наименования, а социоллингвистика — как совокупность актов переименования. Процесс наименования предполагает «сборку» единиц высшего уровня из единиц низшего уровня, а переименования — замену одной одноуровневой единицы другой.

Несколько иначе обстоит дело с исследованием проблемы изменения и развития языка.

Проблема языковых изменений предстает как комплексная, требующая сочетания интралингвистического подхода со свойственным ему вниманием к внутрисистемным факторам с подходом социоллингвистическим, который характеризуется повышенным интересом к воздействию на систему языка внешних, социальных факторов.

В этой связи не является случайным, что новые советские исследования по этой проблеме, а именно «Русский язык и советское общество» под ред. М. В. Панова (М., 1968) и «Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе» (М., 1966) Ю. Д. Дешериева по существу не что иное, как результат изучения языковой действительности с позиций как интралингвистики, так и социоллингвистики.

По-видимому, окончательное решение проблемы языкового развития станет возможным при условии рассмотрения соответствующих процессов не только с позиций лингвистики и социоллингвистики, но и дополнительно, с точки зрения психоллингвистики, ареальной лингвистики и, возможно, других дисциплин, составляющих современное языкознание.

Вывиснив взаимоотношение социоллингвистики и интралингвистики, попытаемся показать связь первой с социологией. Это необходимо для определения методологических основ социоллингвистики.

Марксистская социология исходит из того, что общество как объект науки — органическое целое. Его части не самостоятельны и не могут

¹⁷ В связи с тем, что структурирование уровней базируется только на отношениях контрастности, неправомерно встречающееся в литературе использование в качестве синонима термина «уровень» термина «подсистема». Различие между системой и подсистемой не качественное, а количественное: подсистема — часть системы. Если система — совокупность элементов, находящихся в отношениях компонентности, то и ее часть не может быть не организована на основе тех же отношений.

рассматриваться изолированно. Основные свойства частей определяются законами развития целого. Для всестороннего познания общества нужны: 1) общесоциологическая теория развития общества как единого целого — философская наука об обществе, которой является исторический материализм; 2) частные общественные науки, которые познают конкретные общественные явления.

Частные социологические науки базируются на историческом материализме, который составляет их методологическую основу. Но они в то же время нуждаются в специфических теориях, отражающих особенности их объектов. Говоря иначе, общие положения исторического материализма должны в них конкретизироваться. Конкретизация предполагает построение частной, специальной теории.

Специфика частной теории определяется свойствами объекта. Специфические свойства языка состоят в следующем: 1) он обслуживает общество во всех сферах; 2) он является единственным средством отражения общественного сознания в его полном объеме; 3) он отражает изменения во всех сферах жизни общества; 4) общество создает и формирует язык в подлинном смысле этого слова. Язык — продукт общества. В большей степени, чем другие явления, обслуживающие общество, он заслуживает названия общественного явления.

Но люди, вступая в производственные или иные отношения и используя язык для обмена мыслями в процессе общения, по-разному относятся к одним и тем же языковым явлениям и, предпочитая одни, отвергают другие.

Поскольку факторами, определяющими разное отношение людей к языкам, языковым элементам, оказываются социальные, необходимо вести исследование этих социальных факторов. Таким образом, в социолингвистике существует точка приложения общесоциологической теории.

Методологической основой марксистской социолингвистики является исторический материализм. Но это не значит, что общие положения марксистской теории общества могут быть прямо и непосредственно применены для объяснения социолингвистических явлений. Социолингвистика имеет дело с рядом факторов, действие которых стимулируется общими законами общественного развития лишь косвенно. Примеры: возникшие в период феодализма системы форм вежливости в ряде восточных языков не исчезают с переходом к другой общественной формации; речевое поведение определяют не только социально-классовая принадлежность собеседников, но и их возраст, образование, пол, профессия, род занятий; профессиональная лексика возникает в результате общественного разделения труда в рамках любой социально-экономической формации; не зависит от социально-экономических причин существование, например, студенческого жаргона.

Конечно, главное, на что следует опираться социолингвисту в своей работе, это марксистская теория классов, а также наций. Язык, не будучи по своему существу классовым явлением, тем не менее, отражает классовую, сословную структуру общества. В многонациональных странах складываются сложные языковые ситуации.

Таким образом, проблема методологических основ социолингвистики может быть поставлена примерно так же, как и применительно к любой конкретной социологической науке. Методологической основой социолингвистики является исторический материализм. Но она нуждается в своей частной теории.

Эта теория должна иметь дело с социальными явлениями, находящими отражение в системе языка, а также с социальными факторами, влияющими на его функционирование и развитие.

В заключение следует сказать, что социологическая лингвистика, которая имеет свою предметную область, не должна отождествляться со всем языкознанием. Она — частная дисциплина, входящая в него наряду с другими. Одна социалингвистика не может рассматриваться как панацея от «бед», принесенных науке о языке «микролингвистикой». «Социологизация» интралингвистики не повлечет за собой решение всех онтологических проблем языка, так как за пределами досягаемости по-прежнему останется ряд важных тем (например, язык и мышление, язык и психическая деятельность). Социалингвистика не предназначена полностью или частично заменить интралингвистику.

Обе дисциплины, каждая изучая язык только с одной стороны, несут печать ограниченности. Она выражается в том, что интралингвистика считает язык гомогенным в социальном плане, а социалингвистика отвлекается от его структурной гетерогенности («составленности» языка и его подсистем из разноуровневых элементов).

Вместе с тем названные дисциплины находятся в дополнительном отношении друг к другу. Социалингвистика выполняет интралингвистический подход, изучая явления и процессы, которые обусловлены воздействием общества на язык. Интралингвистика снимает ограниченность социалингвистики, рассматривая, например, как совокупности разноуровневых элементов подсистемы, выделяемые по социально-функциональной значимости.

Несомненно, в дополнительном отношении находятся и другие лингвистические дисциплины.

Думается, что для того чтобы языкознание выполнило свою главную задачу — адекватно определило онтологию языка, нужно установить правильные отношения между составляющими его дисциплинами. В свою очередь для этого необходимо решительно отойти от практики онтологизации теоретических положений, выработанных одной из его частных дисциплин, независимо от того, на какой (семиотической, социологической или психологической) интерпретации объекта они основаны.

Очевидно, следует также при построении общей теории учитывать основные положения всех входящих в языкознание дисциплин, предварительно признав их теоретические постулаты.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О. С. ШИРОКОВ

ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЧУКОТСКОГО ВОКАЛИЗМА

Поставив своей целью освещение системы гласных фонем и сингармонизма чукотского языка с методологических позиций московской фонологической школы, автор при описании языкового материала опирается на фактические данные, содержащиеся как в трудах П. Я. Скорика, так и в старых работах В. Г. Богораза, также на исследование Г. И. Мельникова¹, частично — на свои наблюдения во время поездки на Чукотку в марте-апреле 1971 г. При толковании противопоставлений и чередований чукотских гласных автор придерживается традиций московской фонологической школы.

В настоящее время принято считать, что в чукотском языке в независимой позиции (в словах, не содержащих разные гласные) различается шесть гласных — *и, э, а, о, у, ы*: *минк* «где», *р'эв* «кит», *ярар* «бубен», *чотчот* «подушка», *гым* «я», *рук* «съесть»².

В многосложных словах и полиморфемных комплексах, содержащих разные гласные, могут происходить позиционные чередования. В морфемах, содержащих в независимой позиции гласные *и, э, у*, эти гласные сохраняются, если к ним добавляются морфемы, также содержащие гласные *и, э* или *у*; но если добавляются морфемы с гласными *а* или *о*, то происходят изменения: *и > э, у > о, э > а*. Например: *гэкэлиткутури* «вы писали» (аффиксы *гэ-* и *-тури*, соединенные с глагольной основой *-кэлитку-*), но *гапалёмторэ* «вы слышали» (те же аффиксы, соединенные с глагольной основой *-палём-*). Если морфемы имеют в независимой позиции *а* или *о*, то эти гласные остаются без изменения в производных многосложных словах и полиморфемных комплексах. Гласная *ы* также остается без изменения, но выступая в одной группе морфем, содержащих *ы*, она, подобно гласным *а* и *о*, способствует переходу в присоединяемых морфемах *и > э, у > о, э > а*, в другой же группе морфем не влияет на качество гласных.

В примере *тыкэличитыркын* «я (сейчас) пишу», *тывалёмыркын* «я слушаю (сейчас), слышу» гласная *ы* в аффиксах *ты-, -ыркын* не влияет на качество гласных в глагольных корнях, но *ы* в корне *вылг* «тонкий; тонкошерстный» вызывает изменения гласных в присоединяемых корнях, ср. комплекс *вылгыналгын* «тонкошерстная шкура» (*налг* «шкура»). Ср. также: *гэргылын* «он разрыл», *гэнвылын* «он переместил» (гласные в аффиксах *гэ-*

¹ П. Я. Скорик, К вопросу о составе фонем чукотского языка, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», XI, М.—Л., 1958; е го же, Грамматика чукотского языка, ч. 1, М.—Л., 1961; В. Г. Богораз, Луораветланский (чукотский) язык, «Языки и письменность народов Севера», ч. III, М.—Л., 1934; W. Bogoras, Chukchee, в кн.: «Handbook of American Indian languages», pt. 2, Washington, 1922; Г. И. Мельников, Фонемы чукотского языка, «Язык и мышление», XI, М.—Л., 1948.

² В соответствии с принятой системой чукотской орфографии, гласные в независимой позиции обозначаются буквами *и, э, а, о, у, ы*; после палатальных согласных *л, ч* пишется *е, я, ё, ю*, в начале слова эти буквы обозначают сочетания *йэ, йа, йо, йу*.

и *-лин* остались без изменения), но *гарвылен* «он расколол», *ганвылен* «он соскреб» (в тех же аффиксах гласные изменились)³. Чтобы отметить это различие, гласную в морфемах типа *ты-*, *-ыркын*, *-рғы-* (не влияющую на качество других гласных) можно обозначить через y_1 (*ты₁кэлчиты₁ркы₁н*, *гэргы₁лин*, *ганвы₁лин*), а гласную в морфемах типа *вылг*, *-рвы-* (воздействующую на соседние гласные, подобно гласным *а*, *о*) — через y_2 (*вы₂лг*, *гарвы₂лен*, *ганвы₂лен*). Гласная *э*, встречающаяся в сильной позиции, условно обозначается через a_1 (*р'э₁в*, *нэ₁лг*), а гласная *э*, являющаяся результатом изменения *и* (в соседстве с морфемами, содержащими *а*, *о*, y_2), — через a_2 (*гапалёмторэ₂*).

Морфемы, соединяясь с морфемами, содержащими гласные *и*, a_1 y_1 , *у*, не изменяют своих гласных. Следовательно, позиция в одном комплексе с *и*, a_1 y_1 , *у* является сильной. В словах и полиморфемных комплексах, содержащих *а*, *о*, y_2 , гласные *и*, a_1 , *у* изменяются; эта позиция является слабой.

В слабой позиции оказываются все гласные слова или полиморфемного комплекса, имеющего хотя бы в одной из морфем гласный *а*, a_2 , *о* или y_2 . Здесь, таким образом, мы имеем дело с признаком, характеризующим слово (или комплекс) в целом. Следовательно, это явление не фонематическое, а просодическое⁴. Слова и полиморфемные комплексы, в которых произошло изменение гласных, представляются отмеченными (маркированными) специальным просодическим признаком (просодемой). Этот признак может проявляться на артикуляционно-акустическом уровне в понижении подъема и расширении гласного (открытости).

Морфемы (и одноморфемные слова) делятся на два класса: постоянно отмеченные просодемой открытости и неотмеченные. При соединении морфем в словоформы и полиморфемные комплексы открытость отмеченных морфем распространяется на все неотмеченные морфемы, т. е. фонологический признак (в данном случае — открытость) ассимилятивно распространяется на соседние участки синтагматического ряда. Это явление можно сравнить с озвончением глухих согласных перед звонкими в русском языке (*сбить* /зб'ит'/): глухая фонема представлена звонким вариантом, где звонкость является не постоянным признаком, а распространенным с соседней фонемой. Так же, как звонкость у вариантов русских глухих фонем, открытость чукотских неотмеченных морфем является контекстно обусловленным признаком. Отмеченные морфемы, соединенные в одно слово (или в комплекс) с отмеченными, оказываются в слабой линейной позиции⁵.

Гласные, входящие в морфемы, которые не отмечены постоянной или контекстно обусловленной открытостью, не изменяют своего основного звучания, следовательно, они находятся в перцептивно сильной позиции. Все гласные в словах или комплексах, содержащих отмеченные морфемы,

³ Из этих примеров видно, что в отличие, например, от финно-угорских, тюркских, монгольских или тунгусо-маньчжурских языков, где огласовка последующих аффиксов меняется под влиянием постоянной огласовки предшествующего корня, в чукотско-корякских языках огласовка может быть как переменной, так и постоянной у различных морфем (как корневых, так и служебных) вне зависимости от их функции и от их места в слове.

⁴ См.: А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики (морфологии), в его кн.: «Из истории отечественной фонологии», М., 1970 (далее — РИФ), стр. 409—413; е го ж е, Иерархия фонологических единиц и явления сингармонизма, сб. «Исследования по фонологии», М., 1966.

⁵ О линейных или контекстно обусловленных позициях см.: А. А. Реформатский, Согласные, противопоставленные по месту и способу образования и их варьирование в современном русском литературном языке, РИФ, стр. 337.

оказываются в перцептивно слабых позициях⁶. Общее количество фонематически противопоставляющихся гласных остается одинаковым в обеих позициях (четыре фонемы: *и, э₁, ы₁, у* в сильной позиции, *э₂, а, ы₂, о* — в слабой), поэтому применительно к сигнификативной функции обе позиции равносильны. В соответствии с этим реализации гласных в сильной позиции (*и, э₁, ы₁, у*) следует называть основным видом фонем, а реализации гласных в слабой позиции (*э₂, а, ы₂, о*) — их вариациями. Поскольку в слабой позиции не происходит нейтрализация фонемных противопоставлений, здесь можно говорить только о позиционных вариациях, но не о вариантах⁷.

Следует, по-видимому, различать характер слабой фонематической позиции чукотских морфем и слабой фонематической позиции отдельных гласных. Морфема в чукотском языке может рассматриваться не только в грамматическом, но и в фонологическом плане, поскольку морфема в целом характеризуется бинарным фонологическим признаком — наличием или отсутствием просодемы открытости. Слабая позиция неотмеченной морфемы является линейной, обусловленной контекстно: в пределах одного слова или полиморфемного комплекса открытость с отмеченных морфем распространяется по всему отрезку речевой цепи, на все неотмеченные морфемы (комбинаторные изменения — ассимиляция морфем по открытости). Слабая же позиция отдельных гласных является просодической, поскольку открытость не является собственным признаком гласных, это чисто позиционное изменение фонем, которые оказались в морфемах, снабженных просодическим признаком открытости⁸.

Говоря о наличии лишь четырех гласных фонем в чукотском языке, мы исходим из определения фонем как единиц, могущих служить единственным средством различения морфем в тождественных позиционных условиях⁹. Как в сильной, так и в слабой позиции могут противопоставляться лишь четыре гласных. Особого разъяснения в связи с этим требует соотношение между гласными, которые здесь обозначены как *э₁* и *э₂*. В. Г. Богораз отмечал, что эти две гласные «произносятся приблизительно одинаково, но имеют совершенно различные фонетические особенности при гармонии гласных»¹⁰ (поэтому Богораз изображал их двумя разными знаками). С этим нельзя не согласиться: гласная *э₁* выступает как основной вид фонемы и противопоставляется в сильной позиции гласным *и, ы₁, у*; гласная *э₂* является вариацией фонемы /и/, она противопоставляется вариациям *а, ы₂, о*. Следовательно, гласные *э₁* и *э₂* воплощают разные фонемы: *э₁* вместе с вариацией *а* фонему /э/, гласная *э₂* вместе с *и* — фонему /и/. Таким образом, гласные *э₁* и *э₂* (физически одинаковые или почти одинаковые) функционально выступают как разные фонемы; физически же разные гласные *и* и *э₂* (это можно сказать соответственно про *э₁* и *а*; так же *у* и *о*) представляют функционально одну фонему /и/ (соответственно /э/, /у/).

Однако в индивидуальном произношении возможно иногда различие в

⁶ О различии перцептивно слабых и сигнификативно слабых позиций см. там же, стр. 377.

⁷ См.: Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, Очерк грамматики русского литературного языка, ч. I, РИФ, стр. 252.

⁸ О просодических, или структурно-обусловленных, позициях см.: А. А. Реформатский, Согласные, противопоставленные по месту и способу образования..., РИФ, стр. 376. О различии между чисто позиционными и комбинаторными фонематическими изменениями см.: А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 192—193.

⁹ См.: П. С. Кузнецов, К вопросу о фонематической системе современного французского языка, РИФ, стр. 185; его же, О фонологической системе сербохорватского языка, РИФ, стр. 350.

¹⁰ В. Г. Богораз, Луораветланский (чукотский) язык, стр. 42; его же, Chukchee, стр. 649.

слабой просодической позиции между ε_2 в морфемах, имеющих собственную (постоянную) просодему открытости, и ε_2 , возникшим из *и* (когда морфема, не имеющая собственной просодемы открытости, оказывается в линейной слабой позиции): по наблюдениям П. Я. Скорика, в речи отдельных носителей чукотского языка появляется гласный, близкий к русскому ε (обозначим его как ε_3) в словах *эхо*, *этот*, *детский*, *цел*, *цеп*; такой гласный не чередуется с *и* или *а*: чукот. ε_2 и ε_3 м ε_2 м «утес», ε_3 лгар «песец», м ε_3 мы ε_2 л «нерпа», ε_3 зргы ε_2 к ε_2 р «свет», р ε_3 з ты ε_2 р ε_2 т «сновидение». Гласный ε_3 несколько отодвинут назад и ниже по подъему, он более открытый, менее напряженный (иногда приближается по звучанию к *ы*, ср. ε_2 ргаты ε_2 к/ ε_3 ргаты ε_2 к «завтра») по сравнению с более напряженными, передними и более высокими по подъему ε_1 и ε_2 , которые произносятся как ε в русск. *эти*, *дети*, *цепь*, *цель* (чукот. м ε_2 р ε_2 м ε_2 р «слеза», п ε_2 р ε_2 э «схваченный», ε_1 п ε_1 к ε_1 й «бабушка», ε_1 ры ε_1 м «начальник», т ε_1 й ε_1 т «пицца», ип ε_1 «именно, поистине»). Это различие все же нельзя считать фонематическим, поскольку ε_3 и ε_2 встречаются в разных позициях: ε_3 — в морфемах с постоянной просодемой открытости (поэтому и невозможны чередования ε_3), ε_2 — в морфемах, оказавшихся в слабой линейной позиции.

Никем из исследователей не отмечалось физическое различие между гласными, обозначенными здесь как ε_1 и ε_2 (ε_1 нвы ε_1 лин «он переместил» ганвы ε_2 ле ε_2 н «он соскреб»): наличие или отсутствие просодемы открытости проявляется не в огласовке самой морфемы, содержащей фонему / ε /, а в огласовке присоединенных к ней неотмеченных морфем. Это можно сравнить с тем, что в русском языке, например, *Кире* и *к Ире* различаются только комбинаторными вариациями согласных (*к'* и *к*) и гласных (*и* и *ы*), но в этом различии выявляется наличие или отсутствие словесной границы, которая ничем иным не выражается. Фонологические явления, таким образом, могут выражаться не в различии основных видов фонем, а в различии комбинаторных вариаций, представляющих одинаковые фонемы (*к* и *к'* воплощают фонему /*к*/, *и* и *ы* — фонему /*и*/). В примере с чукотским -нвы ε_1 - «перемещать» и -нвы ε_2 - «соскребать» различие просодическое, непосредственно ничем не выраженное (гласные ε_1 и ε_2 физически совпадают), оно выражается лишь в огласовке присоединенных морфем, оказывающихся в слабой линейной позиции: гласные в ε_1 - и -лин выступают в основном виде, указывая на неотмеченность -нвы ε_1 -, а гласные в га- и -ле ε_2 н — как позиционные вариации, указывая на просодическую отмеченность -нвы ε_2 -. В ε_1 нвы ε_1 лин выступают морфемы ε_1 - и лин-, огласовка которых указывает на отсутствие в данном слове просодически отмеченных морфем. В ганвы ε_2 ле ε_2 н эти же морфемы звучат как га- и -ле ε_2 н, их огласовка указывает на наличие в данном слове просодически отмеченной морфемы. Таким образом, -нвы ε_1 - в ε_1 нвы ε_1 лин приравниваются к классу неотмеченных морфем (подобно -л ε_2 т- в ε_1 л ε_2 тлин «он встал»), а -нвы ε_2 - в ганвы ε_2 ле ε_2 н — к классу морфем, имеющих просодему открытости (подобно -пал ε м- в гапал ε мле ε н «он услышал»). Подобно тому, как наличие или отсутствие словесной границы в русских *к Ире* — *Кире* выражено лишь в различных комбинаторных вариациях одних и тех же фонем, так и наличие или отсутствие просодемы открытости в чукотских ε_1 нвы ε_1 лин «он переместил» и ганвы ε_2 ле ε_2 н «он соскреб» выражается лишь в различных позиционных вариациях одних и тех же гласных фонем.

Говоря о выделении просодемы открытости как особого элемента лишь на основании «следов», оставленных в огласовке других фонем (в то время как сама открытость остается «невидимой»), уместно вспомнить интересное высказывание Л. В. Щербы: «Элементы, входящие в состав целого ряда разных представлений, вступают в тесную связь друг с другом. Определенная интонация слова, входя в качестве одного из элементов в пред-

ставления разных слов, имеющих, однако, всегда один и тот же чувственный элемент..., н е о б х о д и м о вступает в теснейшую связь с этим последним и таким образом в известной степени изолируется нашим сознанием»¹¹. Можно предположить, что подобная изоляция представления о просодической открытости происходит в чукотской речи при установлении тесной связи между характером огласовки неотмеченных морфем (-*қин* или -*қээн*, -*тури* или -*торэ*, *нэлэ* или *налэ*, *гэ*- или *га*-, -*лин* или -*лээн*) и наличием либо отсутствием в комплексе постоянно отмеченных морфем: закрытая огласовка *гэ*₁*кэ*₁*литкутури* «вы писали», *гэ*₁*лқутлин* «он встал» при отсутствии постоянной открытости в огласовке морфем -*кэ*₁-*литку*-, -*лқут*-; открытая огласовка в *гапалёмторэ*₂ «вы слышали», *гапалёмлээн* «он услышал» при постоянной открытости у морфемы -*палём*-; открытость, выделенная в сознании, приписывается как скрытое просодическое качество и некоторым морфемам с /ы/: *вы*₂*лгы*₂*налгы*₂*эн* «тонкошерстная шкура», *гарвы*₂*лээн* «он расколол», *ганвы*₂*лээн* «он соскреб», *ны*₂*эды*₂*қээн* «твердый» (в противоположность *гэ*₁*ргы*₁*лин* «он разрыл», *гэ*₁*нвы*₁*лин* «он переместил», *нитчы*₁*қин* «тяжелый; дорогой», которые ставятся по ассоциации в один класс с *гэ*₁*лқутлин*, *гэ*₁*кэ*₁*литкутури*).

Если исходить из определения фонемы как элементарного звукопредставления, различающего слова, то *гэ*₁*нвы*₁*лин* и *ганвы*₂*лээн* можно было бы признать минимальной парой, и тогда гласные *э*₁ и *а*, *и* и *э*₂, различающие эти слова, нужно было бы считать разными фонемами. Но, исходя из «московской» концепции фонем как единиц, которые различают непосредственно не слова, а морфемы¹², нельзя в данном примере приписать противопоставлениям *э*₁ — *а*, *и* — *э*₂ смысловозначительной функции, потому что здесь нет различия морфем (*гэ*₁- и *га*-, соответственно -*лин* и *лээн* — комбинаторные разновидности одной и той же морфемы). Различие огласовок связано здесь с различием позиций, но «признать какие-либо звуки особыми фонемами мы можем лишь в том случае, если они могут быть противопоставлены остальным фонемам языка в тождественных позиционных условиях и если можно доказать, что сами рассматриваемые звуки не являются всегда результатом изменения каких-либо других звуков или звукосочетаний в определенных фонетических условиях»¹³.

Если согласиться, что звук *э* в чукотском языке в одних условиях (в перцептивно сильной позиции) является основным видом фонемы /э/, а в других условиях (в перцептивно слабой позиции) является вариацией фонемы /и/, то следует по-разному (в зависимости от условий: наличия или отсутствия просодемы открытости) трактовать различие слов, содержащих *э* или *и*, *э* или *а*. Слова *киккис* «ночевка» и *кэвкэв* «хрящ», *йитыркын* «каплет» и *тыркин* «приходит», *ирык* «нагнуться; удариться» и *эрым* «начальник», *ипэ* «поистине» и *эпэкэй* «бабушка», *тигит* «лыжи» и *тэйңыт* «пища» принадлежат к одному просодическому классу (имеют так называемую «слабую огласовку»): огласовка других морфем при соединении с этими корнями не изменяется, сами же они могут менять огласовку (ср. *тайңатыркын* «питание» при *тэйңэт* «пища», *ңэрак-мытлың-кэвкэв* «семидневка-неделя» при *киккис* «ночевка»). Здесь гласные *и* и *э* находятся

¹¹ Л. В. Щ е р б а, Русские гласные в качественном и количественном отношении, в его кн.: «Избр. работы по языкознанию и фонетике», Л., 1958, стр. 127.

¹² «Различительная способность фонем заключается в том, чтобы, различаясь, различать тем самым высшие языковые единицы (морфемы — вещественные и грамматические и тем самым лексемы)» (А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Проблема фонемы в американской лингвистике, РИФ, стр. 248). «Фонемами называются звуки, могущие служить единственным средством различения морфем в позиции maximum звуков данного языка» (П. С. К у з н е ц о в, К вопросу о фонематической системе..., РИФ, стр. 185).

¹³ П. С. К у з н е ц о в, О фонологической системе сербохорватского языка, РИФ, стр. 350.

в одинаковой позиции (без просодемы открытости), и различие *и* — *э* воплощает, таким образом, корреляцию двух разных фонем (/и/ и /э/ в сильной позиции). Слова *тиуркын* «трясет» и *тэуркын* «гребет», *илир* «остров» (или: *илкэ* «закмурились») и *элгар* «песец», *мимыл* «вода» и *мэмыл* «нерпа» принадлежат к разным просодическим классам (типа *мимыл* к «слабому», ср. *экэ-мимыл* «злая вода, водка», *мэмлэпы* «из воды»; типа *мэмыл* — к «сильному», ср. *ақа-мэмыл* «плохая нерпа», *мэмлапы* «от нерпы»). В этих случаях гласная *и* находится в перцептивно сильной позиции (без просодемы открытости), а гласная *э* — в перцептивно слабой позиции (при просодеме открытости), здесь различие *и* — *э* воплощает не фонемное противопоставление, а просодическую корреляцию.

Точно так же следует объяснять и различия *э* — *а*. Слова *мэмыл* и *манаң* «врассыпную; редко», *кэргыкэр* «свет» (или: *кэркэр* «женская одежда») и *каргыкар* «дырочка», *мэрэмэр* «слеза» и *марав* «война» принадлежат к одному («сильному») просодическому классу, и различие гласных *э* и *а* воплощает корреляцию фонем /и/ и /э/ в перцептивно слабой позиции (где при просодеме открытости /и/ представлена вариацией *э*, а фонема /э/ — вариацией *а*). Слова же *кэвкэв* и *кавкав* «хлеб; галета», *экэжэй* и *апаа'кэ* «но-ворожденный олененок», *эрым* и *а'рэк* «задерживать, снимать», *мэнэмэн* «нажива (для уды)» и *манаң* принадлежат к разным просодическим классам (ср. *ыннэн-кэвкэв* «один хрящ», но *ыннан-кавкав* «один сухарь»; в случае *цырон-кавкавит* «три хряща» произошло изменение *э* в *а*, в *цырон-кавкавит* «три сухаря» сохраняется *а* основы), поэтому здесь различие *э* и *а* воплощает не фонематическую, а просодическую корреляцию (*кэвкэв* — фонема /э/ в морфемах без просодемы открытости, *кавкав* — фонема /э/, но при просодеме открытости).

Кроме рассмотренной перцептивно слабой позиции гласных, в чукотском языке имеются еще сигнификативно слабые позиции, где происходят нейтрализации в фонемных вокалических противопоставлениях. Фонема /э/ (реализуемая в сигнификативно сильной позиции гласными *э*₁ или *а*) в абсолютном конце слова (например, в абсолютном падеже существительных) переходит в *ы*, совпадая, таким образом, с реализацией фонемы /ы/. Этот гласный в своем звучании, по-видимому, несколько отличается (краткостью, меньшей напряженностью и большей открытостью) от *ы*₁ и *ы*₂, и его можно обозначить как *ы*₃: *валы*₃ «нож» (основа *валя-*, ср. местн. пад. *валяк*), *кэлы*₃ «злой дух» (основа *кэлыэ*₂-, ср. местн. пад. *кэлыэж*). Поскольку *ы*₃ выступает в конечном открытом слоге в роли двух фонем — /э/ и /и/, этот гласный является их общим вариантом¹⁴. Признак, различающий фонемы /э/ и /ы/ в сильной позиции, но утрачивающийся в сигнификативно слабой позиции, следует считать коррелятивным¹⁵. В абсолютно сильной позиции (т. е. сильной и сигнификативно, и перцептивно) гласный *э*₁, воплощающий фонему /э/, отличается от гласного *ы*₁, воплощающего /ы/, своим рядом и подъемом; в позиции сильной сигнификативно, но слабой перцептивно, гласный *а*, воплощающий в этом случае /э/, отличается от *ы*₂, воплощающего фонему /ы/, только подъемом. Следовательно, более низкий подъем фонемы /э/ является ее дифференциальным признаком, которым она противопоставляется фонеме /ы/; отличия же в степени подъема (низкий или средний), а также в ряде (передний или средний) — ее интегральные признаки¹⁶.

¹⁴ См.: Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров, указ. соч., стр. 252—253; А. А. Реформатский, О соотношении фонетики и грамматики, стр. 378.

¹⁵ П. С. Кузнецов, О фонологической системе сербохорватского языка, стр. 189.

¹⁶ См.: А. А. Реформатский, Проблема фонемы в американской лингвистике, стр. 245.

В речи тундренных чукчей постоянно, а западных береговых — факультативно сочетания *ий*, *ийы* заменяются на *ий*, *ии*: *тийёлыгын* вместо *тийёлыгын* «жила», *тиилкытйиқ* вместо *тийылыкытйы* «я спал», *миилгыт* вместо *мыйылыгыт* «я дам тебе», *киятлыгын* вместо *кыятлыгын* «зад». В этой сигнификативно слабой позиции нейтрализация противопоставления /и/ и /ы/ связана с утратой различия по ряду; следовательно, для фонемы /и/ ряд является дифференциальным признаком, отличающим ее в сильной позиции от /ы/.

В речи всех кочевых чукчей, а факультативно — и в речи береговых чукчей, фонема /ы/ может звучать как *у* — в соседстве с *г* и *в* (которые в этом случае ослабляются, почти выпадая): *мыгтыгынму(г)ут* вместо *мыгтыгынмыгын* «не убьем тебя», *тыгынму(г)ан* вместо *тыгынмыган* «я убил его», *чувээё* вместо *чывээё* «отрезанный»; здесь, таким образом, лабиализация распространяется на *ы*, и противопоставление по лабиализации нейтрализуется.

Фонемы, противопоставляющиеся друг другу в одних случаях, а в других не отличающиеся друг от друга, объединяются в более крупные единицы — гиперфонемы¹⁷. В соответствующих слабых позициях физически один и тот же гласный может воплощать разные фонемы, входящие в одну гиперфонема. Так, в конечном открытом слоге гласный *ы*₃ воплощает фонему /ы/ и фонему /э/, эта гиперфонема условно обозначается знаком /Э/. В соседстве с *й* гласный *и* может воплощать фонему /и/ и фонему /ы/; эта гиперфонема обозначается знаком /И/. В соседстве с *в* и *г* гласный *у* может воплощать фонему /у/ и фонему /ы/, соответствующая гиперфонема обозначается знаком /У/. Гиперфонема /Э/ может в целом противопоставляться /и/ и /у/; гиперфонема /У/ — фонемам /э/ и /и/. Признак, отличающий /и/ от /Э/, реализуется как передний ряд. Признак, отличающий /у/ от /Э/, реализуется как лабиализация. Признак, отличающий /э/ от /И/, на эмпирическом уровне реализуется как более низкий подъем и расширенность.

Фонемы и гиперфонемы представлены как совокупности различных признаков (дифференциалов)¹⁸. Гиперфонема /Э/ — это совокупность дифференциалов «непередний ряд» и «отсутствие лабиализации»; гиперфонема /И/ — совокупность дифференциалов «низкий подъем (отсутствие расширенности)» и «отсутствие лабиализации»; гиперфонема /У/ — совокупность дифференциалов «низкий подъем» и «непередний ряд». Соответственно фонема /ы/, входящая во все гиперфонемы, представлена как совокупность дифференциалов «низкий подъем», «непередний ряд», «отсутствие лабиализации»; фонема /э/ — как совокупность дифференциалов «расширенность», «непередний ряд», «отсутствие лабиализации»; фонема /и/ — как совокупность дифференциалов «низкий подъем», «передний ряд», «отсутствие лабиализации»; фонема /у/ — как совокупность дифференциалов «низкий подъем», «непередний ряд», «лабиализация». Фонема /э/ в перцептивной сильной позиции (при отсутствии просодической открытости) представлена как ε_1 , обладает физическими признаками «средний подъем» и «передний ряд». Однако только признак «средний подъем» является дифференциальным, так как только подъемом отличается ε_1 от гласных *и*, *ы*₁, *у*, воплощающих в сильной позиции другие фонемы; передний же ряд для ε_1 является иррелевантным признаком. В перцептивно сильной позиции дифференциал «расширенность» проявляется как средний подъем гласной ε_1 , противопоставляясь только верхнему подъему

¹⁷ П. С. Кузнецов, К вопросу о фонематической системе..., РИФ, стр. 190.

¹⁸ См.: А. А. Реформатский, Проблема фонемы в американской лингвистике, стр. 247—248.

гласных *и*, *ы₁*, *у*, а в перцептивно слабой позиции (при просодической открытости) — в нижнем подъеме гласной *а*, противопоставляясь среднему и верхнему подъемам гласных *э₂*, *ы₂*, *о*.

Фонема /и/ имеет основной вид *и* и позиционную вариацию *э₂*, эти два гласных объединены признаком переднего ряда и различаются подъемом. Различие в подъеме является здесь иррелевантным признаком, передний же ряд — дифференциальным признаком. Фонема /у/ представлена в сильной позиции как *у*, в слабой — *о*; эти гласные различаются подъемом (иррелевантный признак) и объединены лабиализацией (дифференциальный признак).

Таким образом, весь вокализм чукотского языка, традиционно представляемый шестью гласными (*и*, *э*, *а*, *о*, *у*, *ы*), может быть описан как система, состоящая из четырех фонем (/и/, /э/, /у/, /ы/) и бинарной просодемы («закрытость» — «открытость»). В зависимости от просодической позиции эти фонемы, представленные разными гласными (звуками), образуют разные противопоставления. В физических различиях гласных воплощены либо фонематические корреляции, либо просодические противопоставления.

В. В. КОЛЕСОВ

ПРОСОДИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ ПРИЗНАКИ
В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

1. Диалектное членение на восточнославянской территории устанавливалось постепенно, определяясь основными изменениями языковой системы. Современные диалектные зоны в своем окончательном виде сформировались относительно поздно, после XIV в., и потому современный диалектный материал ограничен в своих возможностях реконструкции ранних стадий членения. В этом случае полезнее оказываются исторические источники.

Признаки диалектного членения разнообразны по степени их важности. Приступая к рассмотрению просодических диалектных различий, определим их значение для диалектологии: как различительные признаки современных диалектов они второстепенны по своему значению, поскольку позволяют выделить только очень крупные диалектные зоны; однако просодические изоглоссы обладают большой объяснительной силой, поскольку акцентные особенности связаны сразу с несколькими уровнями диалектной системы, что позволяет объективно увязать разнообразные, иногда как будто случайные, факты и объяснить причины диалектного изменения. Таким образом, акцентные расхождения — сюжет исторической, а не описательной диалектологии.

Самое раннее диалектное членение по акцентным признакам на восточнославянской территории можно обнаружить еще до фонологической утраты редуцированных, т. е. до второй половины XII в. В связи с фонологизацией новоакутовой интонации (возникла в результате оттягивания ударения с последующего слога) прежнее противопоставление (старой) восходящей и нисходящей интонаций на долготях нейтрализовалось, и поэтому в двусложных формах возникло колебание ударения между первым и вторым слогом слова; например, вместо прежних *дѹма* и *дырѹ* могли появиться новые акцентовки *дума́* и *дыра́*, на основе чего возникала акцентная дублетность. В прежней системе характер интонации определял тип акцентной парадигмы: восходящая давала неподвижное ударение на корне (тип *a*), нисходящая — подвижное ударение (тип *c*), а отсутствие тона на корневом слоге давало последовательно конечное ударение (тип *b*). Поскольку в новой системе эти типы акцентовок и интонирования совместно стали противопоставляться новой баритонезе с новоакутовой интонацией корневого слога, наметилась неопределенность в их выражении, и эта неопределенность еще до изменения редуцированных привела к обобщению какого-то одного из дублирующих друг друга типов. Исторический материал в сопоставлении с данными современных говоров показывает, что непроезводные (в большинстве своих форм — двусложные) имена в древнерусском дали первое, достаточно крупное диалектное членение: на южно-русской (resp. украинской) территории возникло колебание между накоренным и подвижным ударением, на севернорусской территории (resp. территории современных севернорусских говоров) после некоторого, не очень длительного периода соревнования между новой подвижностью и

новой окситонезой победила тенденция к подвижному ударению, на средне-русской территории (геср. территории современных южнорусских и белорусских говоров) разные типы конечного ударения вытеснили прежнюю подвижность¹. Таким образом, на основе интонационных преобразований наметилось противопоставление «окающей» зоны «акающей». Все последующие изменения акцента шли в начатом направлении и привели к современному распределению — например, на русской территории: подвижность, противопоставленная баритонезе, — на севере; окситонеза, противопоставленная баритонезе, — на юге.

Следующее, более дробное в территориальном отношении диалектное разграничение просодических признаков связывается с падением редуцированных. В это время у восточных славян утрачиваются интонационные различия, сменившись противопоставлением по количеству («долгота — краткость»). Это и привело в конечном счете к утрате *ъ*, *ь* как фонем, не входивших в фонологическое противопоставление по данному признаку; с этим же связаны и процессы межслоговой ассимиляции гласных, в конечном счете приведшие к изменениям безударных гласных. На основе количественных преобразований происходит новое диалектное членение. С одной стороны, завершается процесс формирования акцентных парадигм на новых основаниях (теперь в него включились и краткосложные корни), с другой стороны — диалектные тенденции начинают распространяться и на многосложные слова, потому что количественные отношения характеризуют не два соседних слога (подобно интонационным), а все фонетическое слово в целом.

На некоторых примерах попробуем показать характер и направление диалектного варьирования в позднем древнерусском языке — в той мере, в какой это позволяют обоюдные показания современных говоров и исторических источников.

2. Схематически соотношение различных акцентных типов полных прилагательных в их территориальном варьировании можно представить так, как это показано в табл. 1.

Производные от имен типа *a* дают новое для них конечное ударение только на севере, ср.: *дикий* Д. 646² — *дѣкие* Каз. 102 б, также *дѣкой* Пск., Зал. — *дикѣй* Новг., Печора К. 395, но и Т. *Долгѣй* В. 3136 и *дѣлгово* В. 2866 — *дѣлгой* Фл. 173; *долгѣй*, *долгѣя* в Пин., Пск. во всех пунктах Атласа, также в белорусском. *Малѣми* Пр. 1436 — *мѣлыми* 148 г, в украинском XVII в. *малѣй*, *малѣя* и др.³, совр. укр. *малѣй*, белорусск. *малѣй*. *Тихѣ* Леч. 36, *тихѣм* *лицемъ* 252 — *тѣхо* У. 133, ср. колебание в белорусских и в русских диалектах: *тѣхий* Т — *тихѣй*, *тихѣ*, *тихѣя* Пуд., Пск., Пин., Вятск. (Мат. IX). *Толстѣй* В. 294, Леч. 596, *толстѣ* Леч. 99, 145 (но в Леч. также *тѣлстую* 90) — с более обычным ударением на корне; в XVIII в. у москвича Хераскова *тѣлстый* — у Ломоносова *толстѣе*, *толстѣих*, в современных диалектах — ю.-в.-р. *тѣлстый* (орловские, смоленские, тамбовские, тульские, курские, калужские, пензенские, воронежские говоры, см. ДК, 3, 4, 10, 11) — с.-в.-р. *толстѣй* (архангельские, вологодские, вятские, костромские, печорские, мезенские, владимирские, олонечские, тобольские, частично псковские говоры, см.

¹ Подробно древнейшие диалектные расхождения рассмотрены в кн.: В. В. К о л е с о в, История русского ударения. I — Именная акцентуация в древнерусском языке, Л., 1972.

² Список использованных материалов см. в конце статьи.

³ Здесь и ниже древнеукраинский материал дается по исследованиям З. М. Веселовской (ср., например: З. М. Веселовская, Наголос у східнослов'янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй, Харків, 1970).

Таблица 1

Производные	Др.-русск.	Др.-укр.	С.-в.-р.	Ю.-в.-р.	Укр.	Белорусск.
От имен типа <i>a</i>	<i>малый</i> <i>сѣний</i> <i>толстѣй</i>	<i>малый</i>	<i>малый</i> <i>сѣний</i> <i>толстѣй</i>	<i>малый</i> <i>сѣний</i> <i>толстѣй</i>	<i>малый</i> <i>сѣний</i> <i>толстѣй</i>	<i>малы, малы</i> <i>сѣни</i> <i>толсты</i>
От имен типа <i>b</i>	<i>бѣлый</i> <i>чѣрный</i>		<i>бѣлый</i> <i>чѣрный</i>	<i>бѣлый</i> <i>чѣрный</i>	<i>бѣлый</i> <i>чѣрный</i>	<i>бѣлы</i> <i>чѣрны</i>
От имен типа <i>c</i>	<i>молдбѣй</i> <i>нагбѣй</i> <i>твѣрдбѣй</i> <i>худбѣй</i>	<i>нагбѣй</i> <i>твѣрдбѣй</i> <i>худбѣй</i>	<i>молдбѣй</i> <i>нагбѣй</i> <i>твѣрдбѣй</i> <i>худбѣй</i>	<i>молдбѣй</i> <i>нагбѣй</i> <i>твѣрдбѣй</i> <i>худбѣй</i>	<i>молодбѣй</i> <i>нагбѣй</i> <i>твѣрдбѣй</i> <i>худбѣй</i>	<i>молод. ѣй</i> <i>нагбѣй</i> <i>худбѣй</i>

Мат. и ДК), в ср.-в.-р. некоторые колебания, ср. *толстѣй* и *толстѣй* во владимирских и костромских говорах (Мат. I, II, ДК 11). Северные говоры дают еще *милбѣй*, *милбѣя*, *правбѣй*, *пешибѣй*, *старбѣй*, *чистбѣй*, а в северных рукописях находим *вода быстраѣя* Ав. 2166 — ср. *быстрое* Пал. 506, *слаббѣй* Сб.0: 241 и др.

Относительная устойчивость накоренного ударения у производных от имен типа *b* обычна только при долгом корне. Краткосложные имена дают колебание ударения на всей русской территории, диалектные записи показывают акцентировку *босбѣй*, *вдовбѣй* *голбѣй*, *добрбѣй*, *зеленбѣй*, *новбѣй* и вместе с тем *ббсѣй*, *едбѣй*, *гблѣй*, *дббрѣй*, *зелѣный*, *нбвѣй*. Однако лишь северные рукописи обычно отражают наконечное ударение такого типа, ср. *борзѣй* Нв. 405, *босѣймъ* Кор. 167, *вдовѣя* Кар. 38, *на голѣй земли* Уст. 706, *скорѣй гнѣвъ* Пч. 85, *теплѣй* Кар. 1: 332, *тощѣе сердце* Леч. 105 и др.; наконечное ударение при долгом корне регистрируется только в северных говорах, ср. *белбѣй* в вологодских и некоторых сибирских говорах (Мат. II, IX), *белѣя* Вологодск. (ДК 11, 92), в Пин.: *бѣлый*, *бѣлого*, но *белѣя*, *от белбѣй муки* (все ю.-в.-р. говоры дают накоренное ударение), *хитрѣя*, *хитрѣя* Пин. и Пск., *мертвбѣй* и *лѣтбѣй* в диалектных записях Ончукова и А.М.Селищева, наконечное ударение некоторых форм жен. рода в слове *глупѣя*, *глупѣе* (но *глупѣй*) отмечено в архаических псковских и сибирских говорах (это слово может иметь наконечное ударение и на юге, ср. Г., но там наконечное ударение характеризует все формы слова). Характерно, что наконечное ударение возможно только в тех словоформах, которые должны были его иметь в эпоху образования полных прилагательных: ср. им. падеж ед. числа муж. рода *бѣлой* из *бѣлѣжъ* с новоаккутовой интонацией корневого слога, но род. падеж ед. числа жен. рода *белбѣй* из *бѣлѣжъ* с сохранением ударения производящей основы⁴. Таким образом, с.-в.-р. говоры частично сохраняют древнее место ударения в словоформе. Поскольку обобщения ударения по морфологической парадигме, подобно южновеликорусским говорам, здесь долгое время не происходило, следует думать, что в с.-в.-р. зоне ударение было характеристикой не слова, а словоформы. Вместе с тем исходное акцентное распределение сохраняется здесь преимущественно при долгом корне. По-видимому, именно долгота корневого слога препятствовала выравниванию ударения, образуя тем самым новый тип подвижности.

По правилу исходного распределения производные от имен типа *c* должны были давать последовательное конечное ударение; оно представ-

⁴ Последовательность соответствующих изменений описана в кн.: С h r. S. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1965, стр. 103.

лено в большинстве памятников, причем последовательнее, чем в современном литературном языке. Исключения опять-таки касаются северных рукописей, см. *глоу́хья* (вин. падеж мн. числа) Кар.1: 255, *гоу́стю* Леч. 166, *дрўгий* Ст.15; *млад́ые* Кор. 128 б, в Нв.: *молб́дые* 517, *молб́дыхъ* 572, *†посласта молб́дыя* люди 491, ср. еще *млад́ыми* Леч. 117 (здесь же *молодб́го* 86, *молод́ая* 94, *молод́ую* 92б), при последовательно окончательном ударении этого слова в ю.-в.-р. памятниках (Пал., Гз., Ст., Дс., Пв. и др.), то же соотношение в современных говорах — ю.-в.-р. и литературное ударение *молодб́й* (Т., Мат., ДК, Атл.), а на севере — рефлекс новоакутовой интонации корня *молб́ды* в онежских, пинежских, пермских, новгородских и других говорах (Мат., Пск., Пин. и др.); *на́гова* В. 162 (но *наб́й* В. 208) и *нагов́й* Ав. 207, в ю.-в.-р. только *наб́во* (Пал.10); *н́мый* Уст. 198 и *н́мой* В. 836 и последовательно окончательное ударение в ю.-в.-р. (колебание *н́мой* в украинском XVII в.); *прб́стый* Кч. 4276, *к прб́сты чади* М. 309 (но здесь же: *в прб́сты* 283, *прб́сты* 314), *в прб́стыя дни* Кч. 436б и др., но в Дс.: *прб́стой* 76, *прб́сто* 180б, *прб́сте* 178б и т. д., что соответствует современному ю.-в.-р. ударению (ДК 3, 10, 11) — но *прб́стый* Пин., а так же Т. и некоторые подмосковные говоры; *слб́нымъ* Ст. 20, но *слб́ныя* Ст. 32 при накоренном ударении в Пр.: *слб́ныхъ* 146, *слб́нымъ* 138 и под. Отличие между современным с.-в.-р. и ю.-в.-р. говорами заключается в характере колебания: на юге колебание возможно между отдельными словами, на основе чего образуется чисто семантическое их различие [например: *рб́дный* (по крови) — *родн́ый* (по родству)]⁵; на севере сохраняется различие ударения в словоформах одного слова, например, в Пин., *густб́й* — *густ́ая*, *дрўгой* — *дрўб́го*, *лихб́й* — *заревела ли́хим матом*; в Бел.: *молодб́й* 12, 68 — *молодб́ому* 10, *с молодб́ым* 522 и проч., тут же род. падеж ед. числа *на́гой*, но в муж. роде *наб́го* (165, 304). Накоренное ударение обычно в формах им. и вин. падежей ед. числа муж. рода, в вин. падеже ед. числа жен. рода, в им. и вин. падежах ед. числа ср. рода и в им. и вин. падежах мн. числа всех родов — т. е. там, где и ожидалось бы исконное ударение на корне (кроме формы им. падежа ед. числа муж. рода, на которую могли воздействовать формы вин. падежа ед. числа). И в данном случае с.-в.-р. говоры не провели выравнивания ударения в пределах парадигмы; большое число отклонений связано с тем, что производные от имен типа *с* только в очень редких формах получали новоакутовую интонацию корневого слога.

Рассмотрение суффиксальных имен прилагательных ограничим образованиями на *-ын-* и *-ов-*, потому что производные с долготными суффиксами исторически очень устойчивы в своей акцентуации и диалектных расхождений не дают.

Производные от имен типа *а* фактически не дают никаких отклонений от ожидаемого ударения на корень, ср. *ды́мный*, *сы́льный*, *ры́бный*, *бере́зовый*, *горб́ховый*, *ли́повый* и т. д. Только современные с.-в.-р. говоры отражают некоторое стремление к окситонезе, но оно выражено не вполне определенно, ср. *в ды́мных избу́шках* Пин., *сы́льной* Пск., Вологодск. (Мат. III, V, ДК 11), *чудн́ые* Перм. 255.

Производные от имен типа *б* должны иметь исконное ударение на корне, но в рукописях мы обнаруживаем множество отклонений: *бедн́ымъ* М. 217 — *бѣдн́ымъ* Др. 5076, *к дверемъ гробн́ымъ* Д. 29, *над гробн́ыми* Д. 286, М. 284б, *о гробн́ыхъ* М. 78 — *грб́нный тать* Св. 171б, *грб́ныхъ* Гз. 179, также *грб́ная* М. 284б, *громн́бо* (огня) Нв. 594 — *стр́лы грб́ной* Св. 2006, *грб́ныхъ* Кор. 626. — *грб́ныхъ* Пв. 256, 1016, *дворн́ый*

⁵ Характер такого типа словарных расхождений в ю.-в.-р. говорах описан в статье: А. А. Да н и л о в, О смысловозначительной и форморазличительной роли ударения в русских говорах, «Уч. зап. Череповецк. гос. пед. ин-та», III, 1962, 2.

Нв. 628 — *двѣрныя люди* Сим. 240, *на денную стражу* М. 1216 — *деннаго края* П. 1916, *без конныхъ людей* Кор. 66 — *конныхъ* Курб. 186, Пал. 107, *красная пустыня* (вин. падеж мн. числа) Псл. 836 — *красныя* Об. 354, Св. 264, *леднаго* Нв. 5836 — *ледный град* Каз. 236, *личной нечистоты* Зап. 189, *личную нечистоту* Леч. 78, 139, *о чистотѣ личной* Леч. 28, *личноѣ* Леч. 626 — *красота личная* Пч. 123, *личною* Фл. 246, *на мѣсто лобнѣмъ* Сб. 0:111 — *лобное* Пал. 260, *мечную кончину* М. 289, *мечное* М. 40, 311, *мечному* М. 122 — *мѣчное* Фл. 986, *мѣчную* Фл. 143, *мѣчнымъ* Пал. 158, *речной* Леч. 1006, *рѣчная* Леч. 99, *рыбы рѣчной* Леч. 101, *рѣчные* Леч. 1546, *речную* Леч. 616, *водою речною* Леч. 168 — *рѣчная* Др. 258, *рѣчныхъ* Зап. 1356, *рѣчную* Пс. 158, *сонная* Сб. 0: 202, *жены сонной* Леч. 13 (также ю.-в.-р. Пал.: *сонную* 155, *сонная* 128) — *сонное* Лапт. 8426, *соннымъ* Пч. 1096 (наконечное ударение и в современных с.-в.-р. говорах: *сонной* Пин., в записях Бел.: *сонной* 131, *сонно* 22, в *сонномъ* 502, *сонная* 540 и под.), *цвѣтъ травный* Пч. 119, Сб. 0: 2856, *травного* Леч. 736, *травный* Леч. 636 — *травный* Пв. 1226, *трубно* Сб. 0: 1146 — *трубный* Каз. 63, Фл. 215 и др. Здесь указаны только исключения из ожидаемого распределения — на общем фоне правильного ударения. Однако важно, что наконечное ударение регистрируется только с.-в.-р. рукописями, показания которых совпадают в этом с современными с.-в.-р. говорами.

Равным образом, исконное наконечное ударение у производных от имен типа с лучше сохраняется в памятниках северного происхождения, тогда как южнорусские источники дают уже новое ударение на корне (ниже приведены все случаи отклонения от старого распределения, и все они связаны с ю.-в.-р. источниками). *Волостные люди* Нв. 598 — *властное* Об. 428, *воротной крестъ* В. 168 — *воротная* Х. 764, *гнусную пропасть* Сб. 0:17 — *гнусного* Курб. 161, *грозной* Зап. 26, *грозная* Нв. 615, *грозную* Нв. 578 — *грозный* Пв. 1336, *грозного* Сб. 23:366, *грознымъ* Курб. 105, *земному* Сб. 0:141, *земныхъ* Уст. 646 — *земному* Сг. 148, *земныхъ* Каз. 161, *зубной* Леч. 151, *зубную* Леч. 141 — *зубный* Св. 217, *лесные* Леч. 846 — *лѣсные* Ас. 91, *мрачный* Ст. 47 — *во мрачней пещере* Пв. 15, *мутною водою* Леч. 1016 — *мутнаго моря* Хр. 3136, *ручными* Сб. 0: 2036, *ручной* Леч. 1446 — *ручнымъ* Св. 348, *ручными* Пс. 106, *ручные* Ул. 2216, *странной* Зап. 346, *странная* Зап. 736, *от странныхъ* Сб. 0: 376 — *сторонние* У. 756, *странныхъ* Дом. 110, *странными* Сб. 23: 326, *страшной* В. 192, *страшный* Нв. 5826, *страшного* Зап. 44, *на страшномъ* Зап. 61, *страшная* Нв. 581, *страшную* Нв. 578, *страшноѣ* Нв. 584, *страшнымъ* Нв. 5796 — *страшный* Об. 325, Гз. 226, *страшнаго* Об. 274, *в страшный день* Гз. 1096, 1156, *страшное* Св. 252, *страшнаго* Св. 2396, *страшныхъ* Об. 3016 и др., современные с.-в.-р. *страшной* Пин., колебание между *страшный* и *страшной* в древнеукраинском и в современных украинских говорах.

Аналогичное положение у производных на -ов-. Имена прилагательные, восходящие к окситонированным производящим основам, различаются в с.-в.-р. и ю.-в.-р. зонах, ср.: с *мукою бобовою* Леч. 776 при обычном в этом памятнике ударении *бобовой* и др., *волвий рогъ* М. 3126 — *волвыхъ*⁴. 45^б, Курб. 1176 и др. (но *волвыя писцы*. Ул. 2586), *дворовой члвкъ* В. 3386 (в другом почерке *дворовой человекъ* В. 3596), *дворовыхъ* Дс. 80 — *дворовой* Дом. 926, В. 303, Дс. 57; *ключевѣ* Зап. 111, 225, *ключевѣго* Зап. 156, *ключевыѣ* Зап. 225, *ключевѣ* Зап. 225, также *ключевѣ* И. 586 ювр. рукописи, в которой обычно исконное ударение *ключевѣ* И. 4, *ключевѣго* И. 12, *ключевыѣ* И. 4 и мн. др.); *мочевая вода* Леч. 173 — *мочевую воду* Леч. 102, *воды мочевыѣ* Леч. 876; *прудовая* Пал. 1196, *прудовую* Пал. 1016, *прудовѣ* Ул. 2246, *прудовымъ* Пал. 836 — *прудовой* (рыбы) Леч. 101 и *прудовая рыба* Леч. 99; *прудовая рыба* Дом. 74, 836 — *прудовая рыба* Дс. 6, 586, *сѣмоваго*

тѣла Леч. 100 — *сомбвая печень* Леч. 98; *о столовѣм обиходѣ* Дс. 566 — *о столбовомъ обиходѣ* Дом. 46; *холщевые* Зап. 66 — *холщевые* Дс. 151. В этом случае с.-в.-р. рукописи выделяются более последовательным сохранением исконного ударения на суффиксе (подтверждается и современным диалектным ударением типа *бо́евый, верхб́ый, громб́ый, крестб́ый*), а также смещением ударения на корневой краткий слог или столь же факкультативным смещением ударения на окончание в случае, если корневой слог долг; таким образом возникает отношение *двѣровый — прудовый* при возможном сохранении старого ударения *дворѣвый и прудѣвый*. Характер колебаний, отмеченных в ю.-в.-р. памятниках, несколько отличается от этого распределения, ср. колебания между Дом. и Дс. в одном и том же тексте Домостроя (обе рукописи отражают аканье): здесь никогда не возникает накоренное ударение.

У производных от имен типа *с* обычным и широко распространенным является закономерное ударение на окончании (*береговѣй, боковѣй, вѣковѣй, вѣсовѣй* и т. д.), исключениями являются акцентовки на суффиксальном гласном, ср. *в меду варбовомъ* Зап. 164, *(о) домбвых* (зверях) Леч. 86 — такое ударение в отличие от закономерного *домовых* встречается еще и в XVIII в., например, у В. Третьяковского, в современном литературном разграничиваются *домбѣый* (от *дом*) и *домовѣй* (мифическое существо), в диалектах — разграничение по акцентному признаку, ср. ю.-в.-р. *домовѣй* Т. — с.-в.-р. *домѣвой, домѣвая* Белоз. 17; колебания, характерные в XVII в. для с.-в.-р. говоров, свойственны в то же время и украинскому языку. Постепенное семантическое расхождение можно проследить и на других словах данного типа, ср. по данным Леч.: с относительным значением *дуббвая* 132, *о омель дубѣвой* 28, 132, *дубѣвое* 132, *дубѣвые* 132, с притяжательным значением *дубѣвымъ листомъ* 1726, *корень дубѣый* 132, *листвие дубѣе* 132, *из листьв дубѣаго* 139; новое ударение на суффиксе регистрируется и в диалектах (Т., Мат. VI и т. д.), обычно наряду со старым, ср. *садѣвое яблоко* Нв. 6056, *садѣвые* Леч. 80, *садѣвытъ* Леч. 80, что совпадает с современным с.-в.-р. *садѣвой* Перм. 274, *садѣвых* Перм. 305, тогда как в ю.-в.-р. наблюдается колебание между *садѣый* и *садѣой* Т.

По существу, производные с *-ын-* и производные с *-ов-* последовательно уже довольно рано различались по результатам акцентного выравнивания: совпадения по говорам касаются только таких форм, которые когда-то включали в себя одни редуцированные, например, *дъньнѣи*; отсюда следует, что все остальные расхождения между говорами можно датировать временем п о с л е п а д е н и я р е д у ц и р о в а н н ы х. У производных с *-ын-* акцентное выравнивание типов *а* и *б* по типу производных от *с* в средневековых русских диалектах было не общерусской, а севернорусской тенденцией. Напротив, в южнорусских говорах производные обобщали накоренное ударение, совпав в этом с производными от имен типа *б*, ср. древнерусское и современное с.-в.-р. *голоднѣй* и новое ударение ю.-в.-р. и литературное *голднѣый*. Причина такого выравнивания на юге — в фонологизации новоакутовой интонации, которая стала основанием морфологических и морфонологических выравниваний. На севере же рефлексy этой интонации имели чисто фонологические последствия, например, дали фонему *б*; морфонологическим средством на севере стала другая просодическая единица — количество.

Схематически противопоставление производных прилагательных в их территориальном варьировании можно представить так, как это показано на табл. 2.

Таким образом, общерусская тенденция заключается в акцентном противопоставлении производных и непроизводных имен друг другу — при общей неподвижности их ударения: все представленные типы унифи-

Таблица 2

Производные	С.-в.-р.	Ю.-в.-р.	
с -ьн- {	от имен типа <i>a</i>	<i>сильный</i> (<i>си́льный</i>)	<i>сильный</i>
	от имен типа <i>b</i>	<i>бѣднѣй</i>	<i>бѣднѣй</i>
	от имен типа <i>c</i>	<i>двѣрнѣй</i> <i>гну́снѣй</i> <i>мѣстнѣй</i>	<i>двѣрнѣй</i> <i>гну́снѣй</i> <i>мѣстнѣй</i>
	развивается акцентный тип В	развивается акцентный тип А	
с -ов- {	от имен типа <i>a</i>	<i>рѣковѣй</i>	<i>рѣковѣй</i>
	от имен типа <i>b</i>	<i>прудо́вѣй</i>	<i>прудо́вѣй</i>
	от имен типа <i>c</i>	<i>двѣрбо́вѣй</i> <i>дубо́вѣй</i> <i>домо́вѣй</i>	<i>двѣрбо́вѣй</i> <i>дубо́вѣй</i> <i>домо́вѣй</i>
	развивается акцентный тип Е	развивается акцентный тип В	

кации предлагают неподвижность, независимо от того, есть ли это постоянное ударение на корне (тип А), на суффиксе (тип Е) или на окончании (тип В). Однако реализуется эта тенденция различным образом. На севере побеждает старый тип производных от подвижных имен с окончанием ударением для образований с -н-, противопоставляясь баритонезе образований с -ов- (тип Е и отчасти А). На юге, напротив, образования с -н- дают устойчивый тип А, образования с -ов- — тип, связанный со старыми подвижными производящими основами.

Описанное здесь разграничение связано, в частности, с тем, что прилагательные с суффиксом -ьн- в обеих системах воспринимаются как акцентологически непродвижные имена, противопоставляясь образованиям с -ов- как определенно производным. По этой причине имена с -н- дают однообразный акцентный тип (либо А, либо В) независимо от происхождения, тогда как имена с -ов- сохраняют некоторое расхождение в акцентовке (например, на севере: *рѣковѣй* — *двѣрбо́вѣй* — *домо́вѣй*). Производные с долготными суффиксами, которые здесь не рассматриваются, сохраняют исконные акцентные отношения, поскольку их акцентовка не связана с результатами фонетических следствий падения редуцированных. В таком случае последовательное выравнивание акцента у производных с -ьн- следует связывать со столь давним изменением, как падение редуцированных, а расхождения в типе образований с -ов- с более поздними и до конца не завершёнными изменениями, имеющими другую причину. Если на юге наблюдается простое отталкивание от типа на -ьн- (*дворовѣй* — *двѣрнѣй*), то на севере характер колебаний определяется гласным предударного слога: исконная долгота этого слога препятствует оттяжке на него ударения (тип *прудо́вѣй*), исконная его краткость такой оттяжке способствует (все последующие типы таблицы 2, начиная с *двѣрбо́вѣй*); это реализация старой фонетической тенденции перенесения ударения к началу слова — в тех случаях, где это было возможно. Таким образом, на севере количественные противопоставления были тем условием, которое ограничивало действие морфонологических выравниваний.

3. Некоторую аналогию этому находим у суффиксальных существительных; типы преобразований этих имен схематически можно представить так, как это показано на табл. 3 (тип С — подвижное ударение).

Приводимые ниже примеры относятся только к указанным типам, поскольку лишь они дают диалектное варьирование на русской терри-

Таблица 3

С суффиксом	Производные		
	от имен типа <i>a</i>	от имен типа <i>b</i>	от имен типа <i>c</i>
1. <i>bc</i>	A (> B)	A (с кратким) > B C (с.-в.-р.)	B
2. <i>bstv</i>	A (> с.-в.-р. B, C)	A > B (с.-в.-р. C)	B
3. <i>bn</i>	A (> с.-в.-р. C)	A (> B с долгим)	B или C
4. <i>zk</i>	A (> с.-в.-р. C)	A (с кратким) > B C (с долгим)	B или C
5. <i>ost</i>	A (> C?)	A (C с кратким?)	A или C (с.-в.-р.)
6. <i>ež</i>	A	?	B (> E)
7. <i>in(a)</i>	A (> B с.-в.-р. > C ю.-в.-р.)	E	B (> E) (> с.-в.-р. A)
8. <i>nik</i>	A (> с.-в.-р. B)	A (> с.-в.-р. B)	B (> церк.-слав. A)
9. <i>in(a)</i>	A (> с.-в.-р. B)	E (> A с долгим)	E (> A и B)
10. <i>ic(a)</i>	A (> E)	E	E

тории; вместе с тем они разграничены по характеру суффиксального гласного: редуцированный, краткий, долгий с нисходящей и долгий с восходящей интонацией (помета в скобках в таблице указывает на долготу или краткость корневого слога).

1. Производные от имен типа *b* при общем колебании дают и некоторые диалектные расхождения. При кратком корне последовательное стремление к окситонезе на юге (например, для слова *конецъ* в Курб., Сб. 23, Об., Св.) с образованием новой подвижности на севере, ср.: в Кел. *конѣць* 63, *до конѣцъ* 27, вин. падеж. мн. числа *по конѣцъ* 656, *до конѣца* 586, *на конѣць* 656, 786, также и в других рукописях, ср. *до конѣцъ* Уст. 1246, *до конѣца* Пч. 626, 180 (*до конѣцъ* 51), в диалект. *конѣцем* Заон. К. 40; при долготном корне на севере возможна окситонеза (*белѣць* М. 8, 1906, *к белѣцъ* М. 8 и др.), на юге — ударение на корне (*бѣлецъ* Воскр. 476, в *бѣлцахъ* Гз. 147 и др.). Положение с долготными корнями вообще сомнительно (мало данных по одному памятнику), но новая подвижность при кратком корне на севере распространяется также на производные от имен типа *c*. Так, слово *сердце* в Псл. дает следующее ударение: *сѣрдце* 38, 115, *на сѣрдце* 142, *сѣрдцемъ* 97, 103, *в сѣрдцихъ* 56, *но от сѣрдцъ* 37, *сѣрдцъ моего* 50 97, *въ сѣрдцъ своемъ* 13, 15, им. падеж. мн. числа *сѣрдцъ* 117, *сѣрдѣць* 113, *в сѣрдцѣхъ своихъ* 99. Здесь, как и в слове *солнце* (с возможным ударением *на слѣнце* Леч. 146), развитие подвижности может быть связано с утратой словообразовательных связей с производящим.

2. Производные от имен типа *a* сохраняют накоренное ударение на юге (*дѣбство* Дом. 24, Дс. 696 и косвенные формы), указывая колебание между окситонезой (*дѣбствѣд* Зап. 916, *дѣбствѣд* Сб. О: 107; впрочем, и в Дом. 276 то же ударение) и подвижностью (*дѣбство* М. 264, *въ дѣбствѣд* М. 221) на севере. Вторичная подвижность и в укр. XVII в. (*дѣбствѣд* — *въ дѣбствѣд*). Общая ориентация на подвижность ударения в данных образованиях, характерная для северной зоны, сказывается и на производных от *b* и *c*. В первом случае на севере сохраняется ударение на суффиксе (*торжѣстѣу* Пр. 75, *храбрѣство* Пч. 54, *равѣнство* Зап. 157, Ст. 266, *множѣство* Соф. 4426 при *тбржестѣу* Ч. 1486, *храборство* Фл. 265, *равенство* Гз. 174 в московских текстах), но при утрате редуцированного ударение перемещается к началу слова или развивает подвижность, ср. *свѣйство* Зап. 1586, Лет. 39, *свѣйством* Зап. 75 и под., хотя уже с XIV в.

находим свойств Ч. 142^в. Сюда же, по-видимому, относится и акцентовка *естеством* Сб. О: 326, совпадающая с ударением в украинских и белорусских памятниках XVII в. и отличная от одновременных им русских *естество* Сб. 23: 646, 91, *естеству* Сб. 23: 646, Фл. 1176, *от естества* Фл. 269б; ср. подвижность в с.-в.-р.: *естеству* — *естествъ* Азб. 19. Производные от имен типа *с* сохраняют окончное ударение при кратком корневом гласном по всей русской территории (*ремествд, родствд, рожествд* и под.), окончное же ударение при долгом корневом регистрируется только в с.-в.-р. источниках, ср. *бъгствд'* Псл. 194б, род. падеж ед. числа *звѣрствд* Пч. 116б, *княжествд* Ст. 16, *мужествд* Сб. О: 39б (такое ударение сохраняется в современных северных говорах), *мужествд* Сб. О: 43б, *мужеству* Зап. 140б, *мужествмъ* Псл. 8б, *чюствд* Зап. 167, *от богатствд* Пч. 55б, 58б и др.

3. Возможна подвижность в с.-в.-р. у производных от имен типа *а*, ср. *силнѣ* (жен. род) Соф. 279, Зап. 5б, 173б, 193, Нв. 135, *не толь силнѣ* Леч. (*не силно* Леч. 145б), вин. падеж ед. числа *силну* Нв. 491. Производные от имен типа *б* дают такую же подвижность, но только при кратком корне, ср. с.-в.-р. жен. род *болнѣ* М. 323, Леч. 80 (в ю.-в.-р. *бѣлна* Пв. 127, Сб. 23 : 159б и др., что соответствует фонетическому преобразованию этой парадигмы), *темнѣ* Зап. 50б, и др. При долгом корне наблюдается колебание между типами А и В (*крѣсен* и *крѣсѣн* по всей парадигме: общее для всех двусложных положение, связанное с переходом таких образований в класс непроизводных). Производные от имен типа *с* не дают вариаций по диалектным зонам.

4. Подвижность в образованиях от имен типа *а* также наблюдается только на севере: *гладокъ* Сб. О: 133б, *горѣ гладкѣ* П. 12б, *глаткѣ* Л. 257б, Леч. 178, мн. *гладки* Леч. 178б, *на гладке* Ск. 3: 1б. Производные от *б* при долгом корне дают колебание между А и В в с.-в.-р., ср. *бѣлбкъ* Леч. 94, *з. бѣлбкмъ* Леч. 71, 95б, в *бѣлку личномъ* П. 195б и *бѣлокъ* Сийск. 190; *желтбкъ* Леч. 94б, *ж желтбкмъ* Леч. 127б, *желткбвъ* Леч. 76б, но в Сийск.: *жѣлтокъ* 19, *от жѣлтка* 19, *з жѣлткомъ* 19; ср. интересное колебание в Др.: им. падеж ед. числа *торжѣкъ* 318, но вин. падеж. ед. числа в *тбржѣкъ* 668, что указывало бы на подвижность, если бы мы имели больше примеров такого соответствия (кроме того, диалектная принадлежность писцов Др. неопределенна). По краткосложным у нас мало примеров, такие соотношения, как род. падеж ед. числа *коткѣ* Сб. О: 152б, мн. числа *коткѣ* Ав. 323, но на юге (*подобен*) *кѣткамъ* Св. 235б следует подтвердить большим числом соответствий, чем это есть в нашем распоряжении. Производные от имен типа *с* в целом сохраняют свой тип В, но в с.-в.-р. источниках наблюдается стремление к подвижности с выделением вин. и дат. падежей ед. числа, ср. им. падеж ед. числа *порошѣкъ* Л. 71, 293, *порошкѣ* Л. 71, но *къ порошку* Л. 301б, также *гороббкъ* Д. 115б, в *городкѣ* Д. 98, но в *горбдокъ* Д. 97б, в Соф. соотношение между им. падежом ед. числа *борбкъ* и вин. падежом ед. числа *бброкъ* (л. 438б).

5. Примеры данной группы малопоказательны, поскольку производные от имен типа *а* и *б* довольно устойчивы в своих акцентных характеристиках, а подвижность производных от имен типа *с* иногда признается исконной⁶. Тем не менее именно в этом последнем случае оттяжку ударения на предлог демонстрируют только с.-в.-р. рукописи (также Др.) при долгом корне, ср. *на блѣдѣсть* Др. 510, *от гордѣсти* Сб. О: 273б (*в гордѣстѣ* Зап. 114б), *за дерзѣсть* Зап. 21б, *за скудѣсть* Др. 692б, *за худѣсть* Кч. 373б.

⁶ См.: В. А. Дыбо, Акцентология и словообразование в славянском, «Славянское языкознание», М., 1968, стр. 161.

6. Примеры данной группы очень устойчивы в своей акцентовке и типичны для образований с кратким гласным в суффиксе; таковы же производные на *-от(а)*, *-ов-*, *-ож-*. Они не дают никаких диалектных различий ни в старых текстах, ни в современных говорах. Тип А здесь очень устойчив, ударение типа *грабежь*, *падежь*, *платежь*, *правежь* встречается до самого конца XVII в., и только потом в московских текстах появляются *падежь скоту* Дс. 24б, *платежь* Дс. 70, 10б (в том же тексте XVI в. в рукописи Дом. еще старое ударение этих слов), также в комментариях к Уложению по списку 1728 г. (Ул.), ср. *платежь* 159б, *платежь* 15б, *платежахъ* 123, *на правеже* 202, *грабежь* 238б (в оригинале основного текста, в старопечатной книге Уложения 1649 г. встречаем исконное ударение этих слов на корне). В целом следует сказать, что образования с кратким суффиксальным гласным стали изменять свои акцентные типы довольно поздно.

7. Производные от имен типа *а* сохраняют исконное ударение на корне, особенно последовательно в с.-в.-р. зоне, ср. в Зап. *быстрина* 135б, *по быстринамъ* 114б, *в рѣчныхъ быстринахъ* 135б, а также современные с.-в.-р. говоры с характерными для них акцентовками *тишина*, *быстрина*, *старина*. Однако на севере же в качестве вариантного развивается и последовательно окончное ударение таких слов (ср. у Ломоносова *быстрина*, *быстрину*, *быстриню*, вин. падеж. мн. числа *быстринь*), например, *тишина* Соф. 229б (и *тишина* 95б), *тишину* Уст. 31б, *въ тишинѣ* Кар. 42. На юге, как можно судить по некоторым данным, оформлялась подвижность (ср. в Шум. *старина наша до сихъ мѣсть* 556б, *но из старинъ* 542, *по старинѣ* 679 и т. д.), которая не стала основным типом акцентовки этого типа впоследствии. Производные от имен типа *с* дают более существенные расхождения. Наряду с сохранением исконного окончного ударения на юге, на севере при долготном корне возможно двоякое изменение: баритонеза (тип А) или подвижность, ср. *глубина* Сб. 0: 207, Псл. 90, *из глубины* Псл. 182б, М. 13б, *глубину* Сб. 0: 238, *въ глубинѣ* Псл. 152, вин. падеж. мн. числа *въ глубины* Псл. 89, *въ глубинахъ* Псл. 87б; в тех с.-в.-р. памятниках, которые не отражают *ѡ*, представлена подвижность, ср. *къ глубинѣ* Пч. 78б, *на глубинѣ* Пч. 27, Соф. 150б — *от глубина богатства* Пч. 131б, *из глубины сердца* Соф. 424б; закономерная окситонеза этого слова, хорошо представленная еще Ч., характерна для ю.-в.-р. текстов.

8. Производные от имен типа *а* обычно хорошо сохраняют исконное ударение на корне, и только в с.-в.-р. источниках спорадически появляется окончное ударение (типа им. мн. *медникъ* Нв. 392, *возмѣ липнику* П. 197б), которое согласуется с данными современных северных говоров (см. *бабникъ*, *житникъ*, *праздникъ* и под. в Пин.). Окончное ударение на севере становится характерным и для производных от *в* (*грешникъ*, *крупникъ*, *свинникъ* и др. в говорах Архангельской обл., например, Пин.), ср.: *грѣшникъ* Ав. 266б, *кормникъ* Кор. 224б, *ротникъ* Кр. 152, *вратнику* М. 80 и ю.-в.-р. *кѡрмникъ* Св. 122б, *рѡтникъ* Св. 108, *вратники* Каз. 137 и под. Таким образом, производные этого типа выравнивают акцентовку по типу производных от имен типа *с*.

9. Образования с акутовым суффиксом *-ин(а)* дают диалектные расхождения только применительно к производным от *а*, причем очень неустойчиво: подвижность можно предполагать в парадигме, представленной рукописью М., ср. *хизину* 219б и *в хизину* 24б, *нѣ в коей хизинѣ* 328 и *в хизинѣ* 247 — сохранение исконного ударения в сочетании с еровым предлогом. Остальные рукописи указывают исконное место ударения — на корне. Все прочие колебания, как можно проследить по рукописям, не дают диалектных вариаций, но налицо общерусская тенденция к ста-

билизации ударения на корне для всех типов (т. е. для образований от *a*, *b*, *c*), следовательно, парадигма А.

10. Производные с другим акутовым суффиксом, представленным в таблице, отражают противоположную тенденцию общерусского обобщения иктуса; единственно возможным ударением становится ударение на суффиксе (тип Е), ср. в памятниках XVI—XVII вв. *дѣвѣица*, *кислиця*, *маслиця*, *сырица* и др. наряду со старым и исконным для образований от имен типа *a* *дѣвѣица*, *кислиця* и под. Аналогично обстоит дело с другими производными на акутовый суффикс — например, имена на *-ищ(е)* также обобщают ударение на суффиксе. Иной тип обобщения акцентовки у производных на *-ѣн(а)* скорее всего связан с влиянием производных на *-ѣн(а)* (с циркумфлексным суффиксальным слогом). По этой причине довольно рано началось обобщение накоренного ударения в словах типа *родѣна* В. 307 при исконном *родѣна* (см. *родѣны* «день рождения» Дс. 144) или *хорбмина* при *храмѣна* или *храминѣ*⁷. Индукция со стороны типа 7 выделила образования типа *родѣна* из числа старых акутовых.

Даже те примеры, которые здесь приведены в качестве иллюстраций, показывают, что все существенные расхождения между диалектами связаны только с производными на еровый суффикс. При этом на севере производные от имен типа *a* дают безразличное колебание между типами А и В, а подвижность образуется в зависимости от характера исконной парадигмы и корневого слога: у производных от имен типа *b* подвижность (тип С) образуется при кратком, у производных от имен типа *c* — преимущественно при долгом корневом слоге. Таким образом, при общей тенденции к подвижности северные говоры отражают зависимость от количества корневого слога, в конечном счете сводящуюся к уже отмеченной тенденции: долгота корневого слога препятствует возникновению накоренного ударения при формировании новой подвижности.

Все вместе указывает на то, что расхождения между диалектными зонами сложились в эпоху падения редуцированных или сразу после нее, расколов восточнославянскую территорию на две части (отмечается первоначальное совпадение севернорусской и теперешней украинской зон в их отличии от центральной зоны). Принцип разграничения устанавливается по характеристике корневого слога: для маргинальных зон существенны количественные различия, центральная зона столь продолжительного разграничения по долготе — краткости не знает. Образования с циркумфлексными суффиксами дают диалектные расхождения, тогда как производные с акутовыми или краткостными суффиксами таких расхождений не знают. Однако интонационные характеристики в данном случае не существенны, потому что расхождения связаны с отталкиванием от других суффиксальных типов (например, окситонеза образований на *-ѣн(а)* или *-нѣк* на севере может объясняться отталкиванием от сходных и генетически родственных акутовых *-ѣн(а)* и *-нѣц(а)*, которые дают баритонезу). Все такого рода выравнивания вторичны и по существу очень поздны, они отражают общерусскую тенденцию к стабилизации ударения в пределах парадигмы и разрушению прежних различий в зависимости от акцентной характеристики производящего слова.

4. Что касается глагольных форм, то исходное акцентное распределение здесь сохраняется наиболее устойчиво. На материале текстов XVI—XVII вв. можно обнаружить некоторый сдвиг в ю.-в.-р. источниках. Рассмотрим его на примере форм настоящего времени.

⁷ См.: В. В. Колесов, Ударение производных имен существительных в праславянском языке, «Советское славяноведение», 1969, 2, стр. 51.

У глаголов прежней парадигмы *b* новое для них окончание ударение отмечаем в следующих словах и памятниках: *наводѣтъ* Леч. 636 (*отѣбдитъ* 396), *отводѣтъ* Сб. 23: 1706, *прогонѣтъ* Нв. 440, *водворѣтъся* Пт. 140, *водворѣтъся* Об. 160, *любѣши* Зап. 95, *любѣмъ* Хр. 749, *разгонѣтъ ихъ* Хр. 673, *преможѣши* Пс. 338, *возможѣши* Об. 3576 (*мѣжеша* 340, 357), *могѣтъ* Уст. 24, *молиши* Зап. 130, *молишися* Хр. 661, *носиши* Сб. 23: 546, *поносиши* Гз. 43, *понишѣтъ* Пс. 443, *приносишѣтъ* Пс. 427, *просѣши* Сб. 23: 166, *вопрѣши* Гз. 416, *испросѣши* М. 289, *просѣтъ* Хр. 4026, Дом. 586, *просѣмъ* Нв. 448, *осудѣши* Хр. 997, Пв. 72, *судѣши* Пч. 1316, *судѣши* Пв. 16, *осудѣтъ* Пс. 441, *судѣшѣтъ* Пч. 1556, *почто ходѣши* Хр. 719, Пч. 1436, *ходѣтъ* Кар. 188; *ходѣтъ* в Книге о ратном строении 1647 г. Хр. Станг признает за экспрессивное⁸, однако вряд ли то же самое можно сказать о всей коллекции примеров.

У глаголов парадигмы с новым окончанием ударение отмечено: *дондеже свѣратся мяса* Хр. 12, *повѣлитъ* Пал. 62, *волбится* Азб. 386, *волбчатъ* Ст. 34, *сволбчатъ* Ст. 156, *волбчатся* Ав. 3196, *ворбитъ* Леч. 456, *поворбится* Дс. 1656, *ворбится* Св. 253, Хр. 497, Леч. 99, *погубиши* Зап. 1226, *погубитъ* Хр. 901, *мѣрит* Зап. 1566, *не обезрѣмишися* Зап. 1196, *обезрѣмится* Об. 3466, *посрѣматся* Пс. 114, Дс. 696, *ѣдите* Соф. 1296.

Таковы отклонения в прежних парадигмах *b* и *c*, которые представлены в памятниках различного происхождения — и северных, и южных. Только в тех случаях, если место написания рукописи удастся определить точно, устанавливаются диалектные расхождения. Тенденция к подвижности обнаружилась довольно рано, но представлена она только с.-в.-р. рукописями и рукописями, написанными в Москве. Сдвиг ударения к корню (т. е. выравнивание по типу *b*) наблюдается в рукописях, написанных в разных районах, но очень редко и довольно поздно (в Ч. такие примеры еще не представлены, тогда как выравнивание по подвижному типу там можно проследить, например, по акцентовке *преломѣтъ* 73^a, *възлюбѣши* 124^a, *могоутъ* 66^b, *носиши* 105^a). Однако и с.-в.-р. источники не однообразны в этом отношении. Материал показывает⁹, что стабилизация ударения на корне — типично ю.-в.-р. особенность ударения — характерна только для заонежских (акающих) и северо-восточных (печорских) рукописей; в архаичных с.-в.-р. говорах устанавливается подвижность нового типа (с окончанием ударением в форме 1-го лица ед. числа. не *жѣву* — *живѣтъ* — *живетѣ*, а *живѣу*, *живѣтъ*, *живетѣ*). В этой подвижной парадигме совпадают прежние типы *b* и *c*. Таким образом, отличие глагольных акцентовок заключается в относительно позднем диалектном расслоении и в большем разнообразии акцентовок у конкретных глаголов. Вместе с тем на севере развитие продолжается в сторону подвижности, тогда как на юге преобладает неподвижность разного типа¹⁰.

5. Следует отметить еще две особенности с.-в.-р. акцентованных рукописей. Во-первых, в них распространено употребление двух знаков ударения над одной словоформой, что для ю.-в.-р. источников не характерно. Дублетность знаков не имеет никакого отношения к аналогичным

⁸ С h r. S. S t a n g, La langue du livre «Учение и хитрость ратнаго строения пѣхотныхъ людей. 1647», Oslo, 1952, стр. 63.

⁹ См.: В. В. Колесов, Различительные особенности языка и письма в севернорусских рукописях из собрания Пушкинского дома, «Рукописное наследие Древней Руси», Л., 1972, стр. 364—365.

¹⁰ Систематизированный материал по современным говорам см.: А. А. Данилов, Об особенностях словесного ударения в русских народных говорах. КД, Л., 1968; В. В. Колесов, Ударение в пинежских говорах, «Севернорусские говоры», 1, Л., 1971; С. В. Бромлей, Л. Н. Булатова, Очерки морфологии русских говоров, М., 1972.

приемам южнославянских рукописей более раннего времени: в с.-в.-р. рукописях ударение никогда не обозначается более двух раз (тогда как в южнославянских источниках находим три-четыре знака над словоформой) и позиционно ограничено либо предударным (и вместе с тем предконечным) слогом, либо новозакрытым конечным слогом слова, ср.: в Пч.— *бывають хитры* 4, *тая власть крѣпка* 148, *зѣло* 1156, *того ради крѣла дана суть птицам* 149, *по животѣ страстьми* 182, *имѣли* 1116, *а нѣзѣ смѣино прѣходита* 836, *по вѣли его* 143, *своими мужи* 19, *красоту* 826 — *храборъ* 128 (*храборъ* 145), *в триехъ нѣждахъ* 1786, *толстымъ ебрлѣмъ* 65, *напѣсть* 80, *обычай* 154, *родителѣй* 155, *блѣднѣжъ* 1856, *стрѣноу* 46; также в М.— *принести вѣды* 202, *в рай* 70, *в единомъ углѣ* 1276, *чрѣдѣ ихъ* 70, *збирати дрѣвѣ* 72, *червѣми* 3216, *крѣглу браду* 726, *четыремѣ* 317, *службѣ* 164 и др.— *мужемъ* 1326, 305, *рачителѣй* 15, *похвала дѣлателѣмъ* 3366 и т. д. Таким образом, с.-в.-р. рукописи показывают иктическое взаимодействие двух последних слогов слова: ударение предконечного слога и долгота конечного или долгота предконечного слога и ударение конечного, т. е. — — или — —. Аналогичную неопределенность иктуса (на конечном или предконечном слоге слова) наблюдатели отмечают и в современных с.-в.-р. говорах, смешивая собственно иктические и количественные характеристики с.-в.-р. ударения. По справедливому замечанию А. В. Исаченко, «наличие в двусложном слове двух несущих иктус слогов равнозначно отсутствию собственно иктуса»¹¹. Совмещение количества и иктуса в одной просодической единице и вызывает ошибки в определении места словесного ударения (в том числе и у средневекового писца). Выделение предконечного слога характерно и для других типов рукописей с с.-в.-р. типом акцентуации¹². Мы могли бы говорить о позиционной долготе предконечного слога, если бы не четкая зависимость между двумя последними слогами слова; создается впечатление, будто происходит постоянное просодическое взаимодействие этих двух слогов.

Другая особенность касается оттяжки ударения к началу слова. Она не имеет места, если префикс включал в себя еровый гласный, но еровый предлог сохраняет старое ударение словоформы: в Уст. *звонити в тяжкая* 1606, *но звонити во вся тяжкая* 92, в Сийск. *со ляннымъ масломъ* 18, *но с масломъ ляннымъ* 20 и т. д.¹³

Такое противопоставление встречается только в памятниках, составленных или переписанных на территории распространения с.-в.-р. говоров (Ав., В., Зап., Леч., М., Нв.), совсем не отражаясь в рукописях с ю.-в.-р. особенностями (Дом., Об., Пал., Курб., Гз., И.) И в более позднее время обнаруживается противопоставление западных с.-в.-р. говоров восточным: последние не регистрируют оттяжек ударения на предлог, избегают акцентовок типа *пѣ ряду*, *на землю*¹⁴. Такое разграничение совпадает с двумя различными струями колонизации Севера — новгородской и ростово-суздальской. В самих ю.-в.-р. говорах, где подвижность всякого типа устраняется, оттяжки ударения на предлог ограничены некоторыми наречными сочетаниями¹⁵. Вместе с тем ни для с.-в.-р.,

¹¹ А. В. Исаченко, Zum phonologischen Deutung der Akzentverschiebungen in den slavischen Sprachen, TCLP, VIII, 1939, стр. 181.

¹² См.: В. В. Колесов, Об одной древнерусской диалектной системе ударения, «Вестник ЛГУ», 8, 2, 1965.

¹³ См.: В. В. Колесов, Ударение в древнерусском сочетании с «еровым» предлогом, ВЯ, 1966, 6.

¹⁴ См.: В. В. Колесов, Различительные особенности языка и письма..., стр. 362—363.

¹⁵ См.: А. А. Данилов, Об особенностях словесного ударения..., стр. 127—171.

ни для ю.-в.-р. оттяжка ударения на еровый предлог типа *вб голову* или *кб зиме* нехарактерна; такие акцентовки либо аналогического происхождения, либо заимствованы из литературного языка. И в этом случае мы вновь сталкиваемся с хронологическим пределом утраты редуцированных, ниже которого современное диалектное членение в русском языке не прослеживается.

На севере, наоборот, подвижное ударение — существенная характеристика иктуса уже с древнейших времен, что особенно четко выражено в ударении непроизводных (фонетически — слов с малым количеством слогов). Исконные парадигмы *a*, *b*, *c* совпадают здесь в общем типе с с новым характером подвижности.

С точки зрения теории оппозиций нейтрализация противопоставления совершается в пользу немаркированного члена. Следовательно, в древнерусском противопоставлении (применительно к долготным корням) «регрессивная акцентная парадигма (*c*) ~ устойчивая акцентная парадигма (совместно *a* и *b*)» маркированным членом являлась акцентная парадигма с фиксированным на определенной морфеме иктусом. Такое положение было свойственно большинству древнерусских говоров и сохранялось вплоть до XVIII в. В говорах же северного типа обнаруживается утрата этого противопоставления. Совпадение всех акцентных парадигм в подвижной с изменением в ударении отдельных словоформ указывает на нерелевантность иктической характеристики парадигмы, на то, что в северных говорах иктус не имел фонологического значения; на это же указывает и ориентация производных на акцентные типы подвижного класса. Отсутствие противопоставления по иктическому признаку выражается в обобщении немаркированного члена возможной в прошлом оппозиции. Вместо иктуса на севере на протяжении длительного времени оказался релевантным другой просодический признак — количество.

Приведенные здесь сопоставления в целом указывают на важные просодические отличия с.-в.-р. говоров от ю.-в.-р., восходящие к древнерусской эпохе. Необходимы детальные монографические описания с.-в.-р. памятников и говоров, которые дадут материал для более конкретных суждений о диалектных просодических признаках. Это тем более важно, что диалектные фонологические и морфонологические системы определяются в конечном счете просодическими различиями: на севере иктус — характеристика *с л о в о ф о р м ы*, на юге же он все более становится характеристикой *с л о в а*. На юге раннее формирование корреляции по мягкости — твердости устранило все просодические признаки, кроме иктуса, на севере же длительное сохранение количественных противопоставлений явилось одной из причин, препятствовавших формированию этой корреляции.

Использованные материалы и принятые сокращения

Северные рукописи: Ав.— Автограф Жития Аввакума, XVII в., БАН, собр. Дружинина, 746; В.— Вкладная книга Кирилло-Белозерского монастыря, начало XVII в., ГПБ, Кирил.— Белоз. 78/1317; Д.— Житие и хождение игумена Даниила, XVII в., БАН, собр. Нефедова, 3; Зап.— Записная книжка монаха конца XVI в., ГПБ, Q. XVII. 67; Кар.— Сборник XVII в., ИРЛИ, Карельское собр., 6; Кор.— Хождение Трифона Коробейникова, XVII в., ИРЛИ, УЦ № 6; Кар. 1 — Сборник XVII в., ИРЛИ, Карельское собр., 1; Кел.— Книга келейного и путного правила, 1527 г., ГПБ, F. I. 147 (1 том); Кр.— Сборник XVII в., ИРЛИ, Карельское собр. 10; Кч.— Кормчая 1517 в., ГПБ, F II. 74; Лет.— Летописец XVII в., БАН, Тек. пост., 608; Леч.— Лечебник XVII в., ГПБ, собр. Колобова, 649; М.— Минея середины XVII в. (из собрания автора); Нв.— Новгородская летопись, начало XVII в., БАН 34.4.32; Пр.— Пролог конца XVI в., ГПБ, Софийское собр., 1424; Псл.— Псалтирь XVI в.,

ГПБ, Ф. 1.7; Пч.— Пчела, 1640 г., ГПБ, Кирил.-Белоз., 114/1191; Сб. О — Сборник XVI в., ГПБ, Софийское собр., 1460; Сим.— Симеоновская летопись, XVI в., БАН, 16.8.25; Соф.— Софийская первая летопись, XVI в., БАН, 34.2.31 (переписана в Вологде с московского оригинала); Ст.— Сборник XVII в., БАН, 21.7.8; Уст.— Жития устюжских чудотворцев, XVII в., БАН, 45, 10.2; X.— Хронологический том Лицевого свода, XVI в., БАН, 17.17.9; Хр.— Хронографический сборник XVI в., ГПБ, Погодинское собр., 1404^а.

Южные рукописи: Ас.— Сборник Антониево-Сийского монастыря, XVII в., ИРЛИ, Мезенское собр., 3; Гз.— Сборник XVII в., БАН, 17.5.27; Дом.— Домострой, XVI в., ГПБ, Q. XVII. 149; Дс.— Домострой, XVII в., ГПБ, XVII 63; И.— «Книга историкъ», XVI в., ГПБ, Софийское собр., 1421; Каз.— Казанская история, XVII в., ГПБ, Q. IV.170; Курб.— История... А. М. Курбского, XVII в., ГПБ, Q. IV. 54; Об.— Обиходник, конец XVI в., ГПБ, Софийское собр., 1516; Пал.— История... Авраамия Палицына, XVII в., ГПБ, Q. IV. 352; Пв.— Сборник XVII в., ГПБ, Погодинское собр., 1611; Пс.— Псалтирь XV в., ГПБ, Погодинское собр., 86; Св.— Стоглав, 1645 г., ГПБ, Q. II. 102; Ск. 3— Сборник XVII в., ГИМ, 1933; У. и Ул.— Уложение 1649 г. в списке 1728 г. с добавлениями, ГПБ, Ф. II. 11; Фл.— История... Иосифа Флавия, XVII в., БАН, Арханг. Д. 447; Ч.— Чудовский новый завет, 1355 г (по изданию: Новый завет., М., 1892).

Рукописи неопределенного происхождения: Азб.— Азбуконик XVII в., ГПБ, Q. XVI. 2; Воскр.— Воскресенская летопись, XVI в., ГПБ, Ф. IV. 678; Др.— Летописец Древний (II том), XVI в., БАН, 31.7.30; Л.— Лечебник XVII в., ГПБ, Собр. Тиханова, № 697; Лапг.— Лаптевский том Лицевого свода, XVI в., ГПБ; Ф. IV. 233; И.— Иконописный подлинник, XVII в., ГПБ, Q. XVII. 37; Пт.— Псалтирь XVI в., ГПБ, Софийское собр., 69; Сб. 23— Сборник XVII в., ГПБ, Ф. XVII. 23; Сг.— Стоглав, XVII в., ГПБ, Q. II.80; Сийск.— Сийский иконописный подлинник, XVII в. (по кн.: «Памятники древней письменности и искусства», XVI, СПб., 1909); Шум.— Шумиловский том лицевого свода, XVI в., ГПБ, Ф. IV, 232.

Диалектные материалы: Атл (ас) — «Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы», М., 1957; Бел.— Сказки М. М. Коргуева (Беломорье), кн. I, Петрозаводск, 1939; Белоз.—Б. и Ю. Соколовы, Сказки и песни Белозерского края, СПб., 1915; ДК — «Труды московской диалектологической комиссии» (в скобках — номер выпуска); Зал.— Р. И. Аванесов, О говоре Переславль-Залесского уезда Владимирской губ., «Труды Постоянной Комиссии по диалектологии русского языка», вып. 9, 1927; Заон. К. и Печ. К.— «Сказки и предания Северного края», М.— Л., 1934 (записи в Заснежье и на Печоре); Мат.— Материалы по русским народным говорам в Изв. ОРЯС и Сб. ОРЯС (в скобках — номер выпуска); Новг.— В. Ф. Соловьев, Особенности говора Новгородского уезда Новгородской губ., Сб. ОРЯС, 77, 1904; Перм.— Д. К. Зеленин, Великорусские сказки Пермской губ., Пг., 1914; Пин.— В. В. Колесов, Ударение в пинежских говорах, «Севернорусские говоры», I, Л., 1972; Пск.— Картотека Псковского областного словаря при Ленинградском университете; Пуд.— В. Мансикка, О говоре северо-восточной части Пудожского уезда, ИОРЯС, XIX, 4, 1914; Т.— диалектные материалы по тульскому говору в диссертации А. А. Данилова «Об особенностях словесного ударения в русских народных говорах», Л., 1968.

Г. Ф. БЛАГОВА

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЮРКСКИХ ЭТНОНИМОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*Светлой памяти**Николая Константиновича Дмитриева*

1. В потоке тюркизмов (и шире: ориентализмов), которые проникали в русский язык из различных тюркских языков в разные исторические периоды, особое место занимают этнонимы, ставшие неотъемлемой частью соответствующей номенклатуры русского языка. Судьба тюркизмов-этнонимов в русском языке неразрывно связана с историей возникновения и развития русско-тюркских контактов, с эволюцией народа, которому принадлежит изучаемый этноним, и, следовательно — с изменявшимся статусом самих объектов обозначения, новым дефинитивным применением некоторых из таких тюркизмов, что было обусловлено в первую очередь процессами сложения тюркских национальностей, вызывавшими в ряде случаев уточнение (или дажемену) их самоназваний. При этом оказалось целесообразно использовать методику семантического сопоставления тюркизмов-этнонимов в русском языке и их тюркских прототипов в языке-источнике не только в синхронно-генетическом, но и диахроническом плане.

Названные исторические причины не могли не вызвать относительной подвижности соответствующего круга слов русского языка на протяжении длительного периода. Только в середине 30-х годов XX в. нынешнее терминологизированное состояние, которое подразумевает как семантическую однозначность, так и стабильность фонетической формы, стало характерно для тюркских этнонимов, в совокупности составляющих системно-организованное микрополе внутри современной этнонимической номенклатуры русского языка. Подобное положение тюркских этнонимов в современной русской лексике, с одной стороны, а с другой — результаты разрозненного их изучения, которое до настоящего времени велось, как правило, в плане истории отдельных слов, позволяют распространить системный подход также и на эволюцию соответствующего отдела лексики русского языка. Настоятельная потребность системного освещения истории тюркской этнонимии в русском языке вызвана еще и тем, что эмпирически сложившиеся представления о произвольной бессистемности и путанице в этой области невольно проецируются представителями различных отраслей языкознания (в том числе — и общего языкознания) также на современное употребление соответствующих терминов¹.

Осуществление системного подхода представляет, однако, немалые трудности, особенно если учесть, что этнонимы заимствовались неоднократно из различных тюркских языков и при этом иногда, в порядке отбраковки фонетических, семантических или фонетико-семантических колебаний у заимствуемого слова в языках-источниках, вносились коррективы в звуковой облик и семантику первичного заимствования, а порой

¹ См.: Г. Ф. Б л а г о в а, Против архаизации тюркологической и алтаистической терминологии, «Народы Азии и Африки», 1970, 1.

вторичное заимствование как бы налагалось на первичное. В условиях, когда освоение таких тюркизмов осуществлялось к тому же то через непосредственные языковые контакты, то в результате книжного влияния, любой из изучаемых этнонимов, за небольшими исключениями, диахронически мог чуть ли не полностью воплотить в своих фонетических субституциях и семантических колебаниях всю возможную «шкалу адаптации» (по выражению Э. Хаугена) соответствующего слова русским языком. Исторически почти все анализируемые заимствования являлись в русском языке вариантными. Часть из этих заимствований, многозначных в русском языке, располагала лексико-семантическими вариантами (например, слово *казак*), которые в процессе развития вполне могли стать омонимами. Другие из заимствований были представлены в виде фонетико-семантических (на некоторое время ставших синонимическими) вариантов слов (*турки* — *тюрки*), за каждым из которых в ходе семантической специализации закреплялось различное значение и которые в итоге превращались в самостоятельные слова, причем отнюдь не синонимы. Наконец, третий разряд заимствований выступал в виде фонетических (дублетных, семантически тождественных) вариантов (*адербиджанский* / *азербайджанский*). Н. К. Дмитриев называл любые из таких диахронических вариантов «стадиями слова» и в связи с этим не раз подчеркивал, что «заимствование можно понять только в разновременном плане»². В своих устных выступлениях ученый указывал на необходимость изучения исторического движения этнонимов-ориентализмов и, в частности, стандартизации фонетического облика вариантных этнонимов в русском литературном языке; не менее важной он считал задачу выяснения как причин, по которым в литературном языке стабилизировался один из вариантов этнонима, так и хронологизации этих процессов в их взаимосвязи.

Первым шагом в предлагаемом исследовании явился поиск диахронических базовых (опорных, или ключевых) этнонимов, т. е. попытка выделить центральные единицы в развитии тюркской этнонимической номенклатуры в русском языке, послужившие ее ядром. Базовыми оказались особенно частотные в разные исторические периоды этнонимы *татары*, *турки* — *тюрки*: каждый из них в свое время использовался для обозначения обобщающе-родового этно-понятия, в своем развитии вступал во взаимодействие один с другим, порождая сложные окказиональные переплетения и специфическое словоупотребление. Иными словами, базовые термины в русском языке оказались связанными между собой отношениями с е м а н т и ч е с к о й к о р р е л я ц и и³, хотя слова *татары*, с одной стороны, и *турки* — *тюрки*, с другой, в языках-источниках не были семантически близки.

Отношения семантической корреляции — обобщающая семантика, соответственно: одинаковый характер выполняемых функций — позволяют выделить базовые этнонимы в лексико-семантическую группу (ЛСГ), особо влиятельную в составе тюркской этнонимии русского языка:

² Н. К. Д м и т р и е в, О тюркских элементах русского словаря, в его кн.: «Строй тюркских языков», М., 1962, стр. 507.

³ Термины «грамматическая корреляция», «словообразовательная корреляция» предложены Ю. С. Степановым (см. его «Семиотика», М., 1971, стр. 55 и сл.). Использованный здесь термин «корреляция» получил иное наполнение и истолкование (см. также ниже). Термин «семантическая корреляция» применен для обозначения отношений, которые в принципе схожи с отношениями взаимозаменяемости и синонимичности, но которые целиком не покрываются ни теми, ни другими. О синонимии всех перечисленных базовых этнонимов можно было бы говорить с большой натяжкой. О синонимичности пары *турки* — *тюрки* с точки зрения исторической также можно говорить условно: это были фонетико-семантические варианты разновременных заимствований с преобладанием нерасчлененно понимаемой общности их семантики.

входящие в ее состав обобщающе-родовые этнонимы в разные исторические периоды во многом определяли семантику и словоупотребление ряда конкретно-видовых этнонимических названий. Назовем эту ЛСГ по имени ее членов базовой. Выделение ее возможно с точки зрения как диахронии, так и исторического синхронного среза, поскольку замена одного родового термина другим чаще всего совершалась не без элемента стихийности, при весьма нередком совмещении и параллельном использовании чуть ли не всех трех терминов. Итак, второй шаг предлагаемого исследования имеет в основе принцип семантической корреляции, которая в данном случае поддается непосредственному наблюдению.

Диахронический анализ каждого из членов выделенной ЛСГ и их взаимоотношений позволит: 1) дополнить критерий семантической корреляции другими, обосновывающими объективность принятого выделения ЛСГ; 2) уточнить состав ЛСГ и ее системно-организованный характер в разные исторические периоды, а также выявить изменения в составе ЛСГ на протяжении XVIII—XX вв. по материалам русского книжного языка; 3) обнаружить ряды тех этнонимов, судьба которых в первую очередь оказалась сопряженной с различными изменениями в составе ЛСГ при ее эволюции. Из числа эволюционных процессов особое внимание уделялось преодолению как фонетической, так и лексико-семантической вариантности слов изучаемого круга во всем многообразии конкретных способов.

Последняя тема исследования важна потому, что она смыкается с вопросом о радикальном сокращении состава базовой ЛСГ в новое время и о перераспределении части ее членов между другими этнонимическими рядами. Естественно, при таком изучении потребовались последующие выходы за пределы базовой ЛСГ и широкое привлечение других рядов тюркских этнонимов.

2.1. Заимствованное через посредство тюркских языков монгольское слово *татар* было принято русским языком для обозначения не только монголов, но и завоеванных монголами тюркоязычных кочевых племен, участвовавших в нашествии на Русь в XIII в. Русск. *татары* (стандартизованная форма мн. числа; ср. *татаре, татарове*) в этой своей семантике, весьма вероятно, поддерживалось значениями слова-оригинала. Достаточно напомнить, что очень многие тюркоязычные народы имеют в своем составе родовые подразделения, носящие имя *татар*; на Дальнем Востоке татарами китайские историки, например, называли не только монголов, но и тюрков, маньчжуров и тунгусов. Видимо, именно на этой многозначности слова-оригинала (а не только в результате путаницы термина политического с этнографическим, как это принято было считать) слово *татары* сразу получило в русском языке огромную обобщающую силу и стало обозначать чуть ли не все народы Азии без различия в их этнической принадлежности; в этом оно сомкнулось с заимствованием *бусурмане/басурмане*, о котором см. ниже. Последующая эволюция этнонима *татар* у тюркоязычных народов в конечном счете не могла не воздействовать на русский узус, переплетаясь с происходившей там постепенной активизацией обобщающего значения сначала у слова *турки*, а затем у слова *тюрки* (см. об этом ниже). В результате слово *татары* стало развиваться в русском языке в направлении свертывания его обобщающе-комплексного значения. Уже с середины XVIII в. в книжном языке проявилось стремление сузить непомерно расширившуюся семантику этого слова; в научном стиле XIX в. за ним было оставлено лишь значение «тюрки северо-восточной Европы и Азии». В современном русском литературном языке это слово закрепились в полном соответствии с нынешним самоназванием народа в качестве наименования поволжских и си-

бирских татар. На примере семантического развития термина *татары* ясно видна зависимость его судьбы от эволюции соответствующего этнографического понятия, от уровня этнографии как науки, от возобладавшей в ней тенденции использовать этнонимы-самоназвания, отказываясь от искусственных этнонимических построений.

Прежнее обобщающе-комплексное значение слова *татары* стало историческим для современного русского литературного языка, оставаясь все столь же важным для русской истории. В условиях современной специализации этого слова для выражения исторического значения была создана уточняющая композита *татаро-монголы* (с менее регулярным вариантом *монголо-татары*). Такой именно путь семантической специализации был избран потому, что наблюдавшиеся на протяжении истории слова *татар* в русском языке немногочисленные дублетные варианты — *татар*, *тартар* — фонетически не годились для статуса самостоятельных лексем.

Итак, одна из сем, прежде нерасчлененно входивших в пучок обобщенно-комплексного значения, при утрате последнего самим базовым этнонимом, реализуется в виде искусственно созданной композиты, которая становится самостоятельной лексической единицей. Примечательно, что именно она остается в пределах изучаемой ЛСГ, в то время как породивший ее этноним *татары*, перестав быть обобщающим, перешел из базовой ЛСГ в другой тематический ряд (конкретные наименования конкретных народов).

2.2. Этноним *тюрк*, самоназвание многих средневековых и современных тюркоязычных народов (в их числе турки, а исторически — и азербайджанцы, узбеки, татары, гагаузы), при неоднократном проникновении его в русский язык всякий раз отражал лишь одну из сторон семантического многообразия слова-оригинала. Этому в известной мере способствовало и то обстоятельство, что русский язык фонетически неодинаково осваивал этноним в хронологически разные моменты заимствования.

Первоначально слово *тюрк* было воспринято русским языком в варианте с широким губным гласным. См.: ед. число *тор(гъ)чин*⁴ с вариантами мн. числа *торчи* (Ипат. лет. ок. 1425 г.), *торци* (Лавр. лет. 1377 г.), *торки*, *торкы* (Радз. лет. XV в.)⁵ и вариантами производных прилагательных *торьский* и *торьский* (XV в.), *торческий* (XIV в.), *торцьский* (XIV в.), *торьчкымоу* (XV в.). Это гнездо слов было утрачено русским словоупотреблением в связи с исчезновением обозначаемых им приднестровских торков, поглощенных татаро-монгольским нашествием.

Вторичное заимствование слова *тюрк* осваивалось в варианте с узким губным гласным и означало турок, нового грозного южного соседа России. Это новое и по своему значению, и по звуковому облику слово тем не менее первоначально приняло некоторые грамматические формы (оформление по категории числа, образование прилагательных) своего предшественника. См. для ед. числа: *турчин* (XV — XVII вв., ср. *торчин*), *тюрчя(а)еини* (XVI — XVII вв.), *туръ(о)к* (XIV в.). Для мн. числа

⁴ См.: Юр. прл. XIV в., л. 8 б — в (здесь и ниже приняты сокращения картотек Дрезднерусского словаря, которые хранятся в Институте русского языка АН СССР и которыми автор воспользовалась при написании статьи); Лавр. лет. 1377 г., л. 46 об — л. 47, лл. 88, 92; Прилуцк. прл. XIV—XV вв. л. 203 а — б. Более детализованный материал, как и подробную документацию приводимых здесь и ниже примеров, см.: Г. Ф. Б л а г о в а, Вариантные заимствования *турок* ~ *тюрк* и их лексическое обособление в русском языке, «Тюркологической сборник. 1972», М., 1973.

⁵ Форма *торки*, *торкы* является обобщением первоначальной формы аккузатива при им. мн. *торци* (см.: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, IV, М., 1973, стр. 83).

в XV в. и даже в XVII в. использовалась старая форма *турци* (1686; ср. *торци*, последнюю форму М. Фасмер считает «только др.-русск.») наряду с *түрчане* (-я, -ы — XVI — XVII вв., ср. *торчи*), *туркове* и, наконец, *турки* (1649—1653, ср. *торки*). Из форм прилагательного наиболее распространенной долго была *турский* (XIV в., ср. *торський*), *туркский* (1669, 1675—1678), см. также *туцким* (XVI в., ср. *торський*). Из приведенного материала видно, что именно формы старого заимствования — *торчин*, *торци/торчи/торки*, *торський/торський* — послужили для нового заимствования при его внедрении в русский язык как бы отправной точкой для последующего развития. Подобное сообразование позднего заимствования с более ранним заимствованием того же слова по признаку словообразования, а отчасти и словоизменения назовем г р а м м а т и ч е с к о й к о р р е л я ц и е й.

Пока не представляется возможным с достоверной точностью датировать проникновение в русский язык третичного, по всей вероятности, заимствования *тюрк* с сохранением мягкости начального *т'*-оригинала и с узкой губной гласной. Тем не менее, уже в конце XVI — XVII в. наблюдалось безразличное употребление палатализованного варианта *тюрк* рядом с уже прижившимся депалатализованным *турьк*, *турок*. Параллельное использование вторичного и третичного заимствований, фактически низводившее их к уровню фонетических вариантов, было особенно характерно для памятников дипломатического жанра, в которых наблюдалось стремление приблизить звуковой облик этнонима в русской передаче к произнесению слова-оригинала. См., например, палатализованную передачу личного имени, в состав которого входит этноним, *Тюрк Имирь*, тв. п. *Тюркемирем* в «Книгах персидского повытья...» (1588—1593). См. также в переводах с Шах Аббасовых грамот (1600—1613): «тюрецкие люди», «тюрецкий царь», «тюрецким государем» наряду с «турецкий государь». Любопытно, что палатализованный вариант (*тюрецкий*) здесь принял модель прилагательного, установившуюся для депалатализованного варианта (*турецкий*). В этом факте можно видеть, во-первых, подтверждение более позднего проникновения варианта *тюрк* в русский язык и свидетельство первоначально изустного характера его обработки там; во-вторых — проявление грамматической корреляции, которой охватывались все три диахронических заимствования *торк* — *турк* — *тюрк* на первых порах освоения последних двух. Эти факты не позволяют рассматривать слово *тюрк*, укоренившееся в русском книжном языке 20—30-х годов XIX в., как новое (книжное, из немецкого языка) заимствование: его внедрению, несомненно, способствовало то, что в русский язык этот вариант проник примерно на два с половиной века ранее.

Таким образом, даже при разновременных и разнодиалектных заимствованиях одного и того же слова-оригинала все варианты, возникшие в процессе его освоения и сохраняемые в языковой памяти народа, а также все производные этого слова оказываются сопряженными отношениями грамматической корреляции. Эти отношения проявляются в том, что каждое вновь проникающее в русский язык заимствование того же слова-оригинала, независимо от модуляций его звукового облика и значения, языковое сознание хотя бы на первых порах стремится освоить путем формо- и словообразовательной аналогии с уже имеющимся или некогда существовавшим заимствованием того же слова. В этом находит одно из своих проявлений системная тенденция освоения этнонимов в базовой ЛСГ. В дальнейшей истории пары *турки* — *тюрки* грамматическая корреляция, отвечая тенденции к раздельности каждого из вариантов, могла, во всяком случае — уже с начала XIX в., проявляться и нега-

тивно (негативная грамматическая корреляция), а именно — в распределении и закреплении противопоставленных друг другу словообразовательных форм за каждым. Ср. *тюркский*, но *тюрецкий*; *тюркизм*, но *турцизм* (иногда: *турчизм*); *тюркизировать*, но *отуречить*; *тюркиз(ир)ованный*, но *отуреченный* (ср. «потурченцы»). Заметим, что в чисто книжных (палатализованных) формах письменный образ заимствования, т. е. его основа, сохраняется в неприкосновенном виде. Напротив, в изустно усвоенных (депалатализовавших) формах основа изменена различными звуковыми чередованиями, приводящими заимствование в максимальное соответствие с нормами русского языка.

Русские разновременные заимствования *торкы/торцы* и *турки* использовались прежде всего для обозначения конкретного тюркоязычного народа, с которым в тот или иной период истории приходилось общаться русским. Однако более широкое значение, присущее слову-оригиналу, неизменно на всех этапах налагало некоторый обобщающий отпечаток на контекстное употребление этих заимствований. Этот элемент значения уже для первичного заимствования может быть выделен в качестве семы, которая реализуется самой возможностью для слова *торкы/торцы* как обобщающе-родового показателя сочетаться с тем или иным видовым (племенным) наименованием (*Беренди* или *Берендичи*, *Чернии Клобуци*). См. в Лавр. лет. 1377 г., лл. 89, 97, 111: «Торчинъ имене^м Беренди», «бѣжаша Торци Берендичи из Рускыѣ земли», «Торци вси Чернии Клобуци». Позднее та же сочетаемость и, следовательно, та же сема станут характерны и для вторичного заимствования *турки* (как и для третьего *тюрки*). См. в середине XVII в.: «Тут кочуют *туркмены*, язык *турской*, и то есть старые *турки*» («Проскинитарий» Арс. Суханова), в начале XIX в.: «*туркмены* говорят *тюрецким* языком» (1822), ср. «сартское наречие тюркского языка» (1899).

С расширением и углублением лингвистических и этнографических познаний в России возникала надобность идентифицировать разные тюркские народы и племена (в первую очередь — турок и татар) как народы, принадлежащие к одной языковой семье; вместе с тем стала ощущаться и необходимость обобщающего родового этнонима для всех этих народов. В русском книжном языке наметилась тенденция, опираясь на традицию обобщающего употребления этнонима, использовать вторичное заимствование *турки* (*тюрецкий*) в качестве родового наименования. Тем самым обобщающе-родовая сема должна была стать ведущей в семантической структуре этого слова. Дело, однако, осложнялось тем, что для общенародного языка такое использование этого слова было совсем не основным, а, можно сказать, периферийным; традиционное конкретно-видовое значение оставалось преобладающим, наиболее сильным. В то же время еще живой была обобщающая семантика слова *татары*. Именно поэтому в книжном языке слова *турки* и *татары* стали употребляться в тесном соположении, то взаимодополняя друг друга, то отождествляясь друг с другом. На подготовленной таким образом почве и благодаря стимулирующему воздействию книжно-немецкого *türkisch-tatarisch* (ср. *Türko-Tataren*) образовалась композита *тюрецко-татарский*, функционирование которой в общем ограничивалось сферой книжного специализованного языка и не исключало поэтому употребления других базовых этнонимов.

Существование в русском книжном языке XIX в. в качестве обобщающе-родовых наименований *тюрецкий*, *тюркский* и *тюрецко-татарский* привело к неоднозначным результатам. С одной стороны, композита *тюрецко-татарский*, безусловно, способствовала активизации обобщающего использования слова *тюрецкий*. Явившись промежуточным звеном

в смысловом развитии слова ⁶ *турки* (*турецкий*), композита способствовала тому, что в книжном языке в семантике этих слов на первый план была выдвинута сема обобщающе-родовая. Тем самым здесь стала прогрессировать в принципе нежелательная омонимичность слова *турки* (и его производных), поскольку оно наряду с родовым этно-понятием продолжало выражать и видовое понятие. С другой стороны, начиная со второй половины XIX в., состав композиты был сообразован с внедрившимся в научный обиход словом *тюрки* (прилагательное — *тюркский*), которое употреблялось преимущественно в родовом значении. Возникшие в результате композиты *тюрко-татары*, *тюрк(ск)о-татарский* приведены в полное соответствие немецким *Türko-Tataren*, *türko-tatarisch*.

В период, когда терминологическая неупорядоченность допускала параллельное употребление перечисленных обобщающе-родовых наименований, как варианты *турки*—*тюрки*, так и *татары*, а отчасти и композита *турецко-татарский* могли порождать почти одинаковые по составу определительных компонентов и по длине, т. е. достаточно точно (и полно) коррелируемые, цепочки композит и словосочетаний с любым из этих базовых этнонимов в основе. Подобную способность базовых этнонимов к точно соотносимо порождению усложненных образований со специализированными значениями назовем лексической корреляцией. Вариант *турки* породил, например, следующие словосочетания и композиты: *турецко-татарский* — *азербайджанские турки* (1906) ~ *турецко-азербайджанский* (1899)/*азербайджанско-турецкий* (вплоть до конца 20-х годов XX в.) — *турки-османы* (1835)/*турки-османлы* (1821)/*османские турки* (1876) ~ *турецко-османский* (1846)/*османлы-турецкий* (1849)/*османско-турецкий* (1835; употребляется и ныне) — *турецко-джагатайский* (1835)/*джагатайско-турецкий* (1868) — *среднеазиатско-турецкий* (1928). Эти образования весьма точно соотносятся с теми, которые порождались вариантом *тюрки*: *тюрк(ск)о-татарский* — *азербайджанские тюрки* ~ *азербайджан(ск)о-тюркский* (вплоть до 30-х годов XX в.) — *тюрки-османы* (1896) /*тюрки-османлы* (1848) ~ *тюркский язык османлы* (1866)/*османо-тюркский* (1955) — *джагатайско-тюркский* (1850) — *среднеазиатские тюрки* (1894); ср. *тюркские казаки* (1862).

Хотя слово *татары* как базовый этноним единодушно признавалось устаревшим, однако вплоть до начала XX в. на его основе также производились соответствующие композиты и словосочетания. Прежде всего следует указать на участие слова *татары* в обоих вариантах обобщающей композиты — *турецко-татарский* и *тюрк(ск)о-татарский*, что, несомненно, способствовало оживлению в нем обобщающе-комплексной семы. Ср. также *татары азербайджанские* (1902) и *татарско-азербайджанский* (последний компонент по годам представлен в самых различных вариантах — 1824, 1861, 1899, 1913), *татарский язык кавказско-азербайджанского наречия* (1904); *джагатайтатарский* (1847) и *татарско-джагатайский* (1902), *среднеазиатские татары* (1894), *туркменские татары* (1777), ср. *казакские татары* (до конца XVII — начала XVIII в.) и *татарские казаки* (1745). Примечательно, что композита *турецко-татарский*, стремясь занять подобающее место в ЛСГ, имела тенденцию хотя бы частично вступить в отношения лексической корреляции с базовыми этнонимами *татары*, *турки* — *тюрки*, порождая при этом, правда, единичные соче-

⁶ Термин Р. А. Будагова, см. его «Сравнительно-семасиологические исследования», [М.], 1963, стр. 139 и сл. О роли композит в формировании изучаемой номенклатуры см.: Г. Ф. Б л а г о в а, Композиты и становление тюркской этнонимо-лингвистической терминологии в русском языке, «Советская тюркология», 1973, 4.

тания, вроде *турецко-татарское азербиджанское наречие* (1857)⁷ или *монголо-турецко-татарский* (1879).

Наблюдения над лексической корреляцией базовых этнонимов *татары*, *турки* — *тюрки*, а также композиты *турецко-татарский* подводит нас к парадоксальному утверждению о том, что даже терминологическая неупорядоченность в базовой ЛСГ проявлялась в системно-организованном виде. Лексическая корреляция, как и грамматическая корреляция, может быть использована в качестве одного из критериев выделения изучаемой ЛСГ.

Это можно подтвердить одним негативным примером. Так, отношения лексической корреляции не распространяются, например, на проникшее в русский язык через устные каналы слово *бусурман(ин)/басурман(ин)* (< тюрк. диалектн. *бусурман* ~ *бусулман* ~ *мысырман* ~ *мусурман* < тюрк. *мусулман* < араб.-перс. *муслиман*)⁸. Уже тот факт, что слово это не участвует в описанной лексической корреляции, говорит за то, что оно находится за пределами базовой ЛСГ, хотя оно широко использовалось в русском разговорном языке, особенно старшей поры, как обобщенное наименование иноземца по признаку иной веры (кроме христианской). И хотя в старых текстах слово *басурмане* нередко употреблялось как синоним слов *татары* или *турки*, однако в книжном языке эта синонимия не могла быть поддержана уже потому, что *басурмане* принадлежало иной сфере русского языка — разговорной. В книжном же языке был представлен поздний этимологический коррелятив этого слова — *мусульманин* в значении «исповедующий ислам»⁹, который проник сюда по книжным каналам и поэтому характеризовался точной фонетической передачей слова-оригинала и сохранением его семантики. Надо заметить, что с самого начала здесь четко проводилась оппозиция «термин — нетермин». Это были два разных слова с различным звуковым обликом, различной семантикой и принципиально разными сферами функционирования, исключавшими самую возможность их параллельного использования, как и возможность проникновения слова *басурман(ин)* в книжный язык.

Возвращаясь к эволюции вариантов *турки* — *тюрки* (*турецкий* — *тюркский*), подчеркнем, что и в дальнейшем их судьбы были тесно переплетены. Возраставшее национальное самосознание народов колониальных окраин России обусловило то, что в конце XIX — начале XX в. этноним *түрк* стал широко употребляться как самоназвание азербайджанцами, татарами, узбеками в национальной печати и в официальных документах. Это словопотребление вызвало появление в русск. *тюрк* конкретно-видовой семы, которая особенно явственно реализовалась в официально-канцелярском стиле, распространяясь также и на научный стиль; в частности, это одна из причин возникших композит, небольшая часть которых приводилась выше. Особенно надолго задержалось в русском языке официальное именование азербайджанцев «тюрками» — практически от него отказались только в 1936 г. В этих условиях и по причине активизировавшегося совмещения в слове *тюрки* (*тюркский*) тех же двух сем, что и в слове *турки* (*турецкий*), — родовой и видовой, в первом развилась столь же нежелательная омонимичность, как и во втором.

⁷ См. еще: «Туецко-татарско-русский словарь наречий: османского, крымского и кавказского» Л. М. Лазарева (М., 1864).

⁸ Сводку литературы и материала см.: Г. Ф. Б л а г о в а, Историко-этимологические заметки о словах *басурманин* — *мусульманин* и *магометанин* — *мухаммеданин*, «Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка», М., 1969.

⁹ Ср., однако, в Никон. под 6333 г. упоминание о «царе Мусулмане».

Тюркологи искали выход из создавшегося терминологического тупика. Один из способов решения проблемы был предложен в связи с распространением книжной композиты *османско-турецкий* в конкретно-видовом значении (в 20—30-х годах XX в. ее заменила *анатолийско-турецкий*): благодаря этому освобождалась «семантическая клетка» (термин Н. И. Толстого) *турецкий*. Имея это в виду, Ф. Е. Корш и А. Н. Самойлович в свое время заявили об «излишности» слова *тюркский* в обобщающем смысле, призвав тюркологов пользоваться в «необходимом значении» «синонимичным» словом *турецкий*¹⁰ (хотя синонимичность этих двух слов была свойственна преимущественно книжному языку).

Видимость произведенного таким образом терминологического упорядочения была разрушена в 20-х годах событиями отнюдь не лингвистическими — кемалистской революцией, свержением османской династии, провозглашением Турции республикой в 1923 г. В результате этих событий сочетание *османские турки* и композита *османско-турецкий* сохранились в своем историческом значении; предложенные взамен их сочетания *анатолийские турки*, *малоазиатские турки*¹¹ как видовые этнонимы не прижились; в качестве этого последнего утвердился термин *турки* (*турецкий*). Вместе с тем упорядочение этнонимической номенклатуры, осуществленное в 1936 г. в СССР, освободило семантическую клетку *тюркский* от конкретно-видовой семантики (азербайджанские «тюрки» стали именоваться азербайджанцами), положив конец омонимичности этого слова, и сразу же оно было закреплено в качестве обобщающе-родового обозначения, т. е. того, с которым нежелательно связывать звуковой аналогией конкретное наименование еще одного народа. Этноним *турки* выбыл из состава базовой ЛСГ, переместившись в разряд конкретных видовых наименований.

Так распались отношения семантической корреляции, которые издавна связывали пару *турки* (*турецкий*) — *тюрки* (*тюркский*). Если прежний, чуть ли не зеркально-точный параллелизм в семантическом развитии и лексическая корреляция пары *турки* — *тюрки*, невзирая на различия фонетического облика и ряда грамматических и производных форм, удерживали их в положении фонетико-семантических вариантов, то произошедшее кардинальное семантическое размежевание сразу утвердило за каждым из бывших вариантов статус самостоятельного слова. В этом отличие эволюции фонетико-семантических вариантов, возникавших в результате неоднократных заимствований слова-оригинала, от судьбы дублетных вариантов однократного заимствования типа *татар* — *тотар*.

Таким образом, внутри одной ЛСГ представлены различные способы лексико-семантического развития этнонимов, по-разному преодолевается их вариантность и в зависимости от этого неодинаково складывается судьба композит, возникавших в ходе эволюции. Там, где фонетические расхождения дублетных вариантов незначительны и не несут особого семантического заряда, композит принимает на себя историческое значение (*татаро-монголы*). При наличии же вариантов с заложенными в них не только фонетическими, но и семантическими, а также формо- и словообразовательными отличиями, композиты выполняют временную роль катализатора обобщающего значения [*турецко-татарский*, *тюрк-*

¹⁰ См., например: Ф. Е. Корш, Происхождение формы настоящего времени в западно-турецких языках, «Древности восточные», III, 1, М., 1907, стр. 1, примеч. 1; А. Самойлович, Памяти П. М. Мелиоранского, ЗВО РАО, XVIII, 1, Спб., 1907, стр. 07.

¹¹ Композита *анатолийско-турецкий* (реже *малоазиатско-турецкий*) используется в турецкой диалектологии.

(ск)о-татарский] у соответствующих этнонимов, а после выполнения этой функции — от них отказываются как от окончательно устаревших.

3. Остановимся теперь на тех этнонимах, судьба которых оказалась сопряженной с базовой ЛСГ, и, прежде всего — на тех, которые в качестве определительных компонентов вошли в композиты из приводившихся выше коррелируемых цепочек.

3.1. С превращением фонетико-семантических вариантов *турки* — *тюрки* в самостоятельные слова тесно связана судьба прежних именованных турок османами, османцами или османлы, а их языка — османским. Для русского языка эти слова — заимствование из турецк. *osman*, *osmanlı*, которое в свою очередь восходит к арабскому антропониму 'ишман > турецк. *Osman* — имени основателя (1252—1326) султанской династии в Турции. Вторичное заимствование той же основы в искаженном виде *оттоман*- проникло в русский язык книжным путем через французское посредство¹². В русском языке оба заимствования — *осман*- и *оттоман*-, датируемые XVIII в., сразу приобрели статус фонетических вариантов (см. также эпизодические *отманские*, *отоманы*¹³): в этот период они не имеют отличий в своем словоупотреблении и сочетаемости с другими словами; ср. «Оттоманская порта» (1720-е гг.), «оттоманстии монархии» (1706—1728) и «Османское государство» (1770), «владение Османов» (конец XVIII в.). Еще Пушкин безразлично использовал формы *османы* и *отоманы*, отражая словоупотребление своего времени. К середине XIX в. намечаются закрепившиеся впоследствии функциональные различия этих вариантов, ср. «Оттоманская империя». [Сочетание *оттоманский язык* встречалось крайне редко (1854) и может считаться окказионализмом] и применительно к языку и народу — «османский». В соответствии с этим в книжном языке как существительные с почти этнонимическим значением стали употребляться *османь*, *османль/османли*, *османцы*, а также приведенные выше композиты. Семантическое размежевание различных по своим источникам заимствований *осман*- и *оттоман*- вызвало действие негативной грамматической корреляции в области словообразования. Так, из производных слова *оттоман*- удалось разыскать в специальной литературе только окказиональные образования *оттоманизм*, *оттоманизация* (в политической сфере). Большой функциональный диапазон слова *осман*- обусловил и относительно большее количество производных, ср.: *османист*, *османистика* (название одной из областей тюркологии), *османизаторы* (в языковой политике) и *османизованные* (греки). Семантическое размежевание закрепилось, таким образом, и в различии словообразовательных рядов, что в совокупности превратило прежние фонетические варианты *осман*- и *оттоман*- в самостоятельные слова.

Позднее заимствование из французского *оттоман* «широкий и мягкий диван с подушками, заменяющими спинку» с фонетической и формальной сторон ничем не отличалось от основы более раннего *оттоманский*: в ранней фиксации 1802 г. в этом значении представлена не осложненная словообразовательными суффиксами основа *оттоман*¹⁴. Фонетическое тождество этих двух заимствований заставило русский язык распорядиться ими таким образом, чтобы избежать при этом явления омонимии.

¹² См.: Н. К. Дмитриев, Строй турецкого языка, Л., 1939, стр. 3 (в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII в.», V, М., 1967, стр. 262 против «Оттоманская порта» значится «через англ. яз.»).

¹³ О первой форме см.: «Энциклопедический словарь», изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, XXXIV, Спб., 1902, стр. 204; ср.: Leunclavius, Annales Sultanorum Othmanidarum, Frankfurt, 1596. Вариант *отоманы*, встречающийся в XVIII в., зафиксирован в «Словаре языка Пушкина» (3, М., 1959, стр. 225).

¹⁴ Н. М. Крамзин, Избр. соч., М.—Л., 1964, стр. 733.

Для слова *оттоман*, обозначающего род мебели и фонетически идентичного более раннему заимствованию *оттоман-*, место в лексической системе русского языка определилось с учетом складывавшейся функциональной специализации *оттоман-* и *осман-*, в результате которой семантическая клетка *оттоман-* высвобождалась от этнонимического значения.

Превращение лексико-семантических вариантов из гнезда *оттоман-* в отдельные слова было достигнуто четким распределением словообразовательных рядов: *оттоман-* в значении регионально-государственном получило форму прилагательного (*оттоманский*, ср. выше редкостные производные от него); напротив, существительное со значением мебели было снабжено суффиксом женского рода, т. е. категории, практически никогда не реализовавшейся в словах *осман-/оттоман-*. Иначе говоря, грамматическая корреляция двух слов, хотя и принадлежащих одному корневому гнезду, но относящихся к различным ЛСГ, проявляется негативно — в противопоставленности словообразовательных форм, закрепленных за каждым из этих слов.

3.2. Не менее органично было связано в своем развитии слово *азербайджан* с базовой ЛСГ, поскольку исторически почти все базовые этнонимы (и в XX в. особенно активно — *тюрк*) использовались для именования азербайджанского народа и его языка, порождая при этом соответствующие уточняющие композиты.

Само же заимствование *азербайджан-*, однозначное как в тюркских языках, так и в русском, из-за трудностей освоения дало в книжном языке целый ряд фонетических вариантов, где различия затрагивали как вокализм (*-e-* вместо *-a-*), так и консонантизм слова (субституция *-д-* вместо *-з-*, метатеза *-дре-* < *-дер-*, открытость третьего слога или йотация его). См.: *адрибиджанский* (конец XVIII в.); *адербиджане/адербиджанцы*, *Адербазджан* (середина XIX в.); *адербейджан-* и *адербеджан-* в одном тексте (60-е гг. XIX.); *адербейджаны* и *адербайджаны* в одном тексте (начало XX в.). Наиболее поздняя фиксация *Адербейджан* относится к 1927 г., наиболее ранняя фиксация современного *азербайджанский* — к 1906 г.; компромиссная форма *Азербейджан* употреблялась вплоть до 1934 г. Для развития вариантов в отдельные слова здесь не было оснований с точки зрения как фонетической, так и семантической. В результате упорядочения этнонимической номенклатуры в 1936 г. был окончательно утвержден вариант, наиболее точно отвечающий произношению носителей обозначаемого языка: *азербайджан-*.

4. Этнонимы *туркмен*, *тузмен*, прежде бывшие фонетическими вариантами одного заимствования, представляют собой особый случай в плане специфичности исторически многообразных взаимоотношений с изучаемой ЛСГ, в состав которой они не входят. Являясь, как и *азербайджан-*, однозначным при проникновении в русский язык, этот тюркизм при его освоении здесь породил множество фонетических вариантов, основанных, в частности, на консонантном модулировании (метатеза: *тур-* > *тру-*, субституция *-к-* посредством *-х-*). Варьирование по линии вокализма, практически перекрещивавшееся с консонантными модуляциями, имело своей опорой системность восприятия русским языком фонетически сходных и этимологически связанных друг с другом заимствований. Дело в том, что в тюркских языках этноним *türkmen* воспринимается как этимологический дериват слова *türk*; этимологическая сопряженность этих этнонимических заимствований или хотя бы их фонетическая схожесть продолжает ощущаться и в русском языке.

Наблюдения над многочисленными вариантами изучаемого заимствования показали, что в разные периоды освоения по своему фонетическо-

му облику они приводились в соответствие с вариантами базового этнонима *торк* — *турк* — *тюрк*. Конкордированная огласовка вариантов этих двух заимствований представлена, например, в Лаврентьевской летописи 1377 г. — *торьки*, с одной стороны, и *тортмени/торкмене*, *тортьмени/торкмени*¹⁵, с другой; см. также более позднюю передачу топонима, принадлежащего тому же этимологическому гнезду, *Торкустан* (1740—1741).

С укоренением в русском языке вторичного заимствования *турки* соответственно изменилась огласовка и его деривата — *Туркмень*, *туркменцы* (1624). Слово это часто претерпевало метатезу — «ис *Тукьрмескья Земля*» («Хожения» Аф. Никитина, XV в.); *трукменцы*, *трукменским* (1647; ср. также топоним *Трукустан* — 1624). Иногда при этом мог происходить переход заднебного взрывного *к* в заднебный щелевой *х* — *трукменцы*, *трукменские* (1645, 1647); ср. также *турхмен*.

В связи с проникновением в русский язык более позднего палатализованного варианта *тюрк* в XVII в. становятся употребительными также палатализованные формы *тюркмен*, *тюрхмен*, *трукмен*, *трукхмен*¹⁶; ср. передачу топонима из того же этимологического гнезда — *Тюркистан* (1643) и *Тюркустан* (в «Книге, глаголемой Большой Чертеж»). В соответствии с все большим распространением базового этнонима *тюрк*, с одной стороны, и тенденцией максимально сблизить этноним в русском языке с самоназванием народа, им обозначаемого, с другой, в книжном языке вариант *тюркмен*, *тюркман* продолжал довольно широко употребляться на протяжении всего XIX в. (например: 1835, 1850, 1854, 1866, 1880) и в самом начале XX в. (1907), сосуществуя с депалатализованными *туркмен* и *трукхмен*.

Фонетическая зависимость деривата от его корневого слова, спроецированная из языка-источника на заимствующий язык, могла сохраниться в последнем только благодаря системности освоения им заимствований. Такие фонетически уподобляющие взаимоотношения между вариантами этимологически связанных друг с другом тюркизмов назовем *фонетической корреляцией*. Несмотря на важное место, занимаемое этим типом корреляции в ряду средств, системно организующих этнонимическое микрополе, следует все же признать, что фонетическая корреляция не может привлекаться в качестве решающего критерия при отношении этнонима к базовой ЛСГ: все варианты слова *туркмен*, будучи конкретно-видовым обозначением, всегда оставались за пределами этой ЛСГ, хотя фонетически и согласовывались в каждый исторический период с ведущим вариантом базового этнонима.

Упомянутые варианты оставались чисто фонетическими, тождественными семантически, вплоть до новейшего времени, когда был стабилизирован один из них — *туркмены* — в качестве самостоятельной лексемы-термина. В выборе именно этого термина решающую роль сыграла, прежде всего, фонетическая корреляция со словом *турки*, более глубоко укоренившимся в русском общенародном языке, нежели слово *тюрки*. Не менее важной оказалась и возникшая в 30-х годах XX в. семантическая

¹⁵ Ср. в Лавр. лет. 1377 г. (л. 158) вариант *таумены*, претерпевший еще более существенную фонетическую трансформацию, в том числе делабиализацию *о > а*. Вариант *таурмень* отмечен в кн.: И. И. Срезневский, *Древние памятники русского письма и языка*, СПб., 1882, слб. 98. Аналогичный процесс делабиализации *у > о > а* представлен в русск. *Салтан* (< *солтан* < тюрк. *султан*).

¹⁶ См.: «Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией», I, СПб., 1890, стр. 295; «Посольство в Персию кн. Андрея Дмитриевича Звенигородского», «Труды Восточного отделения РАО», 20, 1892, стр. 282; «Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР», ч. I, Л., 1932, стр. 145, 294, 309, 310, 312, 319.

корреляция слов *туркмены* и *турки* как принадлежащих к разряду конкретно-видовых этнонимов. Имело значение также то, что вариант *туркмен* широко использовался в русской устной и письменной традиции, по крайней мере, с XVII в.

При наметившейся тенденции отдельного именовании территориально обособившейся этнографической группы северокавказских (ставропольских) туркмен с их особенностями языка и быта¹⁷ был выбран один из отвергнутых прежде вариантов, а именно *трукмен*. При этом выборе в качестве решающих факторов действовали фонетическая и семантическая корреляция (ср. исторические варианты *трюкмен*, *трюхмен* и даже *трукмен* — первые два не подходили для указанных целей потому, что создавали ненужные фонетические и семантические ассоциации с родовым термином *тюрк*; вариант *трукмен* нес в себе недостаточные отличия от этнонима *туркмен*, выделяясь только метатезой). Выбор решило также и то, что вариант *трукмен*, который М. Фасмер дает с пометой «народн.»¹⁸, в свое время был достаточно широко употребителен в русском книжном языке.

Таким образом, вариантность этнонаименований в описанном случае преодолелась при строгом соблюдении фонетической и семантической корреляций, в чем и нашло проявление стремление к известному терминологическому единообразию и последовательности.

5. Другие именовании тюркских народов Средней Азии образуют конкретно-видовые ряды, которые не связаны с базовой ЛСГ ни одним из типов корреляции (лишь как компоненты соответствующих композит, имеющих базовые этнонимы в основе, они косвенно участвуют в лексической корреляции). В плане же преодоления вариантности наблюдения над лексико-семантическим развитием любого из таких наименований оказываются весьма показательными¹⁹. Особо интересный способ преодоления вариантности представляет случай, когда в момент заимствования у слова не было вариантов как в языке-источнике, так и в русском языке, и семантика его вполне совпадала в обоих языках; впоследствии под воздействием различных факторов истории носителей того и другого языка, семантическое развитие слова в этих языках пошло разными путями. Жизненная важность соответствующих различных понятий, исторически сложившихся у того и другого народа, делала необходимыми их отражение в русском языке; слово же было одно; возникали своего рода «семантические ножницы». Для того чтобы избежать этой ситуации, звуковой облик одного из таких далеко разошедшихся лексико-семантических вариантов искусственным образом трансформировался, тем самым закреплялась лексическая самостоятельность каждого из прежних вариантов. Рассмотрим этот способ на примере развития лексико-семантических вариантов слова *казак*.

Слово *казак* в языках тюркских народов центральных и юго-восточных степей современного Казахстана (Дешт-и-Кыпчак) и сопредельных районов современного Узбекистана сначала имело сему социальной обременности: оно означало неимущего изгой-скитальца, отделившегося от своего улуса и лишившегося надела кочевий (или земли) и имущества. От этого первичного значения развилось вторичное значение вольного, отважного молодца, ищущего свободу и богатство в добычах на войне

¹⁷ См.: Н. А. Баскаков, Тюркские языки, М., 1960, стр. 124—125; БСЭ², 43, 1956, стр. 548.

¹⁸ М. Фасмер, указ. соч., IV, стр. 124.

¹⁹ См., например: Г. Ф. Благова, Тюркск. *чагатай* — русск. *чагатай-Иджатай*, «Тюркологический сборник. 1971», М., 1972; ее же, Исторические взаимоотношения слов *казак* и *казах*, сб. «Этнонимы», М., 1970.

(сема «удальства»). В обоих значениях слово *казак* проникло в русский язык. Сема социальной обездоленности — отсутствие земельного надела и имущества — была доминирующей для слова *казак* «наемный работник» в ранних русских фиксациях его, начиная с грамоты XIV в. (это подтверждается синонимичностью слов «казак» и «батрак»). Обездоленные крестьяне пополняли собою ряды тех бездомных степных скитальцев русского происхождения, которые «в древности именовались бродниками, а впоследствии приняли имя казак» (А. А. Семенов). Воинственность казачьих вольниц, «побуждаемых... прелестью добычи воинской» (Н. М. Карамзин), согласовывала семантику этого имени с вторичной семой слова-оригинала.

Последующее перерастание окраинных казачьих вольниц сначала в сторожевые посты Московской Руси, а затем в привилегированное военное сословие землевладельцев коренным образом изменило на русской почве первоначальный социальный смысл слова *казак*. Сема «удальства»²⁰ продолжала поддерживаться взаимодействием с ведущей (третичной) семой военно-сословной привилегированности, между тем как первичная сема социальной обездоленности в этих условиях, резко противореча ведущей семе, стала неуместной, в результате она сохранилась лишь в отдельных севернорусских говорах²¹.

Тем временем и в Дешт-и-Кыпчак слово *казак* претерпело существенные изменения: объединившиеся в военный союз под этим названием осколки племен и родов положили начало этническому сплочению будущего казахского народа. С момента принятия Младшим и Средним жузами «Казачьей Орды» российского подданства (1731 и 1740) возникла жизненная необходимость чисто словесно различать русских казаков — привилегированное военное сословие и казаков-«инородцев», жителей новой колонии России. Разрешение этой проблемы было достигнуто административным насаждением с начала XVIII в. искусственно созданной композиты *киргиз-кайсака*²² для обозначения местного населения казахских степей. В этой композите в качестве первого определяющего компонента было использовано название соседнего родственного (*киргиз*) народа; второй же компонент подвергся сразу двум фонетическим трансформациям, возможным или когда-либо допускавшимся русским языком при освоении других ориентализмов, а именно — йотация открытого слога (ср. в русских летописях: *Кайсым* < *Касим*) и оглушение интервокального *з*.

Естественно, что это «колонизаторское» наименование, которое русские ученые уже с начала XIX в. считали «искаженным»²³ не могло удовлетворить ни пробуждающийся к национальной жизни народ, ни русскую научную мысль. Искусственно созданную композиту не спало и то, что с 1832 г. делались попытки восстановить в составе композиты подлинное чтение *казак* — *киргиз-казак*, в конце XIX в. (1894) была осуществлена перестановка компонентов внутри нее — *казак-киргиз*. Само название *казак* было официально восстановлено только после Октябрьской революции — в 1925 г. В результате вновь стала прогрессировать нежелательная омонимия теперь уже чисто этнонимического характера,

²⁰ Ср. русск. арготич. *казак* «вожак преступников» (Н. К. Дмитриев, Турецкие элементы в русских арга, в его кн.: «Строй тюркских языков», стр. 496).

²¹ Примечательно, что именно сема социальной обездоленности характерна для заимствования *казак* в немецком рабочем жаргоне ФРГ, куда оно проникло, скорее всего, из языка турецких рабочих-иммигрантов и где оно обозначает «рабочих, у которых нет постоянного места работы» [М. Ф. дер Грюн, Пленники стеклянных «гробниц», «За рубежом», 27 IX — 3 X 1973, 23 (693), стр. 24].

²² 1717 г. — *кайсаки*, 1721 г. — *киргиз-казаки*, 1725 г. — *киргиз-кайсаки*.

²³ См., например: А. И. Левшин, Описание киргиз-кайсацких или киргиз-казачьих орд и степей, ч. 2, СПб., 1832, стр. 22.

поскольку в слове *казак* некогда ведущая сема военно-сословной привилегированности стала теперь чисто исторической, ее вытеснила сема принадлежности к этнографической группе (*кубанские казаки, донские казаки* и пр.). Лексико-семантические варианты *казак* «казах» и *казак* «лицо, принадлежащее к определенной этнографической группе (исторически: к привилегированному военному сословию)» превратились в самостоятельные слова в 1936 г., когда для первого был официально введен искусственно созданный вариант *казах*, который незамедлительно укоренился в русском общенародном языке в качестве лексемы-термина. Негативная грамматическая корреляция по признаку словообразования и выражения женск. рода закрепила окончательное размежевание этих двух слов. Ср. *казак* — *казачка*, но *казах* — *казачка*; *казацкий/казачий* и *по-казацки/по-казачьи*, но *казахский* и *по-казахски*.

6.1. Итак, в основе выделения базовой ЛСГ, как оказалось, лежат три типа корреляции — семантическая, грамматическая и лексическая. Иными словами, эти три типа корреляции являются средствами системной организации ЛСГ; системность развития ЛСГ обнаружилась в строгом соблюдении всех трех типов корреляции.

Отношения фонетической корреляции выходят за пределы одной ЛСГ. Фонетическая корреляция и негативная грамматическая корреляция (полностью), лексическая и семантическая корреляции (частично) служат средствами системной организации терминологического микрополя тюркской этнонимии в русском языке. Исторически вариантность этнонимов преодолевалась также при строгом соблюдении фонетической и семантической корреляций, при негативном проявлении грамматической корреляции (четкое распределение различных словообразовательных форм, как и форм мн. числа, а также женск. рода, между вариантами, приобретающими статус самостоятельных слов).

6.2. Состав базовой ЛСГ исторически изменялся, явственно расширяясь в периоды активизации стихийных терминологических поисков, сопровождавших эволюцию отечественной тюркологии как специальной отрасли науки, и резко сужаясь при сознательно-организованном отборе этнонимов, завершившемся в целом в 1936 г.

В языке русской ученой книжности XVII—XVIII вв. преобладающим было употребление базового этнонима *татары*; пара *турки* — *тюрки*, хотя и входила в состав базовой ЛСГ, имела, однако, гораздо меньшую частотность, нежели *татары*. Терминологическая недифференцированность этого времени, доставшаяся отечественной науке от общенародного словоупотребления и поддерживаемая западноевропейской книжностью, вполне согласуется с тем, что с началом XVIII в. связывается зарождение научной тюркологии в России, а XVIII в. в целом считается периодом, когда «был заложен фундамент, на котором развивалась отечественная тюркология в следующем столетии»²⁴.

Терминологические поиски в изучаемой области особенно заметно активизируются в конце 20-х годов XIX в. в связи не только с расширением диапазона тюркологических исследований, но и с постановкой на научную основу преподавания тюркских языков, с введением преподавания их во все большее число русских учебных заведений. Начиная с этого времени в состав базовой ЛСГ входили: а) фонетико-семантические (синонимические) варианты *турки* — *тюрки*, которые использовались сначала чуть ли не на равных правах с базовым этнонимом *татары*, а впоследствии все более вытесняли его; б) такие неустоявшиеся термины,

²⁴ А. Н. Кононов, История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период, Л., 1972, стр. 94.

как окказиональная композита с дублетными вариантами *турко-татары* и *тюрко-татары*, соответственно более частотные *тюрецко-татарский* и *тюрк(ск)о-татарский*.

После официального упорядочения этнонимической терминологии в 1936 г. базовая ЛСГ насчитывает всего два члена: слово *тюрки* и композиту *татаро-монголы*, сохраняющую историческое значение. Слова *татары* и *турки* перешли в разряд конкретно-видовых этнонимов; композиты *тюрецко-татарский*, *тюрк(ск)о-татарский* вышли из употребления.

6.3. С конца XIX в. по 30-е годы XX в. в русском языке развилась омонимичность слова *тюрки* по причине совмещения в нем сем обобщающей и видовой («азербайджанец»). Утрата этим словом видовой семы связана с перемещениями внутри базовой ЛСГ и сказалась непосредственно на утверждении этнонима *азербайджанец* в качестве официального видового термина.

Столь же явным образом зависят от стабилизации видового этнонима *турки*, во-первых, положение слова *осман(ц)ы* (соответственно — *османский*) внутри изучаемого терминологического микрополя и, во-вторых, утверждение в качестве официальных этнонимов *туркмены*, *трухмены*.

6.4. Таким образом, если при исследовании путей изменения семантической структуры тюркских этнонимов в русском языке обратиться к сопоставлению их с тюркскими прототипами и их эволюцией в языке-источнике, то на первый план выдвигается вопрос о способах преодоления возникающей вариантности. При всей индивидуальности этих способов существуют некоторые комбинации факторов — как собственно языковых, так и экстралингвистических, которые обуславливают возобладание того или иного способа. Эти комбинации могут быть следующими:

1) Многозначность этнонима в языке-источнике и обобщающе-комплексное значение его в русском языке, при этом заимствование может быть однократным или многократным: а) единичное проникновение этнонима (*татары*) в русский язык при наличии немногих фонетических незначимых дублетных вариантов; б) неоднократные, одновременные заимствования с фонетико-семантическими вариантами (*турки* — *тюрки* и их исторические варианты).

2) Однозначность этнонима в момент заимствования в обоих языках при неодинаковых последующих условиях: а) сохранение этнонимом одного значения на всем протяжении его бытования в обоих языках (*азербайджан-*) вопреки существующим вариантам; б) консервация одного значения у этнонима в русском языке по причине перехода означаемого понятия в разряд историзмов в языке-источнике и возможность факультативного ответвления вариантов (*османский* — *оттоманский* и *оттоманка*); в) последующая семантическая эволюция прежде однозначного этнонима в связи с автономным развитием территориально обособленной части народа (северокавказские, или ставропольские, туркмены) при лексико-семантическом обособлении одного из русских вариантов (*трухмены*); г) независимое друг от друга развитие одного этнонима в языке-источнике и в русском языке при первоначальном отсутствии вариантов у заимствования (*казак*) и последующее закрепление искусственно созданного варианта (*казах*) в качестве самостоятельного термина.

Статус самостоятельных слов, а не вариантов сразу же приобретали двукратные заимствования одного слова, которые проникали в русский язык через устный и книжный каналы и которые соответственно закреплялись за принципиально разными сферами использования — просторечьем и книжным языком. Такие этимологически идентичные слова имеют

в русском языке различные значения и применения, а также существенно различаются по звуковому облику: книжное слово в наибольшей степени сохраняет фонетическую «неприкосновенность» заимствования, просторечное слово вмещает в себя все фонетические изменения, вызванные освоением его не только русской разговорной речью, но и тюркской диалектной средой (см.: *басурманин/бусурманин — мусульманин*).

6.5. Изучение способов преодоления вариантности, как и выделение намеченных комбинаций, было бы неосуществимо в пределах как плана истории отдельных слов, так и собственно внутренней лингвистики, при оперировании лишь вариантами изучаемых слов.

Теперь, когда изучение ориентализмов в русском языке считается одной из «сложных задач, до сих пор не получившей удовлетворительного решения»²⁵, все труднее становится признавать «единственным способом интерпретации слова или термина» метод этимологической гипотезы²⁶. Думается, что при системном подходе к рассмотрению ориентализмов по лексико-семантическим группам в дополнение к названному способу интерпретации необходимо применять методическое требование «сочетать историко-морфологический анализ слов с культурно-историческим изучением самих соответствующих предметов, явлений или понятий»²⁷, равно как и методику семантического сопоставления заимствований в русском языке и их прототипов в языке-источнике по возможности не только в синхронном, но и в диахроническом планах.

Без такого сопоставления в области истории слова как в заимствующем языке, так и в языке-источнике (герр. языке-передатчике), без комплексной обработки полученных сведений, без обращения к истории народов-носителей этих языков и к истории их материальной культуры бесплотными и отвлеченными окажутся исследования не только тюркских этнонимов, но и прочих тюркизмов и ориентализмов русского языка, равно как и заимствований из русского языка в языках народов СССР²⁸.

²⁵ Там же, стр. 252.

²⁶ Н. К. Дмитриев, О тюркских элементах русского словаря, в его кн.: «Строй тюркских языков», стр. 507, см. также стр. 505.

²⁷ В. В. Виноградов, Из истории слов, ВЯ, 1955, 5, стр. 104.

²⁸ Ср., например: Г. Ф. Б л а г о в а. Причуды заимствования, «Советская тюркология» (в печати).

В. И. МАКСИМОВ

О МЕТОДЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Хотя уже у М. В. Ломоносова, Н. Греча и А. Х. Востокова есть интересные наблюдения над составом слова и его изменениями, начало разработки метода морфологического анализа в русской лингвистической науке следует отнести к высказываниям Г. Павского, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, М. М. Покровского¹. Н. Крушевский был первым в русской лингвистике, кто четко сформулировал метод морфологического анализа, предусматривающий двойное сопоставление производных. Он указывал, что обособлению суффикса способствует: «1) Когда звуковой комплекс, к которому он присоединяется, находится в языке и без этого суффикса, но также и без того оттенка в значении, который сообщается этим суффиксом. Так, например, суффикс *-ик* слова *домик* обособляется хорошо... потому, что рядом имеется слово *дом* без этого суффикса... 2) Когда он находится в целом ряде слов, придавая постоянно один и тот же оттенок значению коренного комплекса звуков. Так, наш суффикс *-ик* можно найти в весьма многих словах, причем каждое из них имеет уменьшительно-ласкательный оттенок»².

А. М. Пешковский также был сторонником метода «двойного сопоставления» и немало способствовал продвижению его в практику морфологического анализа. Широко известны его слова: «В одном из этих рядов должна являться та же основа с другими формальными частями (вертикальный ряд нашей схемы), в другом — та же формальная часть с другими основами (горизонтальный ряд схемы)»³.

Таким образом, к 30—40-м годам в отечественной лингвистике определился метод морфологического анализа, заключающийся в сопоставлении производного слова с другими по вертикальному и горизонтальному ряду. Однако существовали причины, которые благоприятствовали если не произволу, то значительному разнобою морфологического анализа. Главные из них — в отсутствии теоретического разъяснения указанного метода и связанных с ним понятий, в неопределенности принципов и границ их применения, в неразграничении морфемного и словообразовательного анализа и особенно в крайней скудости конкретных исследований в данной области, в подчинении их зачастую лексикологическим целям. Между тем все ускоряющееся развитие науки о языке, понимание

¹ Г. П а в с к и й, Филологические наблюдения над составом русского слова, СПб., 1850, стр. 2, 3, 169, 170, 242; Ф. И. Б у с л а е в, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 92—94; А. А. П о т е б н я, Из записок по русской грамматике, I, М., 1958, стр. 21; М. М. П о к р о в с к и й, Материалы для исторической грамматики латинского языка, «Уч. зап. Московск. ун-та. Отдел историко-филологический», 25, 1889, стр. V, 52.

² Н. К р у ш е в с к и й, Очерки науки о языке, Казань, 1883, стр. 77. См. также: А. И. А н а с т а с и е в, Морфологический анализ слов, ФЗ, 1885, IV—V, стр. 29—30; ФЗ, 1887, III—IV, стр. 46; Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в, Избр. труды, I, М., 1956, стр. 147.

³ А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 45.

последнего как целостной системы, массовый наплыв в современные языки новообразований, постановка задач прикладной лингвистики (машинного перевода, регулирования терминотворчества и др.) создает предпосылки для углубленного изучения слова как образуемой единицы.

Попытка по-иному подойти к морфологическому анализу принадлежит дескриптивному направлению, выдвинувшему метод анализа по непосредственно-составляющим (НС). Н. А. Слюсарева положительными моментами этого метода считает то, что он «основан на понимании языка как системы», «связан с теорией модели в языке», «зигждется также на том, что единицы, выделяемые на любом уровне языковой системы, связаны друг с другом разнородными отношениями»⁴. Сюда же она относит отделение ударения при морфологическом анализе, хотя тесная связь ударения со словообразовательным типом и отдельными его компонентами не позволяет согласиться с раздельным его рассмотрением. Недостатками метода Н. А. Слюсарева считает неясность в вопросах о том, «возможно ли дальнейшее разложение слова..., в котором два компонента выделяются лишь на основе этимологических данных»⁵, все ли вычленяемые отрезки являются морфемами, а также невозможность анализа по НС слов с внутренней флексией, со скрытым морфем, соединительным гласным⁶, отсутствие четких критериев деления конструкции на две противостоящие части, определения границы между ними⁷. Серьезные упреки в адрес рассматриваемого метода делает Н. Д. Арутюнова: «Не способствует выделению релевантных моделей и метод деления слов на непосредственно-составляющие, широко применяемый дескриптивистами. Используя этот прием..., нельзя отделить элементы речи от элементов языка, нельзя провести грань между типами, активно функционирующими в современном словообразовании, и моделями, выпавшими из системы языка, но представленными рядами ранее созданных слов»⁸. «Метод непосредственно-составляющих не всегда способствует также определению словообразовательной структуры слова. Членение слова на морфемы уже совсем не обязательно совпадает с существующими нормами словообразования. На этой стадии синхрония перекрещивается с диахронией, словообразование с морфологическим составом слов»⁹. Все это делает построение системы словообразования практически невозможным.

Н. Д. Арутюнова и Е. С. Кубрякова считают, что простейшие значимые единицы «не всегда могут быть получены путем применения принципа непосредственно-составляющих»¹⁰. По их мнению, при анализе этим методом существительных типа *приход*, *подвоз*, *разъезд* получается искаженная картина их производства, так эти слова возникли не посредством прямого соединения морфем (*при + ход* и т. п.), а от приставочных глаголов *приходить*, *подвозить*, *разъезжать*. Не соглашаться с данным

⁴ Н. А. С л ю с а р е в а, Лингвистический анализ по непосредственно-составляющим, ВЯ, 1930, 6, стр. 100.

⁵ Там же, стр. 103.

⁶ См. там же, стр. 104.

⁷ См. там же, стр. 106. См. также: K. L. P i k e, *Taxem* and immediate constituents, «Language», 19, 2, 1943, стр. 76—81; R. W e l l s, *Immediate constituents*, в кн. «Readings in linguistics», ed. by M. Joos, Washington, 1957, стр. 187 и сл.; S. C h a t m a n, *Immediate constituents and expansion analysis*, «Word», 11, 3, 1955, стр. 378.

⁸ Н. Д. А р у т ю н о в а, Статьи Г. Мартаца по теории синхронного словообразования, ВЯ, 1959, 2, стр. 128.

⁹ Н. Д. А р у т ю н о в а, Очерки по словообразованию в современном испанском языке, М., 1961, стр. 23.

¹⁰ Н. Д. А р у т ю н о в а, Е. С. К у б р я к о в а, Морфология в трудах американских дескриптивистов, «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике», М., 1961, стр. 206.

мнением можно только в том случае, если толковать термин «морфема» не в дескриптивистском плане, а в традиционном и одновременно понимать под морфемой производящую основу.

Н. Д. Арутюнова и Е. С. Кубрякова указывают, кроме того, что «принцип установления морфемных сегментов в рамках стабильного окружения не препятствует выделению случайных отрезков, лишенных какой бы то ни было морфологической значимости»¹¹. Наконец, отмечается также, что «...анализу по НС подлежат только двучастные конструкции... Анализ по НС не может вскрыть словообразовательных отношений, созданных конверсией или преобразованием корневого элемента... Метод НС не всегда позволяет отличить отношения первичной производности и вторичной... Не поддаются решению при помощи анализа по НС и некоторые другие, более сложные типы производных»¹².

М. Д. Степанова, признавая, что производное слово, например *jüngerlingen*, может быть расчленено на НС тремя (!) способами (корень *jüng* + + деривационный суффикс, грамматический суффикс и флексия *-lingen*; корень, деривационный суффикс и грамматический суффикс — *jünglinge* + + флексия *-n*; корень и деривационный суффикс *jüngling* + грамматический суффикс и флексия *-en*), для устранения этой тройственности предлагает признать основным критерием выделения морфем особенности их значения и функции. Она считает целесообразным только способ деления слова на лексический и грамматический отрезки (основу и грамматическую часть, которая объединяет, по ее мнению, грамматический суффикс и окончание)¹³. Со стороны словообразовательной, однако, такой подход кажется сомнительным: деривационный суффикс всегда связан с определенной системой флексий; практически обычно анализируется не слово, а словоформа, в образовании которой участвует не только деривационный суффикс, но и грамматический. Кроме того, такой подход не решает вопроса о членении многоморфемных слов. Далее выдвигаются уже три других «основных» критерия членения основы по НС: «1) соответствие L_1 основе самостоятельно функционирующей единицы (слову); 2) соответствие L_2 функционирующей в языке словообразовательной модели; 3) соответствие в той или иной степени мотивированности слова его предметному значению»¹⁴ (L_2 — основа анализируемого слова, L_1 — первичная основа). Подобные рекомендации — это отход от собственно дескриптивного анализа, выясняющего лишь формальные отношения между морфемами¹⁵.

Таким образом, возможности морфологического анализа методом НС не дают оснований для противопоставления его как «современного», «точного», «устаревшему», «неточному» традиционному методу «двойного

¹¹ Там же, стр. 209.

¹² Е. С. Кубрякова, Что такое словообразование, М., 1965, стр. 55. Перечень словообразовательных отношений, не поддающихся анализу по НС, см. также в работах: П. А. Соболева, О трансформационном анализе словообразовательных отношений, «Трансформационный метод в структурной лингвистике», М., 1964, стр. 116; М. А. Кумаров, О соотношении морфемного строения слова и словообразования, ВЯ, 1963, 6, стр. 120.

¹³ М. Д. Степанова, Структура слова и анализ по непосредственно-составляющим, «Проблемы морфологического строя германских языков», М., 1963, стр. 17.

¹⁴ Там же, стр. 19.

¹⁵ О попытке применить методы дескриптивного анализа к материалу русского языка см. также: Эд. Ф. Оливерус, Морфемный анализ современного русского языка, Грана, 1967. Недостатки такого подхода вскрыты, например, в рецензии И. Г. Милославского, где, в частности, отмечается недоучет семантического фактора, излишнее оперирование нулевыми морфемами, неспособность раскрыть вариантность, рассмотрение таких суффиксов, как *-тель*, *-ец*, *-ак*, как алломорфов одной морфемы и др. (ВЯ, 1969, 3, стр. 135—136).

сопоставления»¹⁶, который на первой ступени морфологического анализа оказывается более приемлемым в смысле удобства применения и доказательной силы. По мере накопления фактов языка основные положения метода «двойного сопоставления», а также объект и принципы его применения могут уточняться и дополняться.

Как известно, подавляющее большинство слов восходит к другим словам, которые, выступая в виде производящих основ, сочетаются определенным образом с теми или иными словообразовательными элементами, следуя существующим в языке словообразовательным типам. Следовательно, обычно слова представляют в конечном счете типовые производные, словообразовательный анализ которых должен заключаться на первой стадии в нахождении их производящих слов (основ) и конкретных словообразовательных и формообразовательных элементов (в нашем случае — суффиксов и флексий), которые принимали участие в их создании, т. е. в нахождении непосредственно-составляющих эти производные. Идеальным представляется положение, при котором науке были бы известны все существующие и существовавшие словообразовательные типы и задача заключалась бы лишь в сопоставлении рассматриваемого производного с тем или иным типом. Однако русское словообразование только еще начинает исследоваться; структура слова с течением времени может изменяться и не соответствовать этимологической, сама словообразовательная система языка непрерывно развивается, обогащается новыми морфемами и типами.

Двойное сопоставление анализируемого слова по вертикальному и горизонтальному ряду является недостаточным. Суффиксальное производное слагается не из двух, а из трех компонентов: производящей основы, суффикса и окончания (возможно, нулевого). Для выделения каждого из них должен быть свой аспект, или ряд, сопоставлений.

С о п о с т а в л е н и е г р а м м а т и ч е с к и х ф о р м. Окончание (в том числе и нулевое) противопоставляется в плане информативности основе слова (в данном случае производной) как закрепитель или носитель только категориальных значений носителю вещественного и некоторых категориальных значений. Поэтому его вычленение — путем сопоставления между собой различных грамматических форм анализируемого слова — должно предшествовать анализу основы. Казалось бы, на это можно возразить следующее. При суффиксальном словопроизводстве флексии не выступают как самостоятельные элементы, а самым тесным образом связаны с предшествующим суффиксом и программируются им. Значит, как будто есть основания начинать словообразовательный анализ с выделения не окончания, а производящей основы и суффикса, но проводить сопоставление по горизонтальному ряду с производными, имеющими суффикс с той же системой флексий. Во многих случаях, когда выделение окончаний не представляет трудностей, этим и можно ограничиться. Однако бывают более трудные случаи, когда только сопоставление грамматических форм рассматриваемого слова выявляет границу между окончанием и предшествующим суффиксом. Так, например, понять, что элементы —*ий*, —*ей* в формах род. падежа мн. числа *судий*, *сыновей* представляют не окончания, а варианты суффикса —*й*-, помогает сравнение с ними других падежных форм (*судья*, *судьи*, *судью*, *судий*; *сыновья*, *сыновьям*, *сыновей* и т. д.). То же самое относится к прилагательным типа *птичий*, *овечий*. Слова *гнездо* и *депо* одинаково оканчиваются на —*о*, однако их парадигмика свидетельствует, что в первом примере —*о* является окон-

¹⁶ Ср.: Л. С. Бархударов. О некоторых структурных методах лингвистического исследования, «Ин. яз. в шк.», 1961, 1.

чанием, а во втором — конечным гласным основы. Вследствие этого есть смысл такое сопоставление грамматических форм ввести в словообразовательный анализ как обязательный элемент. Например: *скорость, скоростки, скоростью, скоростей*, где при сопоставлении выделяется основа *скорост'* и флексии, соответственно нулевая (орфографически -ь), -и, -ю, -ей.

Сопоставление с производящими словами. Если по отделении от слова флексии остается непроемкая с синхронной точки зрения основа, дальнейший словообразовательный анализ невозможен, например: *дорог-а, озер-о*. При наличии в слове производной основы последующий анализ должен идти по линии сопоставления его со словом, от которого оно образовано, — в целях выявления производящей основы. В этот ряд желательно включение также — при возможности — других производных с той же производящей основой. Это можно передать следующим образом: *Ба:Б, Бб, Бв, Бг* и т. д., где *Б* — производящее слово (или основа), а строчные буквы обозначают любые словообразовательные элементы. Сопоставление в этом плане отчасти практикует уже Пешковский, приводя к прилагательному *разговорчивый* мотивирующий глагол *разговор-ить-ся*, а также его личную форму *разговор-ю-сь*. Правда, Пешковский, считая, что в данном случае должна быть представлена «та же основа с другими формальными частями», указывает тут же и иные производные, содержащие общую первым двум словам часть: *разговор-ный, разговор-ились*. Однако последние здесь являются лишними, не способствующими избранному направлению анализа: прилагательное образовано не от глагольной, а от субстантивной производящей основы *разговор*, форма же прошедшего времени — от инфинитива, включающего еще дополнительные элементы — суффиксы -и, -сь. У Пешковского встречается весьма необычное понимание основы как общей, но не корневой части некоторых родственных образований.

По этой же причине нельзя сопоставлять анализируемое производное просто с родственными словами (близкими по звучанию и смыслу), как это часто делается¹⁷. Этот термин слишком широкий, он охватывает целое словообразовательное гнездо, куда входят производные не только с производящей основой, но и не имеющие к ней непосредственного отношения.

Нередко делается установка на сопоставление рассматриваемого слова с однокоренными производными. Такой подход в известной степени может быть оправдан лишь тогда, когда речь идет о простых по структуре образованиях, в которых корень является и производящей основой. Например, З. А. Потиха для доказательства того, что существительные *вазочка, стеночка, булочка, ласточка* не относятся к одному словообразовательному типу, предлагает подобрать однокоренные слова¹⁸. В существительных *вазочка* и *булочка* этот прием помогает выявить корни (*ваз-а, булк-а*), суффиксы (-очк-, -к-) и окончание (-а), потому что здесь корни являются и производящими основами. В существительном же *стеночка* при таком подходе (корень *стен-*) мог быть неправильно выделен суффикс -очк(а), ибо в данном случае корень не совпадает с производящей основой. Во избежание ошибки необходимо сопоставить производное *стеночка* не просто с однокоренными образованиями, а с производящим существительным *стенка*. Ориентация на подбор однокоренных производных мо-

¹⁷ Е. В. М а л и ш е в с к а я, К вопросу о морфологической структуре слова в современном английском языке, «Уч. зап. [ЛГУ]», 260. Серия филол. наук, 48, 1958, стр. 189.

¹⁸ З. А. П о т и х а, Современное русское словообразование, М., 1970, стр. 91.

жет привести к сопоставлению существительного *ласточка* с такими словами, как *ласт*, *ластик*, *ластиться*, не говоря уже о народных однокоренных образованиях *ластица*, *ластовка* и т. п.

Еще более расплывчатой представляется рекомендация выделять значимые части «посредством сопоставления тех слов, у которых имеется нечто общее как в значении, так и в звучании»¹⁹. С этих позиций можно было бы сопоставлять, например: *кора*, *корень*, *корзина*, *корица*, *короб*, *короста*, *корчага*, *корчить*, *корыто*, *коряга*, *корезиться*, хотя многие из этих лексем в словообразовательном отношении никакой связи друг с другом не имели и не имеют. Не помогает и уточнение, по которому «для исследуемого слова подыскивается то слово, которое в наименьшей степени проще его по форме и по смыслу»²⁰: сопоставим ли мы существительное *корчага* с глаголом *корчить* или с существительным *кора*, это роли не играет и никаких положительных результатов не дает и дать не может ввиду их явной словообразовательной несводимости.

Особый случай представляют производные, производящие слова которых не употребляются в свободном состоянии, например: *плотва*, *плотница*, *плотка*; *теленка*, *теленка*, *телята*, *теляца*, *теляк*, *теляши*, *телок*, *тельши* и др. Естественно, что при анализе таких производных сопоставление может идти не с производящими словами, а только со словами, непосредственно образованными от них, т. е. *Ба:Бл*, *Бе*, *Бг*.

Если производящая основа определена правильно, остаточный элемент в производном и должен быть тем слово- или формообразующим аффиксом, посредством которого создана анализируемая производная основа. Произведенное членение должно быть подтверждено данными еще одного ряда.

Сопоставление с одномоделными словами. Анализируя, например, существительное *бычятина*, образованное по модели «название животного + суффикс *-атин(а)* со значением мяса», следует выключать в третий ряд не существительные *дохлятина*, *свежати́на* и тем более не *пошлятина*, *серятина*, а *кобылятина*, *стервятинина*. Слова *дохлятина*, *свежати́на*, хотя и содержат суффикс *-ятин(а)* с тем же значением, однако образованы не от субстантивных производящих основ, а от адъективных (*дохлый*, *свежий*). Следовательно, в рамках общего словообразовательного типа они представляют иную модель. Слова *пошлятина*, *серятина* не только восходят к прилагательным (*пошлый*, *серый*), но и имеют суффикс *-ятин(а)* с иным, качественным значением. И лишь третий ряд производных соответствует по словообразовательной модели рассматриваемому существительному.

В древнерусском слове *рогатина* мы видим не отсубстантивное, а отадъективное образование (ср. *рогатый*), так как не существовало суффикса *-атин(а)* с конкретно-предметным значением. Поэтому слово *рогатина* следует сопоставлять не с указанными существительными на *-атин(а)*, а с иными производными — включающими суффикс *-ин(а)* и адъективные производящие основы: *вощина* «восковая ячейка в улье», *зеленина* «зеленый плод». Естественно, что в данный ряд не могут быть поставлены и отсубстантивные производные *дубина*, *личина* «палобник».

А. М. Пешковский предлагал включать в горизонтальный ряд ту же «формальную часть с другими основами». В этой рекомендации не указа-

¹⁹ В. Лопатин, И. Улуканов, О принципах словообразовательного анализа и классификации морфов, «Р. яз. в нац. шк.», 1969, 5, стр. 10. См. также: Э. А. Макаев, Е. С. Кубрякова, О предмете и задачах морфологии и ее месте среди других лингвистических дисциплин, «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1967, стр. 19—22.

²⁰ В. Лопатин, И. Улуканов, указ. соч., стр. 11—12.

на обязательность семантической общности «формальной части» словообразовательного элемента и не конкретизировано определение «другие» при термине «основы» (в лексическом или лексико-грамматическом плане? Если последнее, то это не согласуется с требованием лексико-грамматической общности производящих основ). Исходя только из указанной формулировки, можно сопоставлять слово *ноздревица* с производными *боярщина, женщина, псковщина, испошщина*, но это ничего не говорит о характере его образования, так как первые два исторически имеют суффикс *-ин(a)*, а последние два включают суффикс *-щин(a)* с другой семантикой, который хотя и сочетается с именами существительными, но иных лексико-семантических групп. Тот же недостаток кроется и в рекомендации «установить существование в языке... противопоставления: внутри словообразовательного ряда, объединенного одним общим деривационным элементом»²¹. Нельзя принять и рекомендацию выделять выделенность и наличие морфемы «с точки зрения функционирования в системе языка данной морфемы со сходным (почему не тождественным? — В. М.) значением или категориальной функцией»²².

Предпочтительнее говорить о сопоставлении анализируемого слова с одномоделными, а не с «одноструктурными», как нередко предлагается в специальных работах²³. Под структурой производного мы понимаем последовательное соотношение в нем производящих основ и словообразовательных (формообразовательных) элементов. Если ориентироваться при сопоставлении на одноструктурные производные, то при анализе, например, древнерусского производного *давленина* «мясо удавленного животного» нельзя включать в соответствующий ряд древнерусские же существительные *удавленина* в том же значении и *изъеденина*, ибо они имеют разную структуру. Ср.: (*давл+ен*) + *ин+а* и [(*у+давл*)+*ен*] + *ин+а*, [(*из+ѣд*) + *ен*] + *ин+а*. На самом же деле сопоставление здесь вполне возможно, так как все эти семантически однородные слова представляются на последнем этапе образования отрицательные производные с суффиксом *-ин(a)*: *давлен+ин+а, удавлен+ин+а, изъебен+ин+а*.

Не могут удовлетворить и многие другие рекомендации, касающиеся метода морфологического анализа, например: «Выделение различных морфем в слове..., а также определение их значений производится на основе сопоставления с другими словами (? — В. М.) и другими формами данного слова»²⁴; «Надо, чтобы выделяемые морфемы с тем же значением повторялись в других словах (? — В. М.) того же языка той же эпохи»²⁵.

Из сказанного очевидно, что мы не можем согласиться и с рекомендацией при членении слова исходить из наличия той или иной его части «с тем же значением в другом лингвистическом окружении»²⁶. Это слишком общая установка, не делающая различий: 1) в отношении противопоставленных компонентов производного: производящих основ и аффиксов; 2) в отношении специфики «лингвистического окружения» в том или ином ряду сопоставлений.

Учет при словообразовательном анализе имеющихся в языке моделей является своего рода «самоконтролем» произведенного членения и осу-

²¹ Е. С. Кубрякова, указ. соч., стр. 28.

²² А. С. Герд, Некоторые вопросы морфемного анализа имен существительных. «Проблемы синхронного изучения грамматического строя языка», М., 1965, стр. 56.

²³ З. А. Потица, указ. соч., стр. 91; Р. Г. Зятковская, Суффиксальная система современного английского языка, М., 1971, стр. 34.

²⁴ «Современный русский язык», М., 1952, стр. 35.

²⁵ А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1955, стр. 215.

²⁶ Е. С. Кубрякова, О типах морфологической членности слов, квазиморфах и маркерах, ВЯ, 1970, стр. 2, 80.

ществляется практически носителями языка. Так, ни у кого не возникает сомнения, что название одной ягоды — *земляничина* образовано от существительного *земляника* (а не от слов *земля*, *земляной*) посредством суффикса *-ин(а)*, имеющего значение единичности, потому что у каждого на памяти целый ряд аналогичных образований: *жемчужина* (*жемчуг*), *изюмина* (*изюм*). Если в языке отсутствует производящее слово или одномодельные образования, выделение аффиксов в анализируемом производном — за редким исключением — нельзя признать доказуемым. Только при нахождении материальных и функциональных элементов данного слова в других словах достигается объективность морфологического анализа.

Таким образом, метод трехаспектного сопоставления анализируемого образования: 1) с его грамматическими формами; 2) с производящим словом и производными от него; 3) с одномодельными словами — обеспечивает надежность членения производного на непосредственно-составляющие.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

М. В. СОФРОНОВ

ДЕШИФРОВКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТАНГУТСКОГО ЯЗЫКА

Первым тангутским текстом, который привлек внимание европейской науки, была секция шестизычной надписи внутри арки ворот Цзюй юн гуань в Великой китайской стене недалеко от Пекина. Исходя из предположения, что содержание каждой секции надписи одинаково, А. Уайли сравнил неизвестную надпись с остальными, язык которых был известен, и установил, что одна ее часть представляет собой связный текст, а другая — транскрипцию санскритского дхарани. Таков был результат первого исследования тангутского текста¹.

В конце прошлого века Г. Девериа обнаружил в Лянчжоу в храме Хуго сы еще одну надпись на том же языке с параллельным китайским текстом. В колофоне китайского перевода было указано, что основная надпись сделана на языке страны Сися — так по-китайски называлось погибшее в результате монгольского нашествия государство тангутов, которое в XI—XII вв. было одной из могущественных стран Центральной Азии².

Первый опыт дешифровки тангутского языка предпринял М. Морис после того, как в 1900 г. к нему попал тангутский вариант Сутры Золотого Лотоса³. М. Морис подтвердил предположение своих предшественников относительно иероглифической природы тангутского письма. Он показал, что каждый тангутский иероглиф передает одну определенную слоговую морфему тангутского языка и имеет постоянное чтение и значение. На основании параллельного китайского текста он раскрыл значения свыше двухсот иероглифов, указал 15 служебных морфем тангутского языка и открыл основные правила тангутского синтаксиса⁴.

До 1909 г. указанные тексты представляли собой основной источник сведений о тангутском языке. Над ними в Германии работали А. Бернгарди и Э. фон Цах, а в Китае — Ло Фу-чан⁵.

Надежда на дешифровку тангутской письменности появилась после того, как в 1906 г. П. К. Козлов обнаружил в так называемом мертвом городе Хара Хото захоронение с замурованной в нем библиотекой. Находка была доставлена в Азиатский музей Академии наук и до сих пор служит основным материалом для исследования тангутской проблемы.

¹ A. Wylie, On an ancient Buddhist inscription at Keu-yung-kwan, «Journal of the Royal Asiatic Society», new series, 1, 1870.

² G. Devéria, L'écriture du royaume de Si-Hia ou Tangout, «Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions», 1-ère série, XI, 1, Paris, 1898.

³ Подробнее об обстоятельствах, при которых эта книга попала в руки М. Мориса, см.: Е. И. Кычанов, Звучат лигь письма, М., 1965, стр. 18—19.

⁴ M. G. Morisse, Contribution préliminaire à l'étude de l'écriture et de la langue Si-hia, «Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions», 1-ère série, XI, 2, Paris, 1904.

⁵ A. Bernhardi, E. von Zsch, Einige Bemerkungen ueber Si-hia Schrift und Sprache, «Ostasiatische Zeitschrift», 3—4, 1919.

Современный период дешифровки тангутского языка начался после того, как А. И. Иванѳв опубликовал описание учебного пособия по китайскому языку для тангутов, носившее название «Перл на ладони»⁶. Все китайские слова здесь имели тангутский перевод и тангутскую транскрипцию, все тангутские — китайский перевод и китайскую транскрипцию. Кроме этого, в переплетах тангутских книг были обнаружены фрагменты тангутских текстов с тибетской транскрипцией. Появление этих транскрипций означало возможность не только раскрытия значений тангутских иероглифов, но также и определения их чтения.

Наибольший вклад в тангутские исследования в 20—30-х годах внес Н. А. Невский. Он начал с составления словаря тангутских иероглифов, куда поместил все знаки, дешифрованные до него и неустанно пополнял этот список. В результате его усилий было определено значение примерно трех с половиной тысяч знаков. С таким словарем уже можно было читать тангутские тексты.

После того как число дешифрованных тангутских иероглифов оказалось достаточным для понимания смысла текстов, стало очевидно, что между чтением текстов и дешифровкой тангутского языка существует еще значительное расстояние. От правил перевода, полученных на билингвах, нужно было перейти к реконструкции собственно грамматики, с помощью которой можно было бы читать оригинальные тексты, не имеющие китайских или тибетских переводов. Но даже создание грамматики не решало проблемы дешифровки языка: тангутский текст должен был звучать.

Вначале Н. А. Невский считал, что для дешифровки чтений тангутских иероглифов достаточно знания иноязычных транскрипций — китайских и тибетских. Однако прямых транскрипций оказалось в нем не так уже много — их имели немногим более пятисот иероглифов. И тогда для расширения количества знаков, имеющих иноязычные транскрипции, он решил воспользоваться тангутскими словарями, где особо выделялись группы знаков с одинаковым чтением.

Зная транскрипцию хотя бы одного знака в такой группе, ее можно автоматически распространить на остальные. Однако при этом выяснилось, что транскрипции распределены по группам неравномерно. Группы, содержащие часто встречающиеся знаки, имели много транскрипций, группы с редкими знаками — ни одной.

Одновременно выяснилось, что наличные транскрипции не дают достаточно точного представления о чтении иероглифов. Их общим недостатком является непоследовательность. Но дело не только в ней. Следует иметь в виду, что китайская письменность, с помощью которой сделана основная масса транскрипций, — тоже иероглифическая. Современные чтения китайских иероглифов известны, но чтения XII в. должны быть специально реконструированы. Их реконструкция усложняется тем, что чтение китайских иероглифов, использованных в транскрипции, было диалектным.

Тибетские транскрипции выполнены фонетической слоговой письменностью. В тибетской письменности отдельные знаки алфавита и их сочетания могли читаться по-разному в зависимости от диалекта и периода истории языка. Наши сведения об исторической фонетике и исторической диалектологии тибетского языка настолько скудны, что далеко не всегда можно быть уверенным в том, как читалась тибетская транскрипция во время ее создания.

⁶ A. I v a n o v, Zur Kenntniss der Hsia-Hsia Sprache, «Известия Академии наук», 1909.

К концу 30-х годов Н. А. Невский окончательно утвердился во мнении, что сами по себе иноязычные транскрипции не в состоянии стать основанием для дешифровки чтения тангутских иероглифов. Решение этой проблемы могло быть найдено только в результате тщательного исследования тангутских словарей. Он приступил к работе в новом направлении, но в 1938 г. его исследования прервались. Незавершенные труды были изданы в 1960 г. под названием «Тангутская филология». В 1962 г. его труд был посмертно отмечен Ленинской премией⁷.

В 1950 г. к исследованиям по фонетике тангутского языка приступил японский лингвист Т. Нисида. В его распоряжении находились только «Гомофоны» и иноязычные транскрипции. На основании этих весьма неполных данных он предпринял попытку построить строгую процедуру дешифровки чтения тангутских иероглифов. Эта попытка имеет важное принципиальное значение как первый опыт построения формальной процедуры, но она успеха не имела, потому что «Гомофоны» не содержали достаточной информации для дешифровки фонетики. Это было понятно и самому Т. Нисиде, который в свое первое исследование по тангутскому языку не включил раздел о фонетической дешифровке⁸.

После выхода в свет «Тангутской филологии» Т. Нисида воспользовался словарем Н. А. Невского, где иероглифы, встречающиеся в «Море письмен», имели пометы с указанием на принадлежность к рифме. На основании этих помет Т. Нисида реконструировал словарь, который и в таком виде был уже вполне пригоден для включения в процедуру фонетической дешифровки. Однако на основании помет в словаре воссоздать внутреннюю структуру рифм «Моря письмен», очень важную для фонетической реконструкции, оказалось невозможно. Естественно, что это оказало влияние на результаты дешифровки, опубликованные им в виде двухтомного «Исследования по тангутскому языку»⁹.

В Советском Союзе работа над дешифровкой фонетики тангутского языка возобновилась в начале 1962 г. Основная задача дешифровки состояла в изучении структуры тангутских словарей и разработке ее процедуры. Наиболее удобным внутренним источником дешифровки тангутской фонетики оказался словарь «Море письмен», построенный по хорошо известным образцам фонетических словарей китайского языка.

От китайских словарей такого типа «Море письмен» отличалось значительно большей систематичностью. Слоги тангутского языка в этом словаре были распределены по рифмам в соответствии с их вокалическими частями. Одинаковые слоги объединялись в группы, для которых указывалось чтение по фаньце. Дальнейшие его особенности уже отличаются от китайских фонетических словарей. Внутри каждой рифмы слоги делятся на медиальные классы, а в каждом медиальном классе они упорядочены в соответствии с начальной согласной. Иначе говоря, место в структуре «Моря письмен» представляет собой достаточно точное описание чтения каждого из иероглифов, содержащихся в словаре. Однако это описание немо: можно, например, сказать, что два слога различаются медиалью, но, не выходя за пределы «Моря письмен», невозможно сказать, какова эта медиаль. Для ее установления требуются внешние свидетельства о чтении тангутских иероглифов, т. е. иноязычные транскрипции.

⁷ Н. А. Невский, Тангутская филология, 1—2, М., 1960; Н. И. Конрад, О тангутском языке и тангутской письменности, ВЯ, 1961, 3, стр. 115 и сл.

⁸ Т. Нисида, Сика го то сика мондзи, сб. «Тюб Азия кодай го но бункэн», Токио, 1961.

⁹ Т. Нисида, Сика го но кэнкю, I — Токио, 1964, II — Токио, 1966. См. рец. на эту кн.: ВЯ, 1966, 4; «Народы Азии и Африки», 1968, 1.

По указанным выше причинам иноязычные транскрипции дают лишь общее представление о чтении тангутских иероглифов. Поэтому при исследовании транскрипции было введено понятие звукового типа чтения иероглифов, который строился на основании всех наличных транскрипций. Этого оказалось достаточно для того, чтобы интерпретировать фонетически четкую и последовательную классификацию тангутских слогов в «Море письмен», сделанную тангутскими филологами.

Принципиальная процедура фонетической дешифровки состояла в следующем: определение фонологических классов, различаемых во внутренних источниках реконструкции, а затем их фонетическая интерпретация с помощью иноязычных транскрипций. Фонетическая дешифровка была проведена в два этапа. На первом была проведена общая реконструкция, в результате которой было показано, какие звуки — гласные и согласные — существовали в тангутском языке, но еще не давалось чтение каждого тангутского иероглифа в отдельности¹⁰. На втором — частная реконструкция, в результате которой было дано чтение иероглифов, встречающихся в словарях, по отдельности. Без дешифровки остались те иероглифы, которые находились в несохранившихся частях текста словарей.

Основной процедурой лексической дешифровки тангутского языка или раскрытия значения тангутских иероглифов является сравнение тангутских текстов с параллельными китайскими или тибетскими текстами и установление соответствий между словами. С помощью этой процедуры было раскрыто значение большей части знаков тангутской письменности. Однако параллельные тексты не являются единственным источником наших сведений о значении тангутских иероглифов. В словаре «Море письмен» содержится подробное описание значения каждого иероглифа. Поэтому, когда количество расшифрованных знаков оказалось достаточным для чтения словарных толкований, появилась возможность воспользоваться результатами работы тангутских филологов. Многолетние труды исследователей тангутского языка над раскрытием значений тангутских иероглифов завершились публикацией перевода «Моря письмен» на русский язык, выполненного К. Б. Кепинг, В. С. Колоколовым, Е. И. Кычановым, А. П. Терентьевым-Катанским¹¹.

Грамматическая дешифровка тангутского языка находится в более трудном положении, потому что тангутские филологи не оставили описаний грамматики своего языка. Метод дешифровки грамматики остается в том же виде, в каком им пользовался М. Морис: сравнение контекстов, в которых встречается интересующее исследователя служебное слово, и выявление по параллельному тексту общего значения, которое соотносится со значением искомой лингвистической единицы.

Единицей тангутской письменности является письменный знак, условно называемый иероглифом, который обозначает одну морфему тангутского языка. Ввиду того, что большинство тангутских морфем состоит из одного слога, можно сказать, что каждый тангутский иероглиф передает на письме одну слоговую морфему.

Графическая структура тангутских иероглифов состоит из графических единиц тангутской письменности и способов их соединения. В основе ее лежат восемь элементарных графем, которые геометрически характеризуются непрерывностью и направленностью. Эти графемы тремя

¹⁰ М. В. Софронов, Е. И. Кычанов, Исследования по фонетике тангутского языка (Предварительное сообщение), М., 1963, стр. 3.

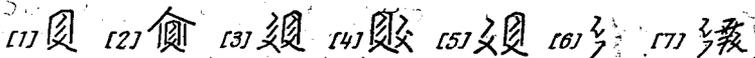
¹¹ «Море письмен». Факсимиле тангутских иероглифов. Перевод с тангутского, вступительные статьи и приложения К. Б. Кепинг, В. С. Колоколова, Е. И. Кычанова, А. П. Терентьева-Катанского, I—II, М., 1969.

способами — соположением, касанием, пересечением — соединяются в графические элементы, которые могут быть как целым иероглифом, так и его частью.

Графические элементы значимы. Значение иероглифа в целом представляет собой сумму значений графических элементов, которые в нем содержатся, т. е. по способу выражения значения тангутские письменные знаки представляют собой идеографы. Идеал идеографической письменности требует некоторого количества неавтономных графических элементов — носителей элементарных значений, — которые не могут употребляться самостоятельно, а выступают только как части иероглифов. Эти неавтономные графические элементы объединяются в автономные иероглифы, общее значение которых описано в терминах частных значений графических элементов.

Проблема набора неавтономных графических элементов — носителей элементарных значений — не могла, очевидно, быть успешно решена тангутскими филологами. Она не решена и в современной науке. Однако создатели тангутской письменности нашли остроумный выход из положения: они отказались от обязательной однозначности графических элементов своей письменности, а для того, чтобы семантическая структура иероглифа в каждом случае оставалась понятной, каждому иероглифу в «Море письмен» давалось пояснение, где указывалось значение каждого графического элемента в данном иероглифе. Это указание делалось в следующей форме: графический элемент X представляет собой часть иероглифа Y, т. е. графический элемент X выступает в данном иероглифе представителем значения иероглифа Y. Однако создатели тангутской письменности стремились по возможности сохранить постоянство значения хотя бы части графических элементов. Поэтому отношения графических элементов с тем значением, которое они представляют в составе иероглифов, довольно сложны.

По способу связи со значением графические элементы тангутской письменности делятся на два класса. Один из них характеризуется отсутствием постоянного значения: в каждом случае своего употребления графические элементы, входящие в его состав, представляют разные знаки тангутской письменности. Так, например, графический элемент [1] при автономном употреблении означает числительное «восемь». Однако его значение при неавтономном употреблении в составе иероглифов не имеет никакого отношения к указанному числительному. Согласно экспликации «Моря письмен», в иероглифе [2] «парча» тот же графический элемент [1] представляет иероглиф [3] «хороший», а в иероглифе [4] «свет» — [5] «освещение».



Графические элементы другого класса сохраняют постоянство своего значения. Согласно экспликациям «Моря письмен», они во всех случаях своего употребления представляют одни и те же иероглифы. Так, например, графический элемент [6] «вода» всегда представляет знак [7] «вода». Эти графические элементы в работах по тангутской письменности носят название «ключей» или «детерминативов»¹².

В тангутской письменности существует довольно значительная группа специальных транскрипционных знаков, которые не имеют собственного предметного значения. Эти знаки образуются двумя способами. Один из

¹² Е. И. Кычанов, К изучению структуры тангутской письменности, «Краткие сообщ. Института народов Азии АН СССР», 68, 1964, стр. 128.

них полностью соответствует китайскому способу создания иероглифов фонетической категории: к соответствующему по чтению знаку присоединяется ключ «звук», после чего новый знак становится транскрипционным иероглифом. Так создавались знаки для передачи тех слогов иностранных языков, которым имелись соответствия среди слогов тангутского языка. Для передачи слогов, отсутствующих в тангутском, прибегали к транскрипционным иероглифам, построенным по способу фаньце: один графический элемент описывал начальный согласный, другой — вокалическую часть искомого транскрипционного слога.

Некоторое количество знаков тангутской письменности, несомненно, относится к категории фонетической. По этому поводу существует полное согласие всех исследователей тангутской письменности, однако знаки фонетической категории до сих пор не выявлены и не исследованы.

При всей своей оригинальности тангутская письменность обнаруживает явные черты сходства на уровне графем с другими письменностями Дальнего Востока, прежде всего с киданьской. Э. Гринстед даже высказывает предположение, что создателями киданьского и тангутского письма были представители одного и того же рода Елюй¹³.

Для дешифровки чтений тангутских иероглифов имеются источники двух видов — внутренние и внешние. Внутренние источники — это описания фонетики тангутского языка, сделанные имплицитно в фонетических словарях тангутского языка «Море письмен» и «Гомофоны», внешние — это транскрипции тангутских иероглифов средствами китайской и тибетской письменности.

«Море письмен» был составлен в полном соответствии с китайской филологической традицией, поэтому к его исследованию можно было привлечь хорошо разработанную технику построения цепей первых и вторых знаков фаньце для выяснения соответственно консонантизма и вокализма языка, описанного методом фаньце и рифм в фонетическом словаре. «Гомофоны» представляют собой чисто тангутское изобретение. В отличие от «Моря письмен», в этом словаре слоги расположены по начальным согласным. К сожалению, принципы расположения группы внутри класса до сих пор остаются неясными. Поэтому значение «Гомофонов» для фонетической дешифровки состоит в том, что они представляют собой почти полный список знаков тангутской письменности. «Гомофоны» — единственный словарь, который дошел до нас в почти полной сохранности.

К концу XII в., когда составлялась китайская транскрипция тангутских иероглифов, китайская филология располагала вполне развитой техникой транскрипции иностранных языков. При передаче звучания иностранного слова оно делилось на части, которые по своей структуре соответствовали слогам китайского языка, а затем каждой такой части ставился в соответствие китайский слог. Такая транскрипция называлась однослоговой. В тех случаях, когда слог иностранного языка имел такую структуру, которая никак не соответствовала структуре китайского слога, прибегали к созданию транскрипционных биномов. Биномы эрхэ применялись в тех случаях, когда транскрибируемый слог начинался со стечения согласных, которые в китайском языке были невозможны. Биномы фаньце применялись в тех случаях, когда слог иностранного языка состоял из таких частей, которые не могли входить в состав одного слога китайского языка. Обычно при транскрипционных биномах имелось указание, к какому типу они относятся, однако особенностью китайских транскрипций «Перла в руке» было то, что такие указания отсутствовали.

¹³ E. Grinstead, *Analysis of the Tangut script*, Copenhagen, 1973, стр. 13.

Сложность ситуации усугублялась тем, что и тибетские транскрипции характеризуются весьма сложной орфографией. В тибетской письменности стечение согласных в начале слога может означать как реальный пучок в начале слога, так и видоизменение в произношении начального согласного слога или его тона. Поэтому одной из первых проблем дешифровки тангутского консонантизма была проблема структуры слога, а именно выяснение вопроса о том, сколько согласных может находиться в его начале.

С. Вольфенден и Т. Нисида рассматривали эти биномы как эрхэ, отчего в их реконструкциях появились слоги со стечениями двух начальных согласных в начале слога¹⁴. А. А. Драгунов подходил к биномам более осторожно. Он указал, что к биномам эрхэ можно отнести с уверенностью лишь один из классов таких биномов. Решение этой проблемы в целом возможно было лишь в результате интерпретации биномов с точки зрения данных внутренних источников.

Для ее решения пришлось обратиться к классам начальных согласных, реконструируемым по цепям первых знаков фаньце. Если цепь первых знаков фаньце описывает консонантизм слогов с единственным начальным согласным, то и все слоги, описываемые этой цепью первых знаков фаньце, транскрибируются с помощью одиночных транскрипций или биномов типа фаньце. Если же цепь первых знаков фаньце описывает консонантизм слогов со стечением двух начальных согласных, все слоги, описанные с помощью этой цепи фаньце, транскрибируются только биномами типа эрхэ. В результате обнаружилось, что биномы китайской транскрипции, исключая один класс, отмеченный А. А. Драгуновым, относятся к классу фаньце. Биномы эрхэ описывают не стечение начальных согласных, а полуносовые аффрикаты *ndz* и *ndź*, которые не имели соответствий в китайском языке, отчего в китайской транскрипции рассматривались как стечения двух согласных¹⁵. Таким образом, китайские транскрипции свидетельствовали об отсутствии в тангутском языке стечений согласных в начале слога. Однако решающим обстоятельством при исследовании проблемы стечения согласных в начале тангутского слога явилось установление того, что для каждого из циклов тангутских рифм существовали свои особые цепи первых знаков фаньце. Отсюда следовал парадоксальный вывод, что различие между слогами различных циклов тангутских рифм находится не в области вокализма, а в области консонантизма. Тибетская транскрипция тангутских слогов одного из циклов регулярно содержит надписной *r*-. Таким образом, стало очевидно, что разделение рифм на циклы связано с наличием в слогах соответствующих стечений начальных согласных различного типа, один из которых отражен в тибетской транскрипции. Первый или большой цикл образовывали слоги с одним начальным согласным, а последующие малые — слоги со стечением начальных согласных. Первый элемент стечения начальных согласных в слогах второго цикла совершенно не отражен в китайской и слабо отражен в тибетской транскрипции: лишь некоторые глоссы в последней позволяют считать, что этим согласным был *h*-. О первом элементе стечения согласных слогов последнего цикла не известно ничего.

Дешифровка тангутского вокализма также началась с проблемы количества гласных. В «Море письмен» слоги тангутского языка распо-

¹⁴ S. Wolfenden, On the Tibetan transcription of Si-hia words, «Journal of the Royal Asiatic Society», I, 1931; e г о ж е, On the prefixes and consonantal finals of Si-hia and their Chinese and Tibetan transcription, «Journal of the Royal Asiatic Society», IV, 1934; Т. Н и с и д а, Сика го но кэнкю, I, стр. 149.

¹⁵ А. Д р а г у н о в, Binoms of the type ni-tsu in the Tangut-Chinese dictionary, «Доклады АН СССР», серия В, 8, 1929.

ложены по 105 рифмам. Теоретически это означает, что и число различных вокалических частей слогов должно составлять 105. Вокалические части слогов могут различаться между собой тремя элементами: слогаобразующим гласным, конечным согласным, медиалью, тоном. Последние два признака трактовались в словаре таким образом, что не могли повлиять на количество рифм, поэтому оно могло зависеть только от числа слогаобразующих гласных и конечных согласных. Судя по иноязычным транскрипциям, значение конечных гласных как средства различения тангутских рифм было невелико: только в двух рифмах можно было говорить с уверенностью о наличии конечного согласного *-n*. Следовательно, тангутские рифмы могли различаться между собой только медиалью и слогаобразующим гласным.

Исследование тангутского вокализма привело к мысли, что последовательность рифм в «Море письмен» не случайна. В ней четко выделялись группы рифм, иноязычные транскрипции которых принадлежали одному и тому же звуковому типу. Последовательность рифм «Моря письмен» начиналась со звукового типа U, затем переходила к звуковыми типам E, A, Ə, O. Во всей последовательности рифм «Моря письмен» этот ряд повторяется трижды полностью и один раз частично. Границы отрезков, содержащих полные наборы звуковых типов, совпали с границами классов рифм, содержащих слоги с различными степенями начальных согласных. Это означало, что четыре цикла вокалических частей тангутского языка соответствуют четырем типам слогов, различающихся между собой по характеру начального согласного, но не вокалическими частями.

Так появилась возможность утверждать, что максимальный набор единиц тангутского вокализма содержится в первых 58 рифмах «Моря письмен», составляющих первый цикл. Дальнейшее изучение структуры групп рифм, характеризующихся одинаковым звуковым типом в иноязычных транскрипциях, показало, что некоторые рифмы могли различаться между собой только при условии, что, помимо установленных, существовали еще какие-то элементы вокалической части. Этими элементами могли быть только конечные согласные, о существовании которых предупредил Дж. Клосон еще в начале 60-х годов¹⁶.

Однако, как известно, иноязычные транскрипции тангутского языка не указывают на существование конечных согласных в тангутском слоге. Это расхождение между иноязычными транскрипциями и описанием фонетики тангутского языка в «Море письмен» означает, что словарь и транскрипции отражают два разных состояния языка: они могут быть разными диалектами, но могут быть и разными историческими состояниями. Наиболее вероятным представляется последнее предположение. Как известно, тангутская письменность была введена в действие в 1038 г. Трудно представить себе введение письменности без списка иероглифов, поэтому первый список тангутских иероглифов (скорее всего, это был просто первый тангутский словарь) был составлен в первой четверти XI в. Имеются веские основания считать, что «Море письмен» либо представляет собой первый словарь тангутских иероглифов, либо непосредственно восходит к нему¹⁷. Между составлением первого словаря и иноязычными транскрипциями, относящимися к концу XII в. прошло почти два столетия, за которые фонетика тангутского языка могла претерпеть значительные изменения.

¹⁶ G. Clason, The future of Tangut (Hsi-Hsia) studies, «Asia Major», new series, XI, 1, 1964, стр. 55.

¹⁷ М. В. Софронов, Некоторые проблемы тангутской филологии, «Народы Азии и Африки», 1971, 4, стр. 119—123.

Таким образом, наличные материалы дают возможность дешифровать два исторических состояния фонетики тангутского языка — начало XI и конец XII в. Дешифровка фонетики тангутского языка конца XII в. в основном завершена. Дешифровка предшествующего состояния проведена лишь частично из-за отсутствия иноязычных транскрипций, которые можно было бы бесспорно отнести к этому времени. Главным источником сведений о фонетике тангутского языка этого времени является «Море письмен». Тангутский консонантизм XI в. был значительно богаче консонантизма XII в. Наряду с глухими придыхательными и непридыхательными смычными и аффрикатами существовали звонкие придыхательные и непридыхательные смычные и аффрикаты, наряду с глухими щелевыми существовали звонкие щелевые. В начале слога могли находиться как простые гласные, так и их стечения, первым элементом которых были *h*-, *r*- и неизвестный согласный, который послужил основанием для выделения четвертого цикла рифм. В конце слога могло находиться не менее четырех конечных согласных, из которых три были смычными *-p*, *-t*, *-k*¹⁸. Исследование сложной медиальной структуры тангутской фонетики только начинается, однако уже сейчас можно сказать, что сонантные глайды типа *-j*- и *-w*- не были единственными медиалами в тангутском языке этого времени. Имеются веские основания считать, что существовали и другие сонантные медиалы, о которых имеются прямые указания в «Море письмен». Однако, к сожалению, мы не располагаем никакими данными — ни транскрипционными, ни сравнительно-историческими — для их интерпретации.

Проблема тонов тангутского языка остается наиболее сложной областью фонетической дешифровки. О наличии тона в тангутском языке свидетельствуют «Море письмен» и фонетические таблицы. Однако «Море письмен» делит все слоги тангутского языка на два тональных класса — ровный и восходящий, а предисловие к фонетическим таблицам называет четыре тона по китайской традиционной номенклатуре. Единственным внутренним источником, где теория четырех тонов проведена последовательно, является так называемый рукописный словарь без названия, сохранившийся лишь в фрагментах.

Одни и те же тангутские слоги трактуются как принадлежащие к разным тональным классам в «Море письмен» и в словаре без названия. При этом в трактовках налицо следующая закономерность — слоги, которые словарь без названия относит к уходящему тону, в «Море письмен» относятся к ровному, а слоги, которые он относит к входящему, в «Море письмен» относятся к восходящему. Это означает, что рукописный словарь без названия расщепляет каждый тон «Моря письмен» на два. Независимо от того, являются ли тонемы, перечисляемые в рукописном словаре без названия и в предисловии к фонетическим таблицам, самостоятельными или они представляют собой варианты тонем, основа расщепления тонов ясна. Для синтетических языков вообще характерна связь между начальным согласным слога и регистром его произношения: слоги с глухими начальными согласными произносятся в высоком регистре, а слоги со звонкими начальными согласными — в низком. Тангутский язык не мог быть исключением. Две трактовки тонов в тангутской филологии свидетельствуют о наличии звонких согласных в определенный период истории тангутского языка.

Дешифровка грамматики тангутского языка, несмотря на практически неограниченные возможности привлечения параллельных текстов на китайском языке, развивалась значительно более медленными темпами по сравнению с дешифровкой его фонетики. Как уже указывалось выше,

¹⁸ М. В. Софронов, Грамматика тангутского языка, I, М., 1968, стр. 90—92.

первые исследователи тангутского языка стремились прежде всего к созданию правил перевода. Первой попыткой создания систематической грамматики тангутского языка было исследование Т. Нисиды¹⁹.

Тангутский текст представляет собой последовательность знаков с одинаковыми расстояниями между ними. Такой способ записи текстов не дает никакого представления о группировке слоговых морфем тангутского языка в единицы более высоких порядков — слова и предложения. Поэтому, даже после того, как было установлено значение тангутской слоговой морфемы по параллельному тексту, всегда оставался открытым вопрос, к какому типу ее следует отнести — к знаменательному или служебному. Этот вопрос был вполне ясным при дешифровке морфем с различным предметным значением, но был значительно менее ясен при дешифровке морфем с другими, более абстрактными, значениями. Например, если некоторая морфема тангутского языка регулярно передается в параллельных текстах с помощью глагола «мочь», то чему она соответствует — модальному глаголу или специальной модальной форме глагола? Аналогичные проблемы возникали при дешифровке любой служебной морфемы тангутского языка. Содержательный метод грамматической дешифровки, которого придерживались первые исследователи тангутского языка, не ставил этого вопроса — для него было достаточно того, что некоторая тангутская морфема обозначала возможность.

Благодаря усилиям первых исследователей тангутского языка и специальным пометам для служебных слов в тангутских словарях, в настоящее время известны все или почти все служебные морфемы тангутского языка. Поэтому в центре внимания исследователей тангутской грамматики находится изучение не только содержательных, но и дистрибутивных свойств тангутских морфем.

Служебные морфемы тангутского языка определенным образом ориентированы относительно соответствующей знаменательной морфемы. Те из них, которые стоят перед знаменательной морфемой, представляют собой префиксы, а те, которые стоят после, — суффиксы, при условии, если между ними не может быть поставлена какая-либо знаменательная морфема.

Наиболее яркой грамматической характеристикой тангутского языка является твердый порядок слов в предложении. Порядок слов тангутского предложения является общим для большинства сино-тибетских языков: подлежащее, дополнение, сказуемое. Определительные отношения также могут создаваться лишь порядком слов. Определение к существительному, выраженное существительным, стоит перед определяемым, определение, выраженное прилагательным — после определяемого. Определение к глаголу, также стоит перед глаголом, независимо от того, выражено оно наречием или прилагательным.

Наряду с грамматически значимым порядком слов в тангутском языке имеется весьма сложная грамматика. Тангутские существительные обозначают не единичный предмет, а совокупность предметов, имеющих соответствующее название. Такой способ именованья отразился на особенности категории числа в тангутском языке: здесь имеется форма множественного числа для существительных, обозначающих лиц, но остальные существительные такой формы не имеют. В тангутском языке имеется система падежей, пространственные отношения между словами передаются с помощью послелогов.

Глагольная морфема тангутского языка, подобно именной, характеризуется такой же обобщенностью значения. Она может обозначать процесс,

¹⁹ Т. Н и с и д а, Сика го то сика мондзи, стр. 418 и сл.

протекающий в любом временном плане, связанный с любым количеством объектов и субъектов действия. Указания на соотношенность действия глагольной морфемы с временным планом, субъектом или объектом могут быть осуществлены с помощью специального грамматического оформления или контекста. Глагол тангутского языка представляет собой наиболее сложную и богатую формами грамматическую категорию тангутского языка. Среди глагольных форм имеются формы времени, вида, залога, наклонения²⁰.

Тангутское прилагательное обозначает признак, который подобно признаку, обозначаемому глаголом, может изменяться во времени. Поэтому тангутское прилагательное вполне может сочетаться с грамматическими показателями времени, вида, залога, наклонения. Особым отличием прилагательных от глагола является наличие элатива — единственной степени сравнения, означающей высшую степень проявления признака по сравнению с положительной.

В тангутском языке различаются три типа наречий. Качественные наречия представляют собой прилагательные, выступающие в функции наречия. Количественные наречия образуются с помощью специального суффикса и являются тем самым производными. обстоятельственные наречия, вероятно, представляют собой наречия в узком смысле слова; по своему значению они делятся на временные и пространственные.

Тангутские числительные построены по десятичной системе: ti^1 «один», ni^1 «два», so^1 «три», ldi^1 «четыре», $ngwa^1$ «пять», $tshieu^1$ «шесть», $siwa^1$ «семь», $\cdot i a^1$ «восемь», ngi^1 «девять», $\cdot a^2$ «десять». Имеются специальные морфемы для обозначения первых чисел пяти десятичных разрядов: $10^0 ti^1$, $10^1 \cdot a^2$, $10^2 \cdot i e^2$, $10^3 tu^1$, $10^4 kku^2$.

Определение места тангутского языка среди других языков мира представляет собой весьма сложную задачу как по причине недостаточной изученности фонетики и особенно морфологии самого тангутского языка, так и изученности языков Дальнего Востока, с которыми тангутский язык имеет родственные связи. Первым сравнительным исследованием тангутского языка было исследование Б. Лауфера, которое опиралось на раннюю публикацию А. И. Ивановым транскрипций «Перла на ладони»²¹. Несмотря на большие недостатки исходного материала, В. Лауфер определил его принадлежность сино-тибетским языкам и поместил его в группу вместе с языками лоло и мосо. Однако при нынешнем уровне наших знаний о языках лоло (ицзу) и мосо (наси) можно сказать, что тангутский язык вряд ли стоит считать принадлежащим этой группе. Морфологические соображения побуждают к поискам родственных связей тангутского языка среди языков чян и джарунг, которые, к сожалению, изучены неудовлетворительно. Поэтому сравнительно-историческое изучение тангутского языка представляется делом будущего.

²⁰ К. В. К е r p i n g, A category of aspect in Tangut, «Acta orientalia», Copenhagen, XXXIII, 1971.

²¹ В. L a u f e r, The Si-hia language. A study in Indo-Chinese philology, «T'ung Pao», 2-me série, XVII, 1916.

РЕЦЕНЗИИ

В. А. Звегинцев. Язык и лингвистическая теория. — М., изд-во МГУ, 1973. 248 стр.

Рецензируемая книга — сборник статей, которые уже публиковались автором ранее. В настоящем издании автор попытался лишь «заострить» те положения, которые ему казались особо актуальными.

Появление рецензируемой книги В. А. Звегинцева не может не вызвать удивления. Как известно, ее автор — филолог, доктор филологических наук, однако вся его книга резко направлена против филологии, против исторического языкознания, против сравнительно-исторического метода, против самого принципа историзма в науке о языке.

Задачи, которые ставит перед собой В. А. Звегинцев, весьма обширны и ответственны. Вслед за Н. Хомским он стремится разъяснить «лингвистические теории самого большого масштаба» (стр. 35)¹, сделать «решительный шаг в сторону построения крупномасштабной лингвистической теории» (55), нигде, впрочем, не разъясняя, что все это означает. Забегая несколько вперед, замечу: автор не дает никаких определений терминов и понятий, которыми он постоянно оперирует, хотя резко обвиняет чуть ли не всех своих предшественников в том, что они не занимаются дефинициями терминов. Присмотримся, однако, пристальнее, что же такое эта «крупномасштабная лингвистическая теория».

Вся книга В. А. Звегинцева строится как пересказ других книг, статей, публикаций, выступлений. В этот пересказ автор вставляет свои замечания. Цитаты из работ других авторов в книге занимают целые страницы. Подробно пересказываются даже такие публикации, авторы которых некоторыми рецензентами признаются «беспопомощными и даже невежественными» (144).

В книге В. А. Звегинцева не может не поразить и не удивить полное отрицание достижений советского языкознания. Больше того. По мнению автора, советское языкознание вообще не существует. Он так и пишет с иронией: «Или в распоряжении советского языкознания есть своя специальная лингвистическая теория,

свой метод анализа и исследования языка? Так где же они, какие конкретно книги и работы содержат их описание?» (125). До этого отрицательного заключения, сделанного в форме вопросов, В. А. Звегинцев как бы спрашивает читателя: каким методом должны пользоваться советские лингвисты? Вновь поставив ряд «коварных вопросов», автор спрашивает читателя: быть может, советские лингвисты должны прибегать к любому методу исследования «лишь бы в нем был представлен человек и идеология»? (124). В. А. Звегинцеву все это кажется смешным и даже возмутительным.

По моему же глубокому убеждению именно с помощью такого метода советские лингвисты добились немалых и несомненных успехов в общей теории языка. Методы могут быть действительно разными (синхронным, историческим, сравнительно-историческим, сопоставительным, структурным и пр.), но все они должны быть связаны — прямо или косвенно — с человеком и его идеологией. То, над чем иронизирует В. А. Звегинцев, в состоянии стать предметом иронии лишь в устах исследователя, для которого язык не имеет никакого отношения ни к человеку, ни к обществу, ни к культуре общества, ни к идеологии людей, говорящих на данном языке. Как бы ни были сложны отношения между человеком, его идеологией и его языком (они действительно сложны), подобные взаимоотношения, сами по себе бесспорные, должны быть предметом пристального научного изучения. В рецензируемой же книге все это просто высмеивается.

Что касается второго «коварного вопроса» В. А. Звегинцева («какие конкретно книги и работы» содержат обоснование особенностей советского языкознания), то напомним, что таких книг и статей у нас очень много. Сошлюсь здесь хотя бы на свою работу «Общее языкознание в СССР за 50 лет» (с библиографией), опубликованную к знаменательной дате². И подобных обзоров имеется много.

¹ В дальнейшем цифры в скобках — страницы рецензируемой книги.

² ФН, 1967, 5, стр. 27—41. См. также мою кн. «Язык, история и современность», М., 1971, стр. 1—108.

Я уже не говорю о том, что в серьезных монографиях, посвященных более специальным проблемам, часто содержится убедительное обоснование того метода изучения «языка и человека», над которым иронизирует на протяжении всей своей книги В. А. Звегинцев.

Разумеется — подчеркну это еще раз — взаимоотношения между языком и идеологией нельзя упрощать, они всегда были и остаются сложными, нередко противоречивыми. И все же нет никаких оснований высмеивать проблему «язык и идеология» (вслед за советскими лингвистами этой проблемой в наше время стали интересоваться во всем мире), тем более — иронизировать над проблемой методологии лингвистического исследования, над тем, как истолковывается природа языка, его важнейшие функции и категории. В рецензируемой же книге все это совершенно открыто высмеивается (111).

На мой взгляд, В. А. Звегинцев очень неясно и сбивчиво излагает соотношение теории и метода в науке о языке. То метод оказывается врагом теории, то теория выступает как антагонист метода. Эмпирическая лингвистика — во власти метода, рационалистическая лингвистика — во власти теории (70). С одной стороны, автор определяет теорию «как систему гипотез, проверяемых и корректируемых практикой» (38), а с другой — теория оказывается как бы выше всякой практики, она сама определяет практику. Поэтому В. А. Звегинцев иронически оценивает совершенно правильное положение одного из исследователей, согласно которому «при любой степени абстракции языковед остается языковедом только в том случае, если он не отрывается от реальных свойств языка во всей их сложности и противоречивости» (103).

Вслед за Н. Хомским В. А. Звегинцев убежден, что вся современная лингвистика делится на два лагеря: на лагерь эмпиристов и лагерь рационалистов (60—61). Эмпиристы иначе именуются механистами, а рационалисты — менталистами, сторонниками так называемой глобальной теории (73). Эмпиристы не интересуются теорией, им достаточен метод, рационалисты, наоборот, все во власти теории, однако пренебрежительно относятся к методу. Подобное противопоставление представляется мне поверхностным и случайным по целому ряду причин: во-первых, при таком понимании противоположных направлений в науке на задний план отодвигается центральный вопрос — какую теорию защищают рационалисты (материалистическую или идеалистическую); во-вторых, в тени остается и другой важнейший вопрос, тесно связанный с первым — как с помощью своей теории рационалисты изучают конкретные (реальные) языки. Дело в том, что лингвистика нуждается не в теории вообще, как думает В. А. Зве-

гинцев, а в теории, помогающей понять природу языка, его функции и категории, в теории, способствующей лучшему осмыслению прежде всего естественных языков народов мира во всей их сложности, во всем их многообразии. Все остальные задачи теории вторичны и обусловлены первыми целями.

Не допуская даже мысли о существовании материалистических и идеалистических теорий в языкознании, как и во всякой другой гуманитарной науке, В. А. Звегинцев вполне последовательно иронизирует над понятиями субстанции и материальности в науке о языке. Он осуждает лингвистов «сугубо субстанциональной ориентации» (40), а о теории Л. Ельмслева замечает: «...сказать, что лингвистическая теория Л. Ельмслева не выдержала эмпирического испытания на пригодность, — еще фактически ничего не сказать» (41).

Еще удивительнее, как изображает В. А. Звегинцев историю языкознания. Положительно оценивается лишь творчество В. Гумбольдта. Все остальные лингвисты до Н. Хомского, оказывается, ничего не стоят. Целая гамма самых бранных эпитетов направляется по адресу младограмматиков. Читателю сообщается, что у младограмматиков «бульдожья хватка» (6), что они преклонялись перед языковыми фактами, а потому не понимали теории (недопустимое противопоставление теории и фактов), что младограмматизм, оказывается, был густопсовым (126) и т. д.

Все эти заявления совершенно безответственны. Младограмматизм — это отнюдь не однородное направление во всемирном языкознании конца прошлого и начала текущего столетия. Среди младограмматиков были выдающиеся ученые, которыми может и должна гордиться мировая наука. Достаточно назвать здесь имена русских ученых — академиков А. А. Шахматова и Ф. Ф. Фортунатова, имена немецких ученых Г. Пауля и К. Бругмана, имена французских ученых М. Бреалья и А. Мейе, — все они, как и многие другие, были прямо или косвенно связаны с движением младограмматиков. Их перу принадлежат капитальные, ценнейшие работы, знакомство с которыми совершенно обязательно для каждого серьезного лингвиста. И все это отнесено в рецензируемой книге к «густопсовому младограмматизму». Такие заявления не имеют никакого отношения к науке.

В. А. Звегинцев даже не подозревает, что младограмматики широко пользовались опытами формализации языка. Их приемы строгого морфологического анализа далеко продвинули вперед науку о языке по направлению к той самой точности, о которой мечтают многие современные лингвисты. Без младограмматиков была бы совершенно невозможна ма-

тематическая лингвистика наших дней. Всего этого, увы, совершенно не понимает автор.

Историю и теорию современной науки недопустимо строить путем полного отрицания предшествующей науки. Подобное отрицание особенно удивительно. У автора, который сам является составителем хрестоматии по истории лингвистических учений. Еще удивительнее то, что составитель включил в свою хрестоматию исследование таких ученых, оценить которые он так и не сумел. Как и у Н. Хомского, у В. А. Звегинцева существует лишь одна формула — «все языковеды, от В. Гумбольдта до Н. Хомского» (233), формула, которая в действительности им же сводится к одному Н. Хомскому. Все остальные ученые относятся к *quantité négligeable*. В таком ракурсе неудивительно, что все историческое языкознание с его огромными и совершенно бесспорными достижениями, оценивается лишь как движение науки вспять (129).

Необходимо с полной ответственностью заявить, что история советского языкознания дана в рецензируемой книге в кривом зеркале. «Стоит вспомнить, в каком теоретическом вакууме оказались советские лингвисты, — заявляет В. А. Звегинцев, — когда у них из-под ног (? — Р. Б.) было выбито „новое учение“ о языке Н. Я. Марра, — у них в распоряжении не оказалось никакого теоретического оружия...» (126). Это, разумеется, совершенно неверно. Советские языковеды всегда опирались и опираются на марксистско-ленинское понимание законов развития и функционирования всех общественных явлений, в том числе и языка. У советских языковедов всегда было такое оружие, как ценнейшее филологическое наследие, представленное именами крупнейших русских и советских филологов, выдающихся зарубежных ученых.

Не менее важно и другое. В. А. Звегинцев изображает историю нашей науки так, будто бы до 1950 г. она развивалась целиком и только под воздействием Н. Я. Марра. Но всякому осведомленному человеку известно, что это совсем не так. Можно назвать имена многих советских лингвистов, которые успешно обосновывали теорию советского языкознания в двадцатые, тридцатые и сороковые годы совершенно независимо от Н. Я. Марра, а иногда и в борьбе с ним. Назову здесь, например, теорию литературных и национальных языков, которая блестяще развивалась у нас в тридцатые и сороковые годы такими лингвистами и филологами, как Л. В. Щерба, Л. П. Якубинский, Б. А. Ларин, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, А. И. Смирницкий и многими другими (здесь упоминаются имена лишь умерших ученых). Назову здесь лексикологию и семасиологию, в области которых советские ученые уже давно сделали очень

много. Перечень подобных примеров можно легко продолжить, в частности, из области фонологии и диалектологии, из области синхронного и, особенно, исторического синтаксиса, из области стилистики и языка писателя, из области теоретической лексикографии. В 1923 г. Л. П. Якубинский, один из первых, начал изучение теории разговорной речи³, а позднее она стала предметом тщательного исследования во всем мире. Я уже не говорю об общих проблемах социологии языка, где приоритет и заслуги советских филологов совершенно бесспорны.

В. А. Звегинцев говорит об академике Н. Я. Марре так, как будто бы это был разбойник с большой дороги. Я не знаю, быть может, В. А. Звегинцев (с его пренебрежительным отношением к языковому материалу) забыл о существовании таких книг Н. Я. Марра, как, например, «Грамматика древнелитературного грузинского языка» или «Грамматика древнеармянского языка». Эти работы, как хорошо известно всякому серьезному специалисту, до сих пор остаются классическими. У Н. Я. Марра было немало и общих интересных идей в области филологии, о чем, в частности, в свое время писал академик В. Ф. Шипшарев в блестящем очерке «Н. Я. Марр и А. Н. Веселовский»⁴.

Спешу успокоить В. А. Звегинцева. Я не собираюсь защищать ни фантастические «четыре элемента» Н. Я. Марра, ни некоторые другие его идеи, действительно давно канувшие в Лету. Я только хочу подчеркнуть, что история советского языкознания начинается не с 1950 г. (начало лингвистической дискуссии), а, разумеется, с 1917 г.

По существу книга В. А. Звегинцева посвящена изложению теории Н. Хомского. Положение автора рецензируемой книги оказалось очень трудным, так как Н. Хомский обычно резко меняет свою концепцию от публикации к публикации. Поэтому и неудивительно, что все это нашло отражение и в рецензируемой работе. То, вслед за Н. Хомским, читателю сообщается, что лингвистика — это «раздел (и притом важнейший) психологии» (132), то, совсем наоборот, философские проблемы лингвистики оказываются чуждыми создателю генеративной грамматики (151). У этого же автора «семантика — самое слабое место» (154). Столь же фантастически менялись взгляды Н. Хомского

³ «Русская речь. Сборник статей под ред. Л. В. Щербы», 1, Пг., 1923, стр. 96—195.

⁴ Сб. «Язык и мышление», 8, М.—Л., 1937, стр. 324—343. Ср. также: В. И. Абаев, Академик Н. Я. Марр (к 25-летию со дня смерти), ВЯ, 1960, 1, стр. 90—100.

на природу естественных языков человечества. В. А. Звегинцев уверяет, что Н. Хомский «с самого начала ориентирует свою теоретическую модель на естественный язык» (45), а ровно через десять страниц читатели с изумлением узнают, что крупномасштабная (sic!) лингвистическая теория «не способна справиться с многоликой сложностью естественного языка» (55). Так чему же верить?

Примерно в таком же стиле характеризуются пресловутые глубинные структуры Н. Хомского. Сообщается, что они в центре всех построений Хомского, но тут же отмечается «неудовимость глубинной структуры» (54), ее неясность («трудно найти в современной лингвистике более популярную и вместе с тем наименее ясную категорию», 180) и т. д. Вначале объявляется, что «глубинная структура, поскольку она принадлежит мысли, оказывается вне грамматики как порождающего механизма» (52), но через сорок страниц акцентировается уже совершенно другое. Читатели узнают, что «в последующих работах (Хомского. — Р. Б.) глубинная структура приобретает все более и более „технический“ характер, теряя свою связь с мыслью» (83). Ну и структура! Она принадлежит мысли, и она же не принадлежит мысли, как не принадлежит она и грамматике. Так чему же она принадлежит, от чего или от кого она зависит? В. А. Звегинцеву, любителю точных определений (о необходимости точности в науке много и пылко говорится в книге), вряд ли подобные рассуждения могут показаться очень точными.

Но оставим построения Н. Хомского. О них существуют разные, чаще всего резко противоположные мнения в мировой науке. Подчеркнем лишь, что в рецензируемой книге, вопреки желанию ее автора, концепция Н. Хомского не получила ни заманчивой, ни «перспективной».

Широко обсуждается в работе еще одна проблема: место лингвистики в системе современных наук. Вслед за Р. О. Якобсоном, В. А. Звегинцев выдвигает тезис — «автономия и интеграция»: лингвистика должна сохранять свою автономию и одновременно «интегрироваться» с другими науками, постоянно с ними взаимодействовать (115, 118). Казалось бы все ясно, все очень просто. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что это совсем не так. Интеграцию наук В. А. Звегинцев понимает иначе, чем Р. О. Якобсон. Стремясь подчеркнуть «точность языкознания», В. А. Звегинцев стал пронизировать над гуманитарными науками (этого, разумеется, нет у Р. О. Якобсона). Само прилагательное *гуманитарный* на протяжении всей книги употребляется только в отрицательном или ироническом контекстах (3, 39, 108, 109, 113, 116, 121 и др.). Вот один из таких контекстов: «Почему лингвистика

обязательно должна находиться или в гуманитарном раю, или быть изгнанной из него...» (109). А вот существительное *гуманитарий*: «гуманитарии в лингвистике остались при логике Аристотеля» (116).

В. А. Звегинцев исходит из совершенно несостоятельного положения, согласно которому все гуманитарные науки как таковые обречены быть науками чисто описательными, а поэтому и беспомощными. Об этом говорится в самых различных местах книги. Отсюда и безответственные заявления о том, что «гуманитарии в лингвистике остались при логике Аристотеля» (116), что всякое филологическое изучение языка не в состоянии дать ничего, кроме простого описания и т. д. Но если понятия гуманитарный и филологический — это синонимы всего плохого в науке (и это в устах доктора филологических наук!), то и не удивительно, что таким же «плохим» оказывается у В. А. Звегинцева и понятие исторический. Это закономерно, так как филологическое изучение языка и его историческое осмысление глубоко между собой связаны, хотя сами эти два понятия и не тождественны. В рецензируемой книге о лингвистах-историках сообщается, что они «... продолжают бубнить (разрядка моя. — Р. Б.) о конкретно-историческом подходе к изучению языка как единственно возможном» (15, характерный стиль всей книги!). Между тем все серьезные современные лингвисты прекрасно понимают, что историческое изучение языка — это отнюдь не «единственно возможное» его исследование, а лишь одно из важнейших направлений в науке, которая сама является наукой прежде всего исторической.

И глубоко убежден, что только тогда, когда ученый осознает подлинно историческую природу языка и его подлинно человеческую (гуманитарную) сущность, перед ним открываются широкие возможности изучения и других сторон языка, его разнообразных функций. Язык как структура, язык как синхронная система, язык в кругу других коммуникативных систем (при качественно отличной специфике самого языка) — все это может быть понято, осмыслено и описано только на фоне глубочайшего своеобразия языка в его исторической и человеческой сущности. Любые «подходы» к языку без этого последнего условия неизбежно оказываются поверхностными и дилетантскими. Изучение языка как определенной структуры — проблема очень важная (подчеркну это еще раз) и весьма актуальная, но залог ее успешной разработки определяется только что перечисленными условиями. К этому заключению сейчас приходят многие лингвисты в разных странах, еще не

так давно защищавшие тезис о совершенно автоматическом характере языка как определенного «механизма».

Как бы ни протестовал В. А. Звегинцев против разделения наук на гуманитарные и естественные (108), это разделение, разумеется, сохраняется и в наше время, хотя формы взаимодействия между разными науками теперь действительно становятся более многообразными и более сложными. При этом речь идет, конечно, не о том, что гуманитарные науки становятся немножко менее гуманитарными (весьма наивная концепция!), а о том, что у разных наук возникают общие объекты изучения, общие интересы. При этом если гуманитарным наукам есть чему поучиться у естественных наук (это безусловно так), то и у естественных наук есть чему поучиться у наук о человеке. На мой взгляд, только так следует толковать сотрудничество разных наук — понятие, весьма важное в нашу эпоху.

В. А. Звегинцев постоянно возвращается к вопросу о точности определения понятий и терминов, которыми оперирует наука о языке. Но странное дело, в самой книге автора нет никаких определений и никакой точности. Я уже отмечал это в связи с гипотезами Н. Хомского и их оценкой в рецензируемой книге. Но даже независимо от Н. Хомского читатели не найдут в книге никаких точных определений. Об определении естественного языка, например, сообщается, что оно «чрезвычайно осложняется его полифункциональностью» (121) — прием обращения к сложности понятия, помогающий избежать его определения (прием, который автор книги резко осуждает у других исследователей, 120—121). И уж, конечно, едва ли можно назвать определением языка весьма странные рассуждения о том, что «... язык... по своему назначению не является средством общения» (217). Как тут не вспомнить старую талейраповскую шутку: «Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли». Благодарим автора, мы все поняли.

Любитель точности, В. А. Звегинцев, заходит слишком далеко в своих сомнениях о возможности точности в науке о языке. Он не только постоянно жалуется на трудности определения таких понятий, как смысл, значение, но и явно преувеличивает эти трудности, когда заявляет: «... высказывание *Я пойду сегодня в кино*, безукоризненное в языковом отношении, оказывается совершенно бессмысленным в речи, если оно является ответом на вопрос: *Какой город является столицей Грузии?*» (242). Здесь мы вступаем в область дилетантских рассуждений, действительно не имеющих никакого отношения ни к лингвистике, ни к здравому смыслу. И ссылки автора (в приложениях)

на «театр абсурда» (244—246) могут вызвать в лучшем случае только улыбку и недоумение.

Как мне уже приходилось писать неоднократно, языковедие, как и всякая другая наука, располагает своим понятием точности. Нет никаких оснований сводить его только к арифметике. Э. Кассирер в свое время справедливо заметил о великом лингвисте В. Гумбольдте, что, обладая умом «в высшей степени систематическим и точным», этот ученый не любил внешней техники систематизации. То же можно сказать, например, и о Гегеле, и о Шопенхове. Продолжая эту мысль дальше, допустимо заметить, что некоторые современные лингвисты, любители внешней (арифметической) техники систематизации, не владеют при этом даром внутренней систематизации, требующей большого таланта. Между тем отдельные лингвисты, как у нас в стране, так и за рубежом, готовы все подчинить лишь внешней технике систематизации.

Книга В. А. Звегинцева меня глубоко огорчила прежде всего тем, что ее автор «не заметил» больших и бесспорных достижений советского теоретического языковедения. Как бы ни были существенны разногласия среди советских лингвистов, как бы ни были серьезны расхождения по отдельным вопросам, советских лингвистов объединяет марксистско-ленинское понимание природы и сущности языка, законов его развития и бытования. К сожалению, сам В. А. Звегинцев занимается лишь общими рассуждениями о языке: Он никогда не исследовал ни одного конкретного языка. Такой ученый не может проверить свои построения фактами, материалом, теми самыми фактами и тем самым материалом, которые иронически оцениваются на всем протяжении рецензируемой книги.

В. А. Звегинцев изображает дело так, будто бы приверженцы односторонней и предельной формализации языка, противники исторического и сравнительно-исторического языковедения, не всегда имели широкие возможности защищать и пропагандировать свои взгляды и убеждения. Это, разумеется, неверно. В течение двадцати последних лет сторонники названной концепции опубликовали многие сотни статей и многие десятки книг, в которых защищали и защищают свои взгляды. И все же «победы» их анти-исторической и антигуманистической концепции языка едва ли выглядят сейчас заманчиво.

Наконец, последнее замечание. Обращаясь к любимой вопросительной форме изложения автора рецензируемой книги, попробуем задать себе такие вопросы: какова положительная программа, содержащаяся в анализируемой книге?; как следует изучать многообразные языки народов мира в свете той теории, кото-

рую защищает автор? Увы, на эти и подобные им вопросы автор даже не пытается дать хотя бы самые общие ответы.

Что бы ни писал В. А. Звегинцев о нашей науке, я убежден, что советские ученые, самым тщательным образом изучая

лучшие достижения мировой науки о языке, будут и дальше развивать лингвистику на основе своих принципов и своей теории.

Р. А. Будагов

«Вести-куранты 1600—1639 гг.». Издание подготовили Н. И. Тарабасова, В. Г. Демьянов, А. И. Сумкина. Под ред. С. И. Коткова. — М., «Наука», 1972. 347 стр.

Более 300 лет находились в архивах рукописные памятники русской письменности первых десятилетий XVII в., получившие название «вестей», или «курантов». Публикации этих памятников в прошлом были выборочны (Ф. И. Буслаев, И. Е. Забелин, М. Петровский и некот. др.). Известна неудачная попытка Археографической комиссии подготовить их издание в 1901—1902 гг. к двухсотлетию возникновения периодической печати в России. Только в 1972 г. эти рукописи увидели свет.

В рецензируемом издании опубликованы документы деловой письменности первых десятилетий XVII в. (вести-куранты за 1600—1639 гг.), рукописи которых хранятся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА) в Москве и в Библиотеке Академии наук СССР в Ленинграде. Издание подготовлено группой сотрудников Сектора лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР Н. И. Тарабасовой, В. Г. Демьяновым, А. И. Сумкиной под руководством С. И. Коткова. Предполагается выпуск второго тома, в который войдут документы последующего периода.

В изданную книгу вошло 710 рукописных листов документов, занимающих 193 стр. печатного текста (стр. 21—214). Имеется, кроме того, приложение, содержащее черновые варианты текстов, указатели слов, личных имен, географических названий, иллюстрации — фотокопии некоторых текстов (стр. 215—343). В небольшом, но обстоятельном введении дана характеристика исторического периода, когда создавались опубликованные документы, сведения об истории их появления, о некоторых особенностях языка и др.

Изданные памятники являются в большинстве своем переводами, но среди них есть и оригинальные (отписка Н. Д. Вельяминова и М. Сомова из Архангельска царю Михаилу Федоровичу, фрагмент указа царя Михаила Федоровича Н. Д. Вельяминову и М. Сомову и некот.

др.). Содержание их очень разнообразно: информация из разных стран о военных действиях, походах, приготовлениях, о народных волнениях, политических событиях, договорах, о явлениях природы, пророчествах, чудесах и т. п. При подготовке издания вестей-курантов Археографической комиссией были разногласия о принципах издания — печатать только переводы документов или переводы и иноязычные оригиналы. Рецензируемое издание содержит только русские тексты без иноязычных подлинников.

Публикация рукописных памятников начала XVII в. является большим научным и культурно-историческим событием. Значение его особенно очевидно на фоне недостаточной изученности ряда аспектов истории русского языка XVII в., что обусловлено в известной степени отсутствием публикаций ряда рукописных источников, рассеянных по архивам и потому не всегда доступных исследователям. Между тем, как справедливо замечено в рецензируемой книге, «без учета специфики развития языка XVII столетия не может быть правильной интерпретации явлений и фактов языка последующих эпох и, в какой-то мере, минувших» (стр. 3). В изданных рукописях содержатся весьма важные сведения для изучения путей формирования русского национального языка в начальный период этого процесса, когда создавалось единое национальное государство.

Ф. П. Филин заметил, что «имеющие место в лингвистической литературе попытки видеть в языке того или иного памятника „русскую основу“ опираются часто лишь на субъективное восприятие, лишенное научной значимости»¹. В этой связи важным представляется то, что «тексты, составившие данную книгу, включая заметный элемент народно-раз-

¹ Ф. П. Филин. К вопросу о так называемой диалектной основе русского национального языка, сб. «Вопросы образования восточнославянских национальных языков», М., 1962, стр. 25.

говорной стихии, дают известное представление и о том лингвистическом основании, на котором впоследствии развивались научный и публицистический жанры литературного языка» (стр. 4).

Большие сложности для изучения представляет словарный состав рассматриваемого периода. Как писала Л. Л. Кутина, «XVI—XVII вв. — время больших изменений в словарной системе русского языка. К этому периоду относится распространение множества новых слов, ряды старых слов исчезают из употребления или отодвигаются в пассивный запас языка. Многие слова переживают в эту пору внутреннюю перестройку...»². Опубликованные рукописи дают много сведений об изменениях в лексической системе языка. В этих изменениях определенную роль играл процесс вхождения заимствованных слов. В установлении времени вхождения заимствованных слов нередко наблюдаются ошибки, которыми особенно страдают этимологические словари. Изданные тексты позволяют внести коррективы в хронологию заимствования ряда слов, причем эти уточнения касаются не только близких дат, как, например, у слов *герб*, *маркиз*, *солдат*, но и более значительных хронологических сроков. *Герб*, по данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, встречается в русской письменности с 1644 г. (стр. 402), в действительности же оно отмечено раньше: *ербъ орель* (3, л. 11, 1620 г.), *шляхетнымъ гербомъ* (8, л. 1, 1625 г.), *золотых гербов* (23, л. 72, 1628 г.), *златый гербъ* (23, л. 73); *маркиз* (*марквис*) — с 1632 г. (стр. 574), на самом деле несколько ранее: *марквис Спинола* (23, л. 75, 1628 г.); *солдат* — «начиная с Кн. 0 ратн. строения Котошихина» (стр. 709—710), т. е. с 1647 и 1667 г., в действительности же ранее: *и корабли все потонули и У салдатов* (3, л. 10, 1620 г.; также в 4, л. 10, 5, лл. 21, 23, 33, 34, 36, 37) и др. Примеры более серьезных расхождений: *миля* — «начиная с Петра I, 1702 г.» (стр. 622 словаря Фасмера), в действительности ранее: *за чатьре милеи отселе* (3, л. 1, 1620 г.; также 5, лл. 18, 24; 6, лл. 30, 38 и мн. др.). О слове *католик* сказано: «первые *католикий*, прилаг. (Куракин, 1705)» (стр. 210), на самом деле ранее: *А меж католиков палъ страх великою* (31, л. 5, 1631 г.), *готят католики* (там же, л. 14). Намного ранее встречается и соответствующее прилагательное: *что в немъ католицкие вѣры посажена жили* (4, л. 3, 1620 г.). Можно привести и другие примеры уточнения хронологии появления в русском языке заимствованного слова. Некоторые из них названы во

введении к опубликованной книге: *барон*, *кавалер*, *монарх*, *привилегия* («привилегия»), *принц*, *ратуша*, *резидент*, *студент*, *фельдмаршалок*, *швадрон*, *галередам* («дамба»), *маршал*, *миллион*, *нетарда*, *президент*, *фенрих* («прапорщик»), *цитадель* (стр. 14); появление этих слов в русском языке относили ко второй половине XVII или к XVIII вв.

Опубликованные материалы позволяют не только уточнить хронологию заимствованных слов, но и точнее указать источник заимствования. Для многих иноязычных слов первые десятилетия XVII в. были периодом их вхождения в русский язык, периодом первоначального их усвоения, что отражает варианты, в которых они встречаются в опубликованных источниках и которые помогают зачастую выяснить пути заимствования иноязычной лексики, например: *катольская* — *католицкая* — *католическая* *вера*; *шанц* — *штанц* — *шанец* — *шанца* — *шанса* — *шанцы* и *шансы*; *компанья* — *компанья* — *компания*; *канцлер* — *канслер*; *регемант* — *ригемант* и т. п.

Опубликованные документы будут незаменимы и исключительно богатым источником для изучения формирования в русском языке иноязычных географических и топонимических названий городов, рек и стран, а также названий жителей городов, народов. Это очень мало изученный лексический пласт, особенно в период их первоначального усвоения. Ср. названия городов и рек: *Парис*, *Елга* и *Элга*, *Дуселдорп*, *Дрезден*, *Андверп*, *Алжир*; названия народов и жителей городов: *францужаня* и *францужена*, *неаполитане* и *неаполяне*, *дюнкеркяне*, *итальяны* и *итальяне*, *вилицьяны*, *шкоты*, *немчин*, *бургундин*; прилагательные от географических названий: *прусский*, *шпанский* и *шпанской*, *флоренский*, *лотринский* («лотарингский»), *байерский* («баварский») и т. п.

Еще более широко представлены в изданных рукописях слова и формы, связанные с исконно русской основой языка XVII в., например: *коли будет нужна* (15, л. 7), *оставил позад себя* (л. 7), *ежеден* (л. 8), *переж весны* (16, л. 21), *дорогоцѣнные товары* (15, л. 16). Среди них имеются, в частности, материалы для изучения истории русской диалектной лексики. Хорошо известно, что проследить исторический путь многих диалектных слов очень трудно из-за отсутствия их следов в памятниках письменности. Тем более драгоценны те находки, которые можно обнаружить в изданных вестях-курантах, а они не редки. Приведем лишь два примера.

В русских говорах XIX—XX вв. встречается наречие *тай* «скрытно, тайно, секретно; незаметно для глаз»: «Из-под той было крутой горы... протекала тут тайя река. Сарат., 1850. Говорю тебе

² Л. Л. К у т и н а. К вопросу о синонимии в языке XVII в., «Уч. зап. ЛГУ», 243. Серия филол. наук, 42, 1958, стр. 104.

втай, не разбаивай. Пинеж., Арх. Арх.»³. Время образования его не известно. Однако опубликованные памятники свидетельствуют, что уже в XVII в. оно употреблялось нередко: *А в город в Турин пришил отць Латигиров ис Французские земли и с арцукомъ таи дблати нбкаторые дбла* (7, л. 253, 1622 г.; также в 17, лл. 36, 45; 19, л. 14 и ряде др.). В русских народных говорах имеется прилагательное *городовой* «городской»: «Олон. Шайжин. Не люблю я деревенских, не люблю городовых, люблю литейного завода из дена мастеровых (частушка). Гряз. Волог. 1926. Арх., Новг., Твер., Брян., Перм.»⁴. Вести-куранты зафиксировали употребление этого слова в XVII в.: *а велено ворот городовых беречи* (1, л. 56, 1600 г.), *и городовую бы стену опрокинуло в ров* (30, л. 36, 1631 г.).

Специфика содержания изданных рукописей — сообщения из иностранных государств о происходящих там событиях, — дает материал для изучения определенных семантических и тематических групп лексики. Значительная часть сообщений касается военных действий. В источниках широко представлена военная лексика и фразеология (ср.: *язык «пленный», рядовой, солдат, пропасть без вести, подводить подкоп, укреплять рубежи, взять приступом, взять в полон, передовой полк* и т. п.).

Для изучения истории словарного состава русского языка XVII в. большое значение имеют не только тексты памятников, но и включенный в приложение указатель слов, иногда с семантической характеристикой слова. В научный оборот вводится много новых, по сравнению со Словарем И. И. Срезневского, слов, хотя последний охватывает период и XVII в. Количество таких дополнений велико: *ага, агент, аглинский, агличане, африканский, башня, безверник, заводцу «зачинщик», замок «укрепленное жилище», заплата «плата», каторга «судно»* и мн. др. В словнике имеются сведения о семантике ряда слов: *заставить «загородить, укрепить; принудить»; знамя «полотнище на древке; войсковое подразделение; примета»; зелье «снадобье; порох»; крепость «укрепление; документ»; лето «время года; год»; мир «перемирие; народ»; приказ «распоряжение; учреждение; воинское подразделение»* и др. Указатель слов по существу выполняет роль самостоятельного словаря. Он будет очень полезен при

составлении словаря русского языка XVII в.

Опубликованные материалы дают сведения и по фразеологии: *годен как пятое колесо в телеге* (32, л. 22), *держать (на кого) небррку* (22, л. 12), *отвбдать счастья* (50, л. 172);

по словообразованию — ср. материалы для изучения формирования словообразовательного типа на *-ственный*: *королевственный* (42, л. 5), *братственный* (6, лл. 66, 69), *соседственный* (29, л. 1; 31, л. 18), *рыцарственный* (6, лл. 72, 75; 23, л. 69); на *-ический*: *колониический* (1, л. 69) и др.

по синтаксису — ср. материалы для изучения безличных конструкций: *уговорено промеж ими* (41, л. 202), *у недругов же взято всё ихъ запасы* (34, л. 9), *у нег с шпанским стакано* (17, л. 50);

по изучению особенностей произношения: *оманути* (17, л. 46), *пят телбх* (28, л. 53), *против очево недруга* (22, л. 5), *нихто* (1, л. 56), *чатыри дни* (3, л. 1) и др.

Недочеты рецензируемой книги носят частный характер. Имеются некоторые неточности в указателе слов, в частности, спорно реконструируются отдельные исходные формы. Ср. в 17, л. 50: *у нег с шпанским стакано*. В указателе слов проведено *стакать* вместо ожидаемого *стакаться* (стр. 290). В указателе отмечено существительное *договоренность* (стр. 253), однако в тексте имеется страдательно-возвратная форма: *что мирном договоре что было в Монтъпилесо с арцуком Розанскимъ договоренос что острожек именем Логвилон сломат было* (22, л. 19). Аналогично в указателе *уговоренность* (стр. 293), в тексте: *такъ по прежнему и уговоренос промеж ими на том* (41, л. 202). В отдельных случаях неточно называется часть речи. Слово *круг* в указателе квалифицируется как наречие (стр. 262), но в тексте это предлог: *и поволено мужиком круг себя заплаты делат* (23, л. 64).

Опубликованные памятники начала XVII в. привлекут к себе внимание многих исследователей. Они подвергнутся всестороннему изучению и помогут решению неясных и сложных проблем истории русского языка того времени. Выход второго тома «Вестей-курантов» делает исследовательскую базу еще более прочной.

Работа по изданию древних памятников, в высшей степени трудоемкая, но крайне необходимая, должна всемерно развиваться.

З. М. Петрова, И. А. Попов

³ «Словарь русских народных говоров», В, Л., 1970, стр. 224.

⁴ Там же, стр. 60.

М. А. Кумахов. Словоизменение адыгских языков.

— М., «Наука», 1971, 342 стр.

Монография М. А. Кумахова «Словоизменение адыгских языков» является продолжением его исследования «Морфология адыгских языков. I — Введение, структура слова, словообразование частей речи» (Нальчик, 1964). Обе работы носят сравнительно-описательный характер, но вместе с тем целый ряд вопросов освещается и в историческом аспекте. Вопросы сравнительной морфологии адыгских языков с учетом данных их диалектов в таком полном виде впервые представлены в названных работах.

Рецензируемой монографии М. А. Кумахова предшествовала основополагающая работа по сравнительной морфологии абхазско-адыгских языков Ж. Дюмезиля¹, где был произведен сравнительный анализ трех подгрупп абхазско-адыгских языков — абхазского, убыхского и адыгских языков (данные абхазского и убыхского языков сопоставляются с соответствующими данными адыгских языков, адыгейского, или абадзехского, и кабардинского языков); здесь еще, однако, не ставилась цель изучить адыгские языки в сравнительно-историческом плане. Это объяснялось прежде всего тем, что в тот период отдельные адыгские языки были исследованы недостаточно и совершенно ничего не было известно относительно диалектных особенностей перечисленных языков.

Рецензируемая книга состоит из краткого «Предисловия» (стр. 3—4) и 13 глав, в которых освещены вопросы словоизменительных морфологических категорий как имен, так и глаголов. Как известно, адыгские языки, как и другие абхазско-адыгские языки, характеризуются сложной системой глагола и довольно простой системой имени. Поэтому читатель мог ожидать, что в рецензируемой монографии больше места займут вопросы глагола, чем имени. В книге, однако, больше места уделено вопросам категорий имен. И это вполне естественно. В этих языках спорных, неразрешенных вопросов больше в разряде имен, чем в разряде глаголов.

Главной заслугой автора рецензируемой монографии является то, что в ней затронуты все основные вопросы морфологии адыгских языков, из которых многие поставлены впервые и разрешены правильно. Автор стоит на прочных научных позициях, в результате чего все его положения, и даже спорные, вызывают большой интерес.

Первая глава (стр. 5—35) посвящена общей для имен и глаголов категории чис-

ла. Автор ставит ряд вопросов, касающихся функции и генезиса суффиксов *-э* (глагола и имени) и *-мэ* (имени). Убедительным представляется мнение автора, согласно которому *-мэ* следует считать нейтральным в отношении числа показателем эргатива (стр. 34). Во второй главе «Категория определенности — неопределенности» (стр. 36—46) наглядно показано, что суффикс эргатива *-м* постепенно теряет функцию определенности, которая лучше сохранилась в форме твор. падежа, например: каб. *ручкэ-м-чIэ стхыш* // *ручкэ-чIэ стхыш* «написал ручкой», где *-м* — показатель определенности (стр. 40). Иногда же суффикс *-м* не имеет ни функции определенности, ни функции падежа — это бывает в форме твор. падежа (с суффиксом *-чIэ*) неопределенных местоимений — *зыгуэрэ-м-чIэ* // *зыгуэрэ-чIэ* «кем-то; чем-то». По мнению автора, «наличие или отсутствие форматива *-м* может быть связано с делением имен существительных на класс человека и класс вещей. Ср., например, в кабардинском языке: *Зыгуэрэ-чIэ фымыаразымэ жыфIэ* „Если вы чем-то недовольны, скажите“, *Зыгуэрэ-м-чIэ фымыаразымэ жыфIэ* «Если вы кем-то недовольны, скажите» (стр. 137). В самом деле, подобные случаи встречаются в тех иберийско-кавказских языках, в которых морфологическая категория грамматических классов человека и вещи уже отпала, продолжая сохраняться семантически, иногда как вторичное явление она (эта категория) может возникнуть морфологически и новыми средствами. Так, в картвельских языках, например в грузинском, нейтральный суффикс *-el* стал выражать класс человека (*каx-el-i* «кахетинец»), а нейтральный суффикс *-ur* стал выражать класс вещей (*каx-uri* [γvino] «кахетинское [вино]») ².

Автор находит также примеры, когда и суффикс номинатива *-р* лишен функции определенности (например, в пословице каб. *хьацIэр шхэмэ бжэм йоплэ* «Если гость поел, то смотрит в дверь», стр. 42).

В главе третьей «Категория притяжательности» (стр. 47—58) автор высказывает мнение, что категория отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности, характерная для адыгейского языка, сложилась на общеадыгской языковой почве (стр. 57), а не в древнейшую эпоху, как это утверждал, например, Н. Ф. Яковлев. Считая противопоставление двух посессивных форм сравни-

² См. об этом: А р н Ч и к о б а в а, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942, стр. 262 (на груз. яз., резюме на русск. и англ. яз.).

¹ G. D u m é z i l, Etudes comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-ouest, Paris, 1932.

тельно поздним явлением, мы могли бы добавить, что оно не общеадыгского, а только лишь адыгейского происхождения.

В четвертой главе (стр. 59—169) подробно освещены узловые вопросы склонения имен адыгских языков. Ученые в довольно полном виде случаи применения падежных форм в адыгских языках. Разграничены артиклевые и падежные функции суффиксов *-р* и *-м*. Рассмотрено использование этих суффиксов в существительных (в том числе — в именах людей, в фамилиях, в географических названиях), в местоимениях и т. д. Особо отмечен случай, когда в адыгейском языке, как и в кабардинском, вопросительное местоимение, выступающее в функции субъекта, может оформляться суффиксом эргатива *-м*: адыг. *сыды-м къылыгъ мы бзылфыгъар?* «Что принесло сюда эту женщину?» (стр. 111).

Следует согласиться с автором книги, когда он отрицает генетическую связь суффикса эргатива *-ы* с омонимическим префиксом 3-го лица переходного глагола и префиксом органической принадлежности имени (стр. 160). Вопрос о суффиксе эргатива *-ы* требует дополнительного исследования, поскольку в адыгских языках самостоятельно гласные *ы* и *э* исторически не выступали в качестве отдельных морфем. В адыгейском языке глагольный показатель 3-го лица — префикс *ы-* (*ы-луагъ* «тот сказал то»), а также именной префикс *ы-* — показатель органической принадлежности (*ы-лэ* «его глаз») — восходят к дифтону *йы-*.

В этой же главе особое внимание уделяется склонению имен существительных с предикативными членами типа адыг. *сэры*, каб. *сэршъ*. В адыгейском языке, как правильно отмечает автор, «имена существительные в притяжательной форме обычно не оформляются формативом *-р*» (стр. 81), но как исключение в предложении, где в качестве предиката выступает личное или указательное местоимение, имя в посессивной форме представлено всегда с суффиксом им. падежа, ср. например, адыг. *Ашыгъуым уыгу умыгъэкIуды, тьян, ашь фэдызыр къызыгъулагъэу уэ уычIалэр сэры* «В таком случае не беспокойся, мать, твой сын, который так много пережил, это я» (стр. 81). В самом деле, имя в притяжательной форме *уычIалэр* оформлено здесь суффиксом *-р*, но в сочетании с предикатом *сэры* (*уэры* и т. п.) оно по существу является причастием от стативского глагола (ср. *ар уычIал* «тот твой сын», но: *уэ уычIалэр сэры* «тот, который есть твой сын, это я»), а причастия от отгменных (как и от других) глаголов всегда представлены с падежными окончаниями.

В адыгских, как и других иберийско-кавказских, языках вопросительные местоимения подразделяются на местоиме-

ния класса человека (*хэт?* «кто?») и класса вещей (*сыд?* / *сыт?* «что?»). Как показывает автор, «в кабардинском языке исключение составляет сочетание *сыт?* „что?“ с глаголом *къылыхуын* „родить“, где местоимение класса вещей соотносится со словом *сабий* „ребенок“, ср. *сыт къылыхуа* „кого“ она родила?“ (букв.: „что“ она родила?“). Несколько иначе обстоит дело с противопоставлением вопросительных местоимений в обстоятельном падеже. Как известно, классное деление имен существительных утрачивает свою силу именно в обстоятельном падеже. Местоимение класса вещей *сыт* „что“, в форме обстоятельного падежа заменяет местоимение класса человека *хэт* „кто“, ср., например, каб. *Хэт къэкIуар?* „Кто пришел?“, но *Сыту лэ-жъэрэ?* „Кем он работает?“, *Сыту жаха?* „Кем его выбрали?“ (стр. 148). Примечательно, что аналогичные явления наблюдаются и в каргелских языках. Таковы, например, грузинские сочетания вопросительного местоимения с глаголом «родить» *რა ზეე ჯინა? / რა დაებადა?* «кто родился у нее?» (буквально: «что родился у нее?»), нейтрализация в обстоятельном падеже семантической категории класса вещей — груз. *რად მუშაობს?* «кем работает?» (буквально: «чем работает?»), *რად აირჩიეს?* «кем выбрали его?» (буквально: «чем его выбрали?»).

В рецензируемой монографии ставится ряд частных вопросов, не поддающихся пока объяснению. Так, например, в кабардинском языке как в нарицательных существительных, так и географических названиях обычны синтаксические конструкции типа *уыны-м-чIэ макIуэ* «идет в сторону дома», *Лескен-чIэ макIуэ* «идет в сторону реки Лескена», но личные имена и фамилии не могут иметь такой конструкции — здесь суффикс *-чIэ* присоединяется не непосредственно к антропониму, но к послелогю *дежъ* «к», например: *БетIал дежъчIэ макIуэ* «идет в сторону Бетала», *ЧIышъокъуэм дежъчIэ макIуэ* «идет в сторону Кешокова» (стр. 134).

Правомерно, когда автор рецензируемой книги союзные частицы (соединительные формы) относит к числу предметов морфологии. Этот вопрос с достаточной полнотой разрешен в пятой главе «Соединительные формы» (стр. 170—183).

Отдельная — шестая — глава (стр. 184—193) посвящена звательной форме имен. Убедительно утверждение автора, что звательную форму имен в адыгских языках нельзя рассматривать как самостоятельный падеж.

Особый интерес представляет седьмая глава книги «Категория переходности — непереходности» (стр. 194—209). Кроме каузативного префикса *гъэ-*, здесь рассматриваются и другие способы транзитивации глаголов — префикс *уы-*, преверб *къэ-* и другие. В связи с категорией

переходности автор довольно подробно останавливается на аблаутных чередованиях глагольных гласных.

На основе сравнения глаголов лабильной конструкции адыгских языков автор склонен думать, что в кабардинском языке происходит более сильный процесс стабилизации лабильных основ глаголов (стр. 208).

В восьмой (стр. 210—225) и девятой главах (стр. 226—241) соответственно рассматриваются в сравнительно-историческом плане категории времени и наклонения адыгских языков. Опираясь на проведенный анализ этих важнейших разделов глагола, автор приходит к заключению: «К эпохе дифференциации общеабхазоадыгский язык не обладал сложившейся системой времен и наклонений. Этим и объясняется разнородность основных единиц, выступающих в функции форм времен и наклонений в абхазоадыгских языках. Хотя некоторые формы могут быть возведены к общеабхазоадыгскому единству, оформление системы времен и наклонений в абхазоадыгских языках должно быть отнесено к периоду их индивидуального развития» (стр. 324). Следует признать, что такой вывод соответствует фактическому положению вещей.

Так, например, глагольный суффикс *-н* — общеабхазскоадыгского происхождения, но этот суффикс в различных языках выражает разные времена: в адыгских языках — будущее время (адыг. *сы-кIуа-н* «я пойду»), в абхазско-абазинских языках — прошедшее время (абх. *с-цо-н* «я шел»), в убукском — настоящее время (убук. *сы-кIа-н* «я иду»). В абхазских пословицах, по Ж. Дюмезилу, суффикс *-н* передает «универсальность и перманентность»³. Следует полагать, что в общеабхазскоадыгский период суффикс *-н* выражал не то или иное определенное время, а некую «дновременную» категорию.

Относительно отрицательных форм глаголов (глава десятая, стр. 242—247), достоверным представляется мнение автора, что более разнообразные средства выражения отрицания в адыгейском языке являются не архаизмами, а поздними образованиями (стр. 244).

Главы одиннадцатая (стр. 248—254) и двенадцатая (стр. 255—322) соответственно посвящены вопросам категории лица глаголов адыгских языков и описанию строения глагольной парадигматики. Абхазско-адыгские языки в основном сходятся системой и порядком распределения личных аффиксов. Особенно это можно сказать в пределах ближайше родственных языков, где, как кажется на первый взгляд, имеет место полное

совпадение. Тем не менее, между адыгейским и кабардинским языками наблюдаются заметные расхождения, не замеченные другими исследователями. Так, например, «по сравнению с адыгейским языком в кабардинском языке омонимия субъектно-объектных форм получила широкое распространение» (стр. 279), поскольку в кабардинском глагол может употребляться, с одной стороны, без суффикса 3-го лица мн. числа субъекта или ближайшего объекта *-гэ*, а с другой — и без префикса косвенного объекта 3-го лица мн. числа *а-/я-*, тогда как в адыгейском эти категории всегда маркированы. Например: каб. *кыэдйэжэшъ* обозначает: 1) «он со мной ждал его», 2) «он со мной ждал их», 3) «они со мной ждали его», 4) «они со мной ждали их»; в адыгейском же каждому из этих значений соответствуют специальные формы — 1) *кыэдйэжэгъ* «он со мной ждал его», 2) *кыэдйэжэагъ* «он со мной ждал их», 3) *кыэдйэжэагъэх* «они со мной ждали его», 4) *кыэдйэжэагъэх* «они со мной ждали их» (там же). В результате указанные трехличные непереходные глаголы в кабардинском языке имеют 56 личных форм, а в адыгейском — 102 формы (стр. 278).

Особое внимание в книге уделено позиции показателя 3-го лица мн. числа (префикс *а-*) в адыгских многочисленных непереходных глаголах с превербом *кыэ-*. В случаях, когда субъект выступает в 1 и 2-м лицах, префикс *а-* находится не перед префиксом косвенного отношения (т. е. не после преверба *кы-*, ср., например: каб. *сы-кы-б-дэ-кIуашъ*, адыг. *сы-кы-б-дэ-кIуагъ* «я с тобой пришел»), а перед превербом *кыэ-* (каб. *с-а-кы-чIэры-ху-ашъ* «я от них отстал», ср. *кы-а-чIэры-ху-ашъ* «тот от них отстал»). Между тем, адыгейский глагол в соответствующих формах допускает свободный порядок следования префиксов *а-* и *кы-*, ср. *сы-кы-а-дэ-кIуагъ* = *с-а-кы-дэ-кIуагъ* «я с ними пришел», *сы-кы-а-фэ-кIуагъ* = *с-а-кы-фэ-кIуагъ* «я для них пришел», *уы-кы-а-дэ-кIуагъ* = *у-а-кы-дэ-кIуагъ* «ты с ними пришел», *уы-кы-а-фэ-кIуагъ* = *у-а-кы-фэ-кIуагъ* «ты для них пришел» (стр. 254). Двенадцатая глава снабжена таблицами парадигм глагольного спряжения, в которых выделены личные и другие префиксы одноличных и многочисленных глаголов (всего 17 таблиц).

По нашему мнению, выделенные автором в серии настоящего времени отдельные префиксы 1 и 2-го лиц каб. *со-*, *уо-*, *до-*, *фо-*; адыгейск. *сэ-*, *уэ-*, *тэ-*, *шэуэ-* в словоформах каб. *со-кIуэ*, *уо-кIуэ*, *до-кIуэ*, *фо-кIуэ*; адыгейск. *сэ-кIуэ*, *уэ-кIуэ*, *тэ-кIуэ*, *шэуэ-кIуэ* (стр. 258), содержат по две морфемы: в кабардинском *со-кIуэ* «я иду» *со-* состоит из префикса 1-го лица *с-* (< *сы*) и отдельного префикса — характеристики динамичности *о*

³ G. Dumézil, указ. соч., стр. 173—175.

(*уэ*), т. е. *с-о-кIуэ* < **сы-уэ-кIуэ*, соответственно *уо-кIуэ* «ты идешь» < **уы-уэ-кIуэ* и т. д., точно так же в адыгейск. *сэ-кIуэ* «я иду» *сэ-* состоит из *с-* (< *сы*) и характеристики динамичности *э* (< *уэ*), т. е. *с-э-кIуэ* < **сы-уэ-кIуэ* и т. д. Следовательно, кабардинский язык сохранил исходный вид динамичности *о-* (*уэ*). В кабардинском отчетливо видно, что в указанных глагольных формах *о-* (*уэ*) является отдельной морфемой, а не огласовкой согласных морфем *с-*, *у-*, *д-*, *ф-* (*со-*, *уо-*, *до-*, *фо-*): между личными аффиксами *с* (< *сы*), *у* (< *уы*) и характеристикой динамичности *о* может помещаться преверб направления *къэ*, например, *с-о-кIуэ* «я иду (туда)», но *сыкъ-о-кIуэ* «я иду сюда». Выделенные автором префиксы косвенного объекта 1 и 2-го лиц — адыгейск. *сэ-*, *уэ-*, *тэ-*, *шъуэ-*, каб. *зэ-* (< *сэ-*), *уэ-*, *дэ-*, *вэ-* (< *фэ-*), например, в словоформах адыгейск. *уыкъы-сэ-жагъ*, каб. *уы-къы-зэ-жашъ* «ты ждал меня» (стр. 268) — также содержат по две морфемы: *с-* — префикс косвенного объекта 1-го лица и *э-* (< *йэ-*) — префикс косвенного отношения.

В последней, тринадцатой, главе (стр. 323—329) М. А. Кумахов касается истории словоизменения, а также словообразования адыгских языков в сравнении с другими абхазско-адыгскими языками. К числу явлений общеабхазско-адыгского происхождения он относит изменных категории категории определенности — неопределенности и притяжательности. Общеабхазскоадыгская категория определенности выражалась префиксальным способом. Данные адыгских языков считаются инновацией, а в более архаичной форме категории притяжательности сохранилась в абхазском, в абазинском и убыхском языках. На общеабхазскоадыгской почве образовались выраженные морфологически сочинительные союзы. Автор придерживается мнения, что «категория падежа образовалась после распада общеабхазоадыг-

ского языка... Сравнительный анализ материала показывает, что в абхазо-адыгских языках нет ни общей модели образования числа, ни генетически тождественной морфемы множественного числа, которая возводима к языку-основе... Основные принципы построения глагольной парадигматики также восходят к общеабхазоадыгскому языковому единству» (стр. 324). Общий материальный фонд основ в системе глаголов представлен в личных показателях, в аффиксах отрицания, каузатива (там же).

Досадно, что в такую солидную работу вкрались некоторые неточности. Таковы, например, адыг. *Сышъэ акълъ йылыт* (стр. 162); адыг. *къысэгъакIуэ* вместо *къэсэгъакIуэ*, *къыуэгъакIуэ* вместо *къэуэгъакIуэ*, адыг. *къыуэгъакIуэ* вместо *къэуэгъакIуэ*, *къышъуэгъакIуэ* вместо *къэшъуэгъакIуэ* (стр. 296); адыг. *скIуэгъ* вместо *скIуэгъэ* (стр. 147); *с-чъагъ* вместо *с-чъагъэ* (стр. 197); *джэгъуэгъ* вместо *джэгъуэгъэ* (стр. 256); *кIуа-гъ* вместо *кIуагъэ* (стр. 258); *с-хыгъ* вместо *с-хыгъэ*, *п-хыгъ* вместо *п-хыгъэ* (стр. 295); убых. *сышъан* вместо *шышъан* «мы становимся», *скIъан* вместо *шъкIъан* «мы идем», *аз-быйън* «они их видят» вместо «я их вижу» (стр. 200). На стр. 105 читаем: «Здесь собственное имя *Сурэат* при переходном глаголе *къыфэмIуагъэр* имеет нулевую форму; между тем как адыг. *къыфэмIуагъэр* «то, что она не смогла сказать» — непереходный глагол (точнее — причастие от непереходного глагола).

Работа М. А. Кумахова представляет собой большую научную ценность как новизной поставленных вопросов, так и разрешением их (в журнальной рецензии мы могли коснуться только некоторых из них). Рецензируемая книга, насыщенная богатым иллюстративным материалом из произведений адыгейских и кабардинских писателей и из фольклора, является значительным событием в адыговедении.

Г. В. Рогова

Е. А. Реферовская. Французский язык в Канаде.

— Л., «Наука», 1972. 215 стр.

Советская романистика получила первое монографическое исследование французского языка в Канаде. Книга Е. А. Реферовской излагает историю заселения Северной Америки и анализ языка франкоязычного населения Канады. В ходе исследования ставится и решается проблема лингвистического статуса анализируемого наречия. Рассматривая две существующие точки зрения на франко-канадский (как на самостоятельный язык и как на вариант французского), Е. А. Реферовская склоняется ко второму мне-

нию. Читатель имеет возможность убедиться в правомерности выдвигаемого положения, следуя достаточно убедительной системе доказательств, построенной на богатом языковом материале.

В книге четыре главы и небольшое заключение. Первая глава посвящена истории французов в Северной Америке и акадийцев в Луизиане. Во второй главе дается характеристика современного франкоязычного населения Канады и его языка. Последовательно показано различие, существующее между канадцами и

акадийцами, начиная с момента заселения Канады и кончая современным положением этих групп населения в стране. Различие, выраженное территориально в заселении французами двух разных районов Северной Америки — бассейна реки Св. Лаврентия (Квебек) и Приморских провинций (Акадия), закреплено историческими и этнографическими обстоятельствами, представляющими собою основу лингвистического противопоставления акадийцев и квебекцев.

Дело в том, что акадийцы были уроженцами западных областей Франции (Онис, Пуату, Сентонж), в то время как канадцы, или квебекцы, состояли в основном из нормандцев и выходцев из центральных областей. В течение длительного времени эти группы жили практически полностью разобщенно, испытывая различные внешние влияния. Это весьма способствовало сохранению в речи акадийцев и квебекцев своих особенностей, а в результате трех- или даже четырехвекового развития — дальнейшему их расхождению в лингвистическом плане.

Давая общую характеристику языку франкоканадцев, Е. А. Реферовская отмечает отсутствие в нем диалектной и социальной дифференциации, связь разговорного языка франкоканадцев с литературным языком времен его «импортирования» на американский материк и с современными диалектами Франции (стр. 68—69).

В последних двух главах — третьей и четвертой — автор показывает современное состояние языка франкоканадцев, которое является результатом совершенно особого пути его развития. И население, и язык Канады претерпевают постепенно полный культурный и административный отрыв от Франции, следствием чего явилось появление в языке франкоканадцев особенностей, не свойственных языку Франции. Таковы, например, англицизмы и индианизмы в канадском варианте французского языка; архаизмы и диалектизмы, исчезнувшие из французского языка Франции и сохранившиеся во франкоканадском; таковы многочисленные инновации, появившиеся в языке Франции после утраты ею канадских колоний и отсутствующие в языке Канады; таковы особенности в произношении, хорошо изученные в настоящее время.

При описании характерных особенностей языка франкоканадцев Е. А. Реферовская опирается главным образом на три источника сведений о современном его состоянии: это, во-первых, свидетельства ряда исследователей литературного языка франкоязычной Канады и происхождения образованной части населения; во-вторых, тщательное сопоставление лексико-грамматических особенностей языка франкоканадцев с диалектными особенностями современного французского языка; в-третьих, непосред-

венные наблюдения автора во время его пребывания в Канаде. Рядом с этим широко привлекаются данные истории французского языка, которые служат Е. А. Реферовской дополнительным материалом при доказательстве генетических связей отдельных элементов французского словаря или синтаксиса в двух его вариантах — канадском и собственно французском.

Оценка наблюдаемых факторов и явлений современного состояния языка франкоязычного населения Канады дается на основе глубокого анализа материала многочисленных словарей, — таковы «Академический словарь французского языка» (1932—1935), этимологические словари Блока и Вартбурга (1960), Доза (1938); словари старофранцузского языка Гodefруа (1937—1938), Грансье д'Отрива (1947), Шиммарева (1955); словари французского языка (Литре, Ларусс, Робер, Атцфельд — Дарместетер — Тома) и его диалектов (валлонский — словарь Гранганьяжа, нормандский — Дюмерила, пикардский — Корбле и т. д.). Широко используется лингвистический атлас Франции Жильерона — Эдмона.

Такой многомерный анализ объекта исследования дает полное основание Е. А. Реферовской утверждать, что вопрос о степени автономности франкоканадского наречия решается однозначно. Чрезвычайно убедительно показана диалектная база французского языка Канады. Говоря об архаизмах в языке потомков французских переселенцев на американский материк, автор настойчиво подчеркивает, что большинство архаизмов ведут начало от диалектных форм, главным образом от диалектизмов северо-запада и центра Франции, откуда происходила основная масса переселенцев. Так, слово *éloise* «зарница» употребляется мадленскими акадийцами; оно не зафиксировано ни одним из больших словарей (Академический словарь, Литре, Атцфельд — Дарместетер — Тома, Робер), кроме Ларусса, который сопровождает его пометой «устар.». В текстах XI—XIII вв. и в XVI в. слово употребительно; известно оно и в современных диалектах Пуату, Сентонжа, Ониса. Е. А. Реферовская отмечает диалектный характер этого слова уже в то время, когда оно было привезено на новую родину, и приводит свидетельство Менажа (XVII в.): «*éloise* это старое слово, которое значит „молния“ и которое употребляют еще сейчас в некоторых провинциях Франции, и, в частности, в Пуату».

Данные диалектологии и истории французского языка позволяют автору оспорить некоторые определения слов. Так, употребление глагола *rester* в значении «demeurer, vivre, habiter» ряд ученых считает «канадизмом». Е. А. Реферовская показывает, что это значение известно и в наши дни диалектам, в частности

нормандскому, лотарингскому и др. (стр. 92—94). Канадское название оспы *picote* сохранилось и во Франции. Е. А. Реферовская цитирует пример, взятый у Рабле: *L'un y avoit la picote, l'autre la rougeole* «у одного была оспа, у другого — корь», из которого явствует, что в XVI в. слово *picote* в народном употреблении имело то же значение, что и сегодня в канадском варианте французского языка. Как народное название оспы это слово употребляется в некоторых диалектах центра и западных областей Франции. О человеке со следами оспы на лице говорят: *il est picoté, il a la figure toute picotée* (стр. 94).

Подобным образом анализируются употребления слов *chaise, espérer, écarter, s'écarter, élan, taiser, suivre* и др., которые отнесены автором к семантическим архаизмам, т. е. к словам, сохранившим до нашего времени то значение, которое им некогда было свойственно, но сейчас утрачено во французском языке Франции. Примеры используются из современных франкоканадских текстов и из текстов XVII в. Привлекаются данные словарей диалектологических исследований.

Большое внимание уделяет автор и грамматическим особенностям французского языка. Так, анализируются употребления глагольных форм 1-го лица мн. числа вместо 1-го лица ед. числа типа: *j'en venons, j'avons* (стр. 129—130); употребления *vas* в значении 1-го лица ед. числа от глагола *aller*: *Je vas vous chanter; je m'en vas; j'vas* и т. д. Интересны наблюдения за употреблением переходных глаголов в значении переходных типа: *j'ai échappé ma plume* (= *la plume m'a échappé*); *le bac traversait un troupeau* (в значении «перевозил»). Выделяются архаические союзы (*quant et* в значении «avec, en même temps»; *d'abord que* в значении «puisque» и др.). К архаическим конструкциям относится перифраза *être après* (*faire quelque chose*) в значении «être en train de faire quelque chose», которая 300—400 лет тому назад была вполне литературной и употреблялась лучшими французскими писателями. Так, Е. А. Реферовская цитирует несколько примеров из Дезотеля, Амьё, Монтеня: *Tu te dis être après à revoir un traité de grammairer que tu as dressé* (Des Autels) «Ты говоришь, что занимаешься пересмотром грамматики, которую ты составил»; *Madame est encore après à se coiffer* (Montaigne) «Госпожа еще причешивается».

Любопытные наблюдения содержатся на страницах, посвященных изучению неологизмов. Показаны заново образованные слова, которых никогда не было во французском, и рядом с ними — переосмысления французских слов, назван-

ные автором семантическими неологизмами. Значительное место отведено также индианизмам и англицизмам во франкоканадском, среди которых внимательно проанализированы кальки и скрытые заимствования, вызванные семантическими влияниями английского языка. Приведены списки слов и конструкций, в которых прослеживаются результаты языковых контактов (см., например, на стр. 196—200, 201—205).

Автор показывает неизбежность заимствований при контакте языков в условиях билингвизма, подчеркивая мысль о том, что было бы опрочетливо и одностронне считать заимствования из английского тормозящими развитие канадского варианта французского языка и не определяющими своеобразия этого развития. Специфику языка франкоканадцев составляют его неологизмы, его архаизмы, его индианизмы и англицизмы, особенно произношения. Все это создает, по мнению Е. А. Реферовской, черты, придающие языку франкоканадцев характер непоколебимой устойчивости и верности своему прошлому (стр. 208). Французский язык Канады, подобно испанскому и португальскому в странах Южной и Центральной Америки, принадлежит широкому ареалу «Новой Романии» и, связанный с судьбой народа, говорящего на нем, постепенно и неизбежно отходит от языка-источника. «Процесс этот, — говорит в заключение своей книги Е. А. Реферовская, — при всем своеобразии, лишь ему свойственном, при всех обстоятельствах, обусловленных эпохой, развитием культуры и цивилизации, легкостью общения между носителями одного и того же языка как внутри, так и за пределами страны, чрезвычайно напоминает имевшее некогда место распространение латинского языка на территории европейской Романии». Процесс этот еще не закончен. Франкоканадцы перестали быть французами, однако их язык не перестает еще быть французским. Это — вариант французского, отмеченный особенностями, вытекающими из условий его жизни и развития.

Связь времен и взаимодействие языков и культур во времени и пространстве, внешние и внутренние факторы развития языка, частные тенденции в отдельных звеньях функционирующей и эволюционирующей системы, — эти и многие другие стороны анализируемого сложного явления, каким выступает язык франкоканадцев, затронуты в рецензируемой книге, которая представляет несомненный и весьма ценный вклад в общую теорию романистики и в частную теорию французского языка.

Л. М. Скрелина

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

23—24 мая 1972 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР проходил I Симпозиум по балканскому языкознанию, посвященный проблемам античной балканистики. Этой фундаментальной темой, необходимой для уяснения многих лингвистических и этногенетических процессов данного региона, включая славянский период, начал свою работу постоянно действующий межинститутский Балканский семинар, организованный в указанном институте. Основная цель Семинара — объединение балканистов и осуществление комплексного подхода с точки зрения лингвистики, археологии, истории, этнографии и т. п. к проблемам балканоэтнологии с преимущественным интересом к этногенезу и методике исследования.

На четырех заседаниях Симпозиума обсуждались проблемы: 1) фракийский язык, с субстратным воздействием которого обычно связывают возникновение балканского языкового союза, и его ареальные черты в аспекте северной и юго-восточной периферии (фрако-балтийские и фрако-анатолийские) лингвистические связи); 2) фригийские надписи и фригийский язык в целом; 3) древнегреческий (включая микенский) и реликтовые языки Балкан.

И. М. Дьяконов (Ленинград) в докладе «Место фригийского среди индоевропейских языков» подверг рассмотрению весь комплекс задач, связанных с изучением фригийского языка, — от истории вопроса и насущных проблем эпиграфики до реконструкции грамматики. В итоге докладчик пришел к примечательному выводу о наличии в древности фрако-фригийской ветви внутри индоевропейского и ее общей близости к армянскому при чисто сатемном характере фригийского языка, выразившемся в определенной закономерности: и.-е.

**k̂*, **ĝ* (*h*) > фриг. *s*, *z*, то перед неслоговыми сонантами *r*, *l*, *n*, *m* те же и.-е. фонемы дают во фригийском чистые веллярные *k*, *g*. Последнее положение подтверждается некоторыми примерами, извлеченными из надписей: *sikhinnis* «танец» < и.-е. **k̂ig*-; *si* «сей» < и.-е. **k̂ios*;

e-sa(̂)it caus. impf. «приготовил» < и.-е. **k̂ei*-; *zet-na* «ворота, проход» < и.-е. **ghed*-; *zel-k-ia* «зелень» < и.-е. **ghelH*-; ср., однако: *kludros* — название реки < и.-е. **klū-dhro*-, **k̂'lū-ti*-, ср. арм. *lu* < **klū-t-os*; *wekros* «свекор» < и.-е. **suekr*(*ur*)*os*; *we-gno* «своерожденный, родич» < и.-е. **sue-gno*-; *glūros* «золото» < и.-е. **ghlō-r*-; *te-tik-menos* «проклятый, обреченный», возможно, из и.-е. **deik̂*-. Постулирование (исходя из приведенного материала) сатемной принадлежности фригийского вызвало определенные возражения. Например, ряд глоссы, чья фригийская принадлежность не вызывает сомнения, не удовлетворяет правилу, сформулированному в докладе, ср. **kun*- или *kan*- «собака» — Платон, Кратил 410 (< и.-е. **kun*-) и т. д.

В сокладе В. П. Нерознака (Москва) «Современное состояние изучения фригийского языка» была дана общая характеристика основных направлений и задач в исследовании старо- и новофригийских надписей.

Проблемы фракийского языка стали предметом рассмотрения также двух сообщений. В докладе Л. А. Гиндина (Москва) «К реконструкции фракийского» аргументируется основополагающее значение этимологии в современном ее понимании для воссоздания фракийского и очерчиваются границы этимологической реконструкции на различных языковых ярусах, налагаемых специфическими особенностями исходного материала (главным образом, ономастика). Далее условно выделяются три этапа в реконструкции фракийского с своими наиболее широко применяемыми методиками: 1) ортодоксально-генетический, базирующийся в основном на корневой этимологии; 2) комбинаторно-этимологический; 3) ареально-этимологический. Именно от ареально-этимологического метода, по мысли докладчика, следует главным образом ожидать коррекции достигнутого и новых знаний в реконструкции фракийского языка. Л. А. Гиндин обосновал правомерность сплошного этимологического обследования фракийских реликтов в аспекте малоазийских тождеств (уровень

греческих передач), с последующим проплетением их в текстах на хетто-лувийских языках, и привел некоторое число «анатолийских» основ — теофорных (*Arma-, Tarhu-, Mas-ta-*) и апеллятивных (*parn(a)-, tarpa-, taba-, hasta-*), обнаруженных им в фракийском ономастическом материале. Кроме того, предлагаются истолкования (в значительной мере опирающиеся на хетто-лувийские факты) двух распространенных фракийских элементов, ранее не имевших этимологии: *-πο-ς* в *Πρία-πο-ς* «бог нестойкой производящей силы», ср. карийск. МН *Πριαπόνυρος* (Plin. V, 31, 36), лик. ЛИ *Prija-bu-hama* < анат. **p(a)rija-bu-*, при хетт. *parija(n)* и втором элементе, возводимом к и.-е. **bhū-* «расти, урождать, процветать»; тот же элемент усматривается в фрак. ЛИ *Mau-pus* и *Θεουλ-πο-ς*. По последним данным сюда же относится фрак. ЛИ *Deo-pus*; затем *-δων, -δου-* с предполагаемым значением «земля, страна, край, гесп. «город» (= греч. *χθών*) в *Μυρ-δων-ία, Μαχε-δων-ία, ἄκρα Σαρπίδων, Σιγγι-δών*] (вар. *Σιγγι-δουον*) и пр.) идентифицируется с первым компонентом догреч. *Δω-μάτηρ* (эол.), *Δαι-μάτηρ* (фесс.) и пр. (и.-е. **ghd̥h₂m* < *dhgh₂m*), фриг. м.-аз. *Γδαν-μαα* (**Γδαι-μαα*, и.-е. **ghdh₂m*) в топониме *χωρίον Γδανμαας* (МАМА I, 339), имеющего этимологическое значение «Мать-земля», эквивалентное догреческому теониму. В прениях по докладу было высказано пожелание в более точной датировке и источниковедческой характеристике фактов (И. М. Дьяконов; повторено и в связи с докладом В. Н. Топорова); известное недоверие вызвало чисто фракийское объяснение *Σιγγιδουον*.

Богатый по материалу доклад В. Н. Топорова (Москва) «К древним балкано-балтийским связям в области языка и культуры» является итогом многолетних разысканий. Предлагаемый сопоставительный и этимологический материал, распределенный на 7 разделов: 1) «Фракийско-балтийские параллели в области гидронимии и топонимии» (свыше 60 сопоставлений, охватывающих фракийскую лексику от А до К и отсутствующих у И. Дуриданова)¹; 2) «О возможной интерпретации некоторых дакийских названий растений»: *Usa-zila* «собачий язык» (и.-е. **uka-* «корова» + **ghel-* «трава»); литов. *karvāžolė* «*Calta palustris*»; *Σκάρη* «*Dipsacus fullonum*, вид чертополоха, осота и пр.» (к и.-е. **sker-* «резать»; латыш. *skare, skara* «*Haferrispe*», литов. *skarėnis* «порезник»); *Τσίβλια* «дикая мята», по свойству вызывать чихание, из и.-е. *(*s*)*keud-*, отраженном в литов. *čiāudėti* «чихать», диалект. *skiāudėti* и пр., а также в литов. *čiāudāle* «*Achil-*

lea ptarmica» и пр., ср. русск. *чихотная трава* «*Achillea millefolium*» и т. д.; *Amolusta*, при алб. *amëlë*: литов. *āmalas*; латыш. *amuols* и пр., прусск. *emelno*, слав. *omela* (ср. суффикс *-ūsta* в балтийском). Прочие разделы посвящены этимологическому объяснению отдельных балканских лексем, за одним исключением, древних; 3) Развивается старое (Г. Майер и др.) отождествление рум. *viezure* «барсук» с алб. *vjedhullë* то же, по «волочащейся» походке из и.-е. **ueǵhu-lo*; 4) Имя хтонической богини плодородия *Nor-eia*, скорее иллирийской, чем кельтской, связывается как с обозначением жизненной силы, плодородия, так и с обозначением низа (земли, воды), ср. эддический бог моря *Njördr*, этр. *Nortia*; единство обоих смыслов данного корня отражено в др.-инд. и авест. *nar-*, литов. *norėti* «хотеть» (в сексуальном смысле), слав. **norъ* и др. при др.-инд. *naraka-* «дыра; подземное царство», *nārāḥ* «воды», слав. **nora*, литов. *nerbėve* «русалка» и пр., прусск. *Neruttei* — обозначение жрецов, связанных с водой; 5) Указываются, вслед за Якобсоном, возможные следы балто-славянского бога грома и грозы **Perk(ǵ)u-* на Балканах в связи с общебалканским персонажем, отраженным в сербо-хорв. *Пропоруше*, болг. и макед. *Пеперуна, Преперуна* и пр. н.-греч. *Περπερούνα*, рум., арум. *Pirpirúna* и др., алб. *Perperona* и т. д., изофункциональным лат. *Proserpina*, др.-греч. *Περσεφόνη*, этр. *Phersipnai* (источник античных имен — предположительно в догреческом слое Балканского п-ова и зап. Малой Азии); 6) Хеттский теофорный антропоним и имя бога *Perça*, связанное с культом лошади (староассирийские таблички), сопоставляется до возможности отождествления с именем фракийского конного бога *Ἡρως*, изображаемого повсеместно на коне с оружием в правой руке, и др.-греч. *ἦρος* из *ἦρωF-* и т. д. (для начала слова ср. судьбу *p* в армянском: *het* «след» при др.-греч. *πῆδον*); 7) Толкование семантическое и формальное фракийского названия бога трехлетнего цикла, обновителя и врачавателя *Ζάμωξίς* в связи с теонимами — др.-греч. *Ἀσκληπιός*, хетт. (< хатт.) *Telepinus* и некоторыми другими апеллятивными лексемами, возводимыми к исходным формам консонантической структуры типа **t-l-p(b)-*, **sk-l-p(b)-*, **sk-l-m-* и под.; сюда же отнесено имя фракийского бога *Γεβελίσις*, ранее идентифицируемое с *Ζάμωξίς* на иных основаниях (П. Кречмер и др.).

В. В. Ш е в о р о ш к и н (Москва) в докладе «К происхождению и взаимовлиянию алфавитов Балканского п-ова, островов Эгейского моря и Малой Азии» высказал идеи о том, что «изобретение» алфавитных письменностей, восходящих непосредственно или опосредствованно к семитскому «консонантному» письму,

¹ См. сб. «Балканское языкознание», М., 1973

было актом не единичным, не однолинейно направленным и разноместным, при постоянном взаимовлиянии соседних письменностей.

Два небольших, насыщенных фактами сообщения были прочитаны Вяч. Вс. Ивановым (Москва). В первом «К происхождению микенского греческого *wa-na-ka*» на базе новейших разысканий о значении данного термина (в ряде табличек вообще «бог, божество-покровитель», вероятно, чаще Посейдон) окончательно утверждается предположенное Лиденом и Педерсеном родство греч. *Γάλαξ* и тох. *A ñkât*, род. п. *ñaktes* «бог», тох. *V ñakte*, род. п. *ñakentse*. Сюда же отнесен ст.-фриг. *vanaktei* в качестве исконно родственного. Во втором сообщении «Проблема названия „зубра“ в балканских, славянских и балтийских языках» уточняется география этого бродячего термина в аспекте фактов кавказских языков с эпицентром распространения в последних.

Проблемы классического греческого языка были затронуты в докладах И. А. Перельмутера (Ленинград) «К предьстории древнегреческого глагола» и О. С. Широкова (Москва) «Классификация древнегреческих диалектов и проблема древнебалканских изоглосс» (по рефлексам палатализации шумных согласных в древнегреческих диалектах, албанском и армянском как представителей древнебалканского языкового союза (?)).

В заключение Вяч. Вс. Иванов познакомил аудиторию с некоторыми результатами его общей с Т. В. Гамкрелидзе работы, касающимися постулирования индоевропейской прародины в ближневосточном ареале (район Куро-аракской культуры — предгорья южного Кавказа восточная Анатолия, север Междуречья).

Л. А. Гиндин (Москва)

*

С 24 по 27 октября 1972 г. в Москве проходила научная конференция на тему «Соотношение естественных и искусственных языков», организованная Институтом языкознания АН СССР и Научным советом по проблеме «Кибернетика» при Президиуме АН СССР. Было прослушано и обсуждено около 80 докладов и сообщений по следующей проблематике: 1) естественные языки и искусственные знаковые системы; 2) языки науки; 3) естественные языки (ЕЯ) и информационные языки (ИЯ); 4) естественные языки и формальные языки (ФЯ); 5) метаязыки лингвистического описания; 6) естественные языки и искусственные языки международного общения.

Во вступительном слове чл.-корр. АН

СССР В. Н. Ярцева (Москва) отметила важность поставленных проблем как для научной теории, так и для решения народно-хозяйственных задач.

В коллективном докладе Г. В. Колшанского, Е. С. Кубряковой, Ю. С. Степанова и Т. В. Булыгиной (Москва) «Естественные языки и искусственные знаковые системы» были указаны принципиальные отличия ЕЯ от вторичных искусственных систем. Несомненно и тесная связь между ЕЯ и искусственными языками, выражающаяся, в частности, в том, что последние часто строятся на основе моделирования определенного языкового типа (аморфного, флективного и др.). Таким образом, совершенствование моделей искусственных языков подразумевает глубокое изучение принципов организации ЕЯ. И наоборот, как указал в своем выступлении Г. П. Мельников (Москва), в процессе создания искусственного языка для общения человека с машиной уточняются механизмы становления и функционирования ЕЯ.

Выступления В. И. Клепко (Москва), П. И. Копанева (Минск), Б. В. Бирюкова (Москва) и В. Ф. Лобаса (Ворошиловград) были посвящены соотношению понятий «искусственное» и «естественное» в применении к языковым системам. В. И. Абаев (Москва) говорил о неприменимости термина «естественный» к человеческому языку. На необходимость точного категориального определения понятий «естественный» и «искусственный» указал Г. П. Щедровицкий (Москва). Р. Г. Пиотровский (Ленинград) затронул вопрос о соотношении знака ЕЯ и машинного знака.

Специальное заседание было посвящено проблеме «языки науки», их специфике, месту в общезыковой системе и соотношению друг с другом — сообщения Л. А. Хухлиной (Новосибирск), Ю. А. Левецкого (Пермь), В. И. Эпкенази (Томск).

В докладе Вяч. Вс. Иванова (Москва) «Общие термины в языках науки» говорилось о том, что каждый из общенаучных терминов, употребляющихся в частных науках, должен быть предметом особой научной дисциплины (например, понятия «информация», «симметрия»). Если рассматривать общее языкознание как теорию, изучающую общие свойства языка, то набор основных терминов общего языкознания должен быть единым для описания любых языков (ср. опыт общей фонетики и современные работы в области порождающей семантики).

Сообщение В. В. Мартынова (Минск) было посвящено семиотическим предпосылкам создания единого языка науки.

В сообщении В. К. Гака и Б. М. Лейчика (Москва) анализировалось

соотношение искусственного и естественного в терминсистемах, которые, будучи искусственными образованиями как в плане выражения (специфические словообразовательные модели, аббревиатура и т. д.), так и в плане содержания, испытывают давление общеязыковой системы (тенденция к двухсторонней асимметрии и многозначности и т. д.).

Обсуждение проблемы «Естественные языки и информационные языки» было открыто докладом С. Э. Влэдуща (Москва), который отметил, что потребности информационного поиска вызывают необходимость создания ИЯ, по семантической силе приближающихся к ЕЯ. Однако чем сложнее ИЯ, чем больше они отражают структуру обслуживаемой ими науки, тем дальше они друг от друга. Общей основой для их сопряжения может, по мнению докладчика, служить ИЯ, построенный для области донаучных сведений. При построении такого языка следует опираться на результаты работ по созданию модели «Смысл ↔ Текст» и успехи порождающей семантики.

На тесную связь теории ИЯ с лингвистической семантикой указал В. А. Москович (Москва); в своем выступлении он выделил задачи, представляющие интерес для обеих дисциплин: 1) определение степени информативности слов в тексте; 2) разработка объективных методов выявления лексико-семантических связей слов.

Э. Ф. Скорородько (Киев) рассмотрел критерии классификации семантических структур текстов (преимущественно, научно-технических), определение типов которых необходимо при выборе режима работы информационной системы.

Принцип функционального моделирования, лежащий в основе построения ИЯ типа «Запрос — Ответ», обуславливает новый взгляд на семантику, подчеркнул С. Я. Фиталов (Ленинград). Поскольку знание семантики сводится к умению «разумно» пользоваться текстами для выдачи ответа на запрос, то семантика в таких системах суть правила преобразования или выводимости одних текстов из других. Сходную точку зрения высказал Г. М. Ильин (Ленинград). В сообщениях ленинградской группы рассматривалась возможность применения таких принципов к описанию не только ИЯ, но и ЕЯ. Так, Б. М. Лейкина (Ленинград) на примере анализа понятия множественности в ЕЯ показала, как единицы смысловой структуры могут классифицироваться и описываться через содержательные выводы, которые они позволяют делать из данного текста.

Проблема построения ИЯ, начиная от простых дескрипторных тезаурусов до самых сложных информационно-логических языков была темой многих выступлений. Так, в сообщении В. К. Вахובהва и В. Г. Зайцева (Пермь)

излагалась структура системы, способной функционировать с сводом первого документа от начального бестезаурного состояния до тезауруса. Р. Ю. Кобрин (Горький) указал на возможность использования терминологии ЕЯ в качестве языка индексирования для информационно-поисковой системы. А. И. Бобров (Пермь) предложил в качестве промежуточного смыслового языка при переводе с ЕЯ на ИЯ язык трехчленных ядерных конструкций. В. Д. Писцов (Ленинград) изложил проект такой информационно-логической системы, в которой в качестве информационно-логического служит ЕЯ. В. Н. Белоозеров (Москва) описал структуру фонетического компонента ИЯ.

Заседание, посвященное ЕЯ и ФЯ, открылось докладом Ю. А. Шрейдера «О статусе математической лингвистики как инструмента изучения естественных и формальных языков». В его определении математическая лингвистика призвана открывать и изучать математические структуры, существующие в языковых объектах, причем предметом математической лингвистики являются не индивидуальные объекты, а классы моделей. По мысли докладчика, математическая лингвистика может развиваться в плодотворном взаимодействии с традиционной лингвистикой.

Ряд выступлений был посвящен свойствам формальных грамматик (М. Л. Ломковская, Москва; А. Я. Диковский, Новосибирск; Э. Д. Стоцкий, Москва).

О чертах сходства между языками программирования и ЕЯ говорил Г. С. Цейтин (Ленинград). Чем сложнее конструируемый язык, тем он ближе к ЕЯ как по основным синтаксическим свойствам, так и по семантике.

Были прослушаны сообщения об описании отдельных фрагментов ЕЯ путем сопоставления с языками математической логики. Таким способом, например, описывает истинные и неистинные кванторные значения Т. А. Тулина (Одесса), дает анализ сильного и слабого отрицания Н. В. Коссека (Одесса), обнаруживает имплицитность некоторых высказываний в ЕЯ Т. А. Колосова (Алма-Ата).

Наибольшее количество сообщений группировалось вокруг проблемы «Метаязыки лингвистического описания». И. А. Мельчук (Москва) в докладе подчеркнул, что формализация языка в лингвистике особенно необходима из-за возможности смешения языка-объекта с метаязыком. Он изложил результаты работ в области формализации языка лингвистического описания в рамках модели «Смысл — Текст», которая обуславливает использование нескольких ФЯ, разделяемых на два класса: 1) языки, на которых записывается текст модели, — языки для записи

представлений высказываний на всех уровнях и для записи правил соответствия и процедур перехода между уровнями (метаязыки по отношению к ЕЯ); 2) языки для описания моделей «смысл — текст» — метаязыки по отношению к ЕЯ, включающие в себя как систему строящихся дедуктивно лингвистических понятий, так и математический формализм для описания моделей.

Ряд выступлений был посвящен теоретическим и методологическим аспектам метаязыка. Так, по мнению Л. Н. Засориной (Ленинград), в последние годы наблюдается преувеличение роли формализации лингвистического описания. В. А. Строганов (Москва) отрицал существование границы между языком-объектом и метаязыком.

Большинство выступавших предлагали образцы ФЯ разнообразного вида и назначения. Ю. С. Мартемьянов (Москва) предложил фрагмент семантической грамматики, средствами которой порождаются некоторые «ядерные» реляционно-семантические формулы и производятся преобразования над ними. Темой сообщения Ю. Д. Апресяна (Москва) был язык для описания синтаксических свойств слова, используемых в автоматическом смысловом синтезе. Была рассмотрена валентностная структура сложного предиката, правила упорядочивания валентностей, случаи синкретизма ролей при выражении валентностей. Анализировались ограничения на сочетаемость слова по данной валентности. Указано было на три типа синтаксической и семантической валентности (обязательная, факультативная и нулевая) и рассмотрено их пересечение.

Е. В. Падучева (Москва) в сообщении «Модальности в естественных языках и языках смысла» показала, как включение четырех типов модальностей (утвердительной, презумптивной, вопросительной и нейтральной) в глубинную структуру дает возможность привести в систему ряд разрозненных явлений поверхностного синтаксиса. Глубинная модальность проявляется в описаниях 1) перехода от семантических представлений к поверхностным структурам; 2) грамматической правильности, т. е. разного рода сочетаемостей и несочетаемостей наклонений; 3) синонимических трансформаций.

В сообщении В. М. Труба (Киев) предлагался ряд правил, позволяющих восстановить в языке семантической записи сокращенные «места» сложных предикатов.

З. М. Шалапина (Москва) изложила требования, предъявляемые к языку для записи значений слов в рамках моделей типа «смысл — текст»: толкование представляет собой структуру из элементарных семантических единиц (СЭ), обладающих парадигматическими и синтагматическими свойствами, которые обу-

славливают сочетаемостные свойства слова.

В сообщении А. К. Жолковско-го и Ю. К. Щеглова (Москва) были рассмотрены два основных компонента описания художественных текстов — понятия темы и приемов выразительности. На примере анализа поэзии Б. Пастернака было рассмотрено понятие «поэтического мира» как набора инвариантных тем — семантических постоянных автора.

Ю. И. Левин (Москва) предложил ФЯ для записи отношений родства. Были рассмотрены алгебраические свойства такого языка.

Х. Ыйм (Тарту) предложил представлять функциональную структуру предложений (тема, рема, коммуникативный динамизм) в виде последовательности элементарных сообщений. Сообщение Н. Н. Арават (Черновцы) было посвящено описанию механизма порождения смысла предложения. Э. Гольберг (Москва) рассказал о попытках экспериментального подхода методами нейропсихологии к решению задачи определения смысловых структур, являющихся единицами понимания текста и записи его в памяти.

В докладе С. К. Шаумяна (Москва) «Формальный метаязык и формальная теория как два аспекта порождающей грамматики» рассматривался универсальный операторный язык, пригодный как для описания любого ЕЯ на таксономическом уровне, так и для построения формальной теории ЕЯ. Последняя включает в себя базисный генотипический язык (язык мыслей) и гипотетический преобразователь выражений от базисного языка через производный генотипический язык (язык абстрактных лингвистических форм воплощения мыслей) до фенотипического языка (конкретные лингвистические формы воплощения мыслей). Преобразователь содержит ряд операторов (конверсии, слияния, идентификации и т. д.), называемых комбинаторами. С. К. Шаумян остановился на понятиях микро- и макроситуаций и семантического поля.

Л. З. Сова (Ленинград) сформулировала требования к метаязыку лингвистики, моделирующей процессы порождения текстов.

М. В. Арапов (Москва) предложил количественное определение меры продуктивности и продуктивного класса. С. И. Гиндин (Москва) построил дедуктивную типологию возможных трактовок связанного текста и в свете ее сравнил имеющиеся в лингвистике определения связанного текста.

Сообщения Т. Д. Корельской (Москва), И. Б. Долининой (Ленинград), Л. А. Бирюлина (Ленинград) были посвящены вопросам описания синтаксиса естественного языка.

В сообщении М. Л. Муравиковой и В. И. Перебейнос (Киев) было дано описание алгоритмической класси-

фикации словоформ по типам словоизменительных парадигм.

В постановленном вне заседаний докладе В. В. Н а л и м о в а (Москва) «Вероятностная модель языка» была дана классификация представлений о языке как о жесткой (слова — имена вещей) и мягкой системе (со словом связано поле значений). Была представлена семантическая шкала языков, на одном конце которой оказываются жесткие языки типа языков программирования, а на другой — мягкие языки; в них крайнее положение занимает язык абстрактной живописи.

Отдельное заседание было посвящено проблемам интерлингвистики, которая в докладе М. М. И с а е в а (Москва) была охарактеризована как составная часть социолингвистики, находящаяся на стыке языкознания, социологии и филологии.

С. Н. К у з н е ц о в ы м (Москва) были рассмотрены основные виды классификации международных искусственных языков (МИЯ) (по способу образования, количеству и качеству языковых манифестаций, по соотношению инвентаря морфем и слов, по тому, как строится инвентарь морфем, и т. д.). В. А. В а с и л ь е в (Москва) говорил о предпосылках внедрения языка международного общения в повседневный обиход, Д. А. А р м а н д (Москва) — о возможности использования эсперанто в качестве языка науки. В. П. Г р и г о р ь е в (Москва) настаивал на необходимости нормализации не столько морфем, сколько слов МИЯ. В сообщении А. И. В а й т и л а в и ч у с а и А. И. С к у п а с а (Вильнюс) было произведено сравнение словарного состава эсперанто с лексикой и словообразованием в национальных языках, причем указаны коммуникативные преимущества первого. Э. А. М о з е р т (Рига) отметил, что эсперанто, в отличие от родного языка, положительно влияет на усвоение иностранного языка. А. М. Л и х т г е й м (Москва) заметил, что, в отличие от ЕЯ, для МИЯ орфография является одновременно и фонетической, и фонематической, и морфологической.

Заключительным был доклад Н. Д. А н д р е е в а (Ленинград) «Естественные, искусственные и машинные языки в обществе будущего». Прослеживая тенденцию развития названных систем через взаимодействие между ними, докладчик полагает, что в результате конвергенции возникнет язык, единый для комплекса информационных машин и людей, причем сосуществование такого языка со всеми остальными будет длительным и устойчивым.

В решениях конференции был рекомендован ряд мер по расширению масштабов исследований в области описанной выше проблематики, в частности, включение в проблемно-тематический план языко-

ведческих институтов АН СССР исследований и экспериментальных работ по формализации лингвистических описаний и созданию искусственных языков, организация при ОЛЯ АН СССР Вычислительного центра, выпуск специального журнала по вопросам структурной и прикладной лингвистики.

С. Е. Никитина (Москва)

*

30—31 октября 1972 г. в Кишиневе состоялась научная конференция «Типология сходств и различий в группе близкородственных языков», организованная Институтом языкознания АН СССР и Институтом языка и литературы АН Молдавской ССР. В ней приняли участие представители научных учреждений и вузов Москвы, Ленинграда, Кишинева, Киева, Харькова, Калинин и других городов страны.

На конференции были рассмотрены вопросы различий и сходств близкородственных языков в социолингвистическом аспекте (типология языковых ситуаций) и в собственно лингвистическом плане. Актуальность разработки указанных проблем определяется не только общенаучными задачами, но и задачами языкового и культурного строительства, языковой политики в республиках Советского Союза, в том числе в Молдавии.

В докладах, построенных на материале многочисленных языковых ареалов — восточнороманского, испано-американского, англо-американского, франко-канадского, бразильско-португальского, немецко-австрийского, таджикско-персидского и других — освещались как общие вопросы теории языковых вариантов, так и конкретные типы языковой вариативности.

Р. А. Б у д а г о в (Москва) в своем докладе «Близкородственные языки и некоторые особенности их изучения» отметил особенность романского лингвистического ареала: на его протяжении размещаются языки, сравнительно резко отличающиеся друг от друга (ср. французский и румынский), и языки, настолько близкие друг к другу, что их последовательное различение связано с преодолением ряда трудностей (ср. каталанский и провансальский). Автор подчеркнул, что при лингвистической классификации языков нельзя не считаться с культурно-историческим и географическим распространением языков, подлежащих классификации. В процессе характеристики близкородственных языков важно учитывать и функциональное несходство отдельных языковых категорий при внешних их совпадениях, и сознание людей, говорящих на данном языке, и темпы развития разных языков в разные эпохи.

В. Г. Г а к (Москва), определяя типы языковых образований (национальные языки, национальные варианты языков, диалекты и т. д.), отмечает в своем докладе «Проблема соотношения между родственными языками в функциональном аспекте», что в качестве критерия тождества или отдельности языка берется прежде всего норма, внешний, но наиболее заметный и характерный элемент языкового устройства, данный говорящим в их непосредственном опыте. Специфика языка определяется не только тем, какие единицы в нем имеются, но и функционированием этих единиц в конкретных актах речи. Исследование закономерностей функционирования однотипных языковых единиц показывает, что родственные языки имеют больше общего, чем неродственные в сфере узуса. Узус предстает как один из показателей тождества и различия социолингвистических образований.

Г. В. Степанов (Москва) в докладе «Объективные и субъективные определения понятий „диалект“, „вариант языка“» останавливается на объективных факторах (языковых и внеязыковых), позволяющих выделить понятие «национальный вариант языка». Национальный вариант языка характеризуется более сложной социальной стратиграфией и выполняет более разнообразные общественные функции, чем диалект. Уточняя постановку и понимание принципиальных вопросов языковой ситуации в Молдавской ССР, Г. В. Степанов охарактеризовал понятие «молдавский язык», стоящий в ряду таких самостоятельных романских языков, как национальные языки Франции, Румынии, Испании, Италии, в социолингвистическом плане как самостоятельный — в смысле свободного независимого функционирования и развития — язык молдавской социалистической нации, имеющий типичную структуру любого развитого языка нации, т. е. располагающего собственным литературно-письменным стандартом, специфической формой литературно-разговорной речи, связанных с формами обиходно-разговорной речи и говорами молдавского национального ареала.

В докладе «Основные характеристики понятия национального варианта литературного языка» А. И. Домашнев (Ленинград) останавливается на случаях, когда две или более различных нации используют в престижной социальной функции (в качестве литературного и государственного) язык, который в лингвистическом плане, в отношении основного инвентаря элементов, своей субстанции и структуры является единым. Национальный вариант воспроизводит социально-функциональную модель самостоятельного национального языка (диалектам отведено иерархически зависимое место). Совокупность национальных вариантов

литературного языка образует некую «архисистему». В лингвистическом плане это соответствует ситуации, при которой национально неомогенный язык существует как абстракция и практически реализуется в виде отдельных национальных вариантов.

В докладе «Современные языковые союзы и методы их изучения» Ю. С. Степанов (Москва) останавливается на двух противоположных тенденциях, объектом которых является национальный язык — разделительной (пример — испанский язык Испании и испанский язык в разных странах Латинской Америки) и объединительной (пример: сближение испанского языка Мексики с английским языком США). Используя материал разных групп и систем языков, Ю. С. Степанов отмечает, что при описании «современных языковых союзов» — от тесного языкового союза социалистических наций нашей страны в составе менее тесного языкового союза социалистических наций Европы и Азии, и т. п. — которые могут быть поняты и охарактеризованы только с учетом того, что в их основе лежит межнациональное общение и контакты на уровне национальных языков, — ключевым является понятие «национальный язык».

А. Д. Швейцер (Москва), оперируя понятиями «национальный вариант языка» и «вариант литературного языка», в своем докладе «К вопросу о типологии национальных вариантов языка» предложил характеристику некоторых лингвистических и социальных параметров, которые могли бы лечь в основу типологии национальных вариантов языка.

В докладе «Близкородственные языки или национальные варианты? (Еще раз о молдавско-румынской проблеме)» Р. Г. Пиотровский (Ленинград) ставит вопрос о критериях, оценивающих степень расхождения близкородственных языковых реальностей («говорений»). Их нужно искать в синхронии языка (ориентируясь при этом не на систему языка, а на его современную норму и на стилевые ориентации этих норм). Учитывая тот факт, что норма и стиль имеют вероятностную природу, эти критерии следует вырабатывать на базе статистико-дистрибутивного анализа параллельных текстов.

Тезисы доклада В. В. Аклуенко (Харьков) «О понятии „вариант языка“» посвящены определению данного сложного и многоаспектного понятия на основе как собственно лингвистических, так и социолингвистических признаков.

Анализ некоторых конкретных типов языковой вариативности содержался в совместном докладе И. К. Вартичана, С. С. Чиботару, С. Г. Бережана, А. М. Дырула (Кишинев) «Предпосылки к определению статуса молдавского типа речи как националь-

ного средства общения». В докладе в терминах вариативности дается характеристика соотношения близкородственных молдавского и румынского национальных языков, с одной стороны, и их стандартных вариантов, с другой. Авторы приходят к выводу, что на современном этапе развития молдавский и румынский языки представляют собой варианты единой дакороманской языковой системы или, другими словами, что дакороманская языковая система как некая «архисистема» реализуется практически в виде двух конкретных вариантов: румынского и молдавского языков.

В докладе «Канадский вариант французского языка» Е. А. Реферовская (Ленинград) ставит вопрос, имеются ли лингвистические основания говорить об особом «канадском» языке при несомненных отличиях разговорного и, отчасти, литературного французского языка Канады от языка Франции. Анализируя особенности французской речи канадцев и опираясь не только на лингвистические, но на социальные и социально-политические критерии, автор считает, что французский язык Канады вполне отвечает представлению о языковом варианте, подобно бельгийскому или швейцарскому вариантам французского языка.

Н. А. Катгощина (Москва) посвятила свой доклад «Языковая ситуация в Бразилии» проблемам, связанным со становлением бразильско-португальского письменно-литературного стандарта. В Бразилии наряду с письменно-литературным стандартом, ориентирующимся в большей или меньшей степени на португальско-европейские нормы, существует так наз. *lingua popular* — разговорный язык обширных внутренних районов Бразилии. Это не язык-посредник (*lingua franca*), а скорее общий относительно однородный язык креольского типа, характеризующийся упрощением глагольных флексий и сокращением флексий в именах.

В докладе «К вопросу о путях развития близкородственных литературных языков» В. С. Расторгуева (Москва) на материале персидского и таджикского языков прослеживает степень, характер, направление языковой дифференциации близкородственных литературных языков в разных исторических ситуациях. В докладе освещаются весьма значительные расхождения между упомянутыми языками в области фонетики, морфологии, лексики. Эти расхождения носят системный характер и затрагивают

все языковые уровни. Важным фактором в обособлении таджикского и персидского языков является их различная социальная значимость и социальные функции.

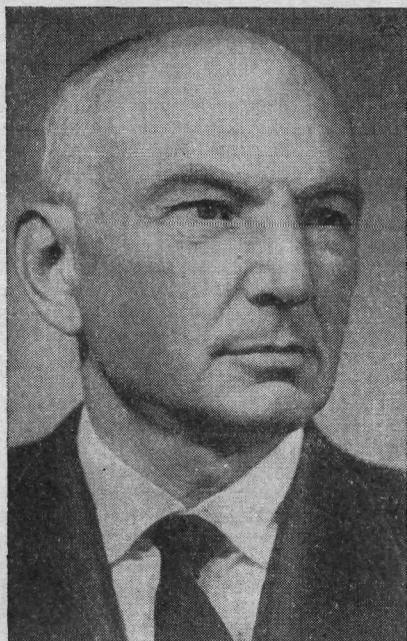
В докладе М. А. Бородиной (Ленинград) и С. П. Николаевой (Ленинград) «К вопросу о равнозначности и подчиненности вариантов языка» рассматривается проблема вариативности национального языка, ее особенности в разных областях Рومании, в разных экономических и политических условиях, в разные исторические периоды.

В ходе научной дискуссии, развернувшейся после докладов (в прениях выступили С. Г. Бережан, Т. П. Ильяшенко, С. В. Семчинский, А. Б. Чижиковский, Б. И. Ваксман и др.), продолжалось рассмотрение вопросов о статусе национальных языков социалистических наций и языковых союзов. Широкий обмен мнениями по указанным проблемам способствовал уточнению постановки принципиальных вопросов языковой ситуации национальных языков в советских республиках, в частности, в Молдавии.

Конференция показала, что изучение языка социалистической нации предполагает раскрытие таких основных положений, как: свобода и самостоятельность развития языка литературы, благоприятные условия для приобщения всех носителей языка к высшей форме национальной речи, возможность осуществления сознательного нормирования языка, создание общих единиц лексического фонда на базе контактирующих языков социалистических наций, использование коллективного опыта в языковом строительстве, осуществление языковой политики, основанной на принципах марксистско-ленинской науки о языке и нации с учетом конкретной языковой ситуации, выработка правильного отношения к языковым явлениям, возникающим в результате языкового союза социалистических наций, правильное понимание соотношения родного языка и языка межнационального общения в условиях существования союза социалистических наций и т. д. В целях дальнейшей углубленной разработки перечисленных проблем конференция признала необходимым объединить усилия ученых-лингвистов, литературоведов, социологов, историков, философов.

Участники конференции, проведенной в юбилейный год 50-летия образования СССР, с удовлетворением отметили плодотворность сотрудничества учреждений АН СССР и АН союзных республик.

Л. И. Лузм (Москва)



АКАДЕМИК Г. В. ЦЕРЕТЕЛИ

Советская филологическая наука понесла большую утрату — 9 сентября 1973 г. в Тбилиси после тяжелой болезни скончался крупнейший филолог-востоковед, глава отечественной школы семитологии, член Редакционной коллегии журнала «Вопросы языкознания», действительный член АН СССР и АН ГрузССР Георгий Васильевич Церетели. Ушел из жизни выдающийся ученый, прокладывавший новые пути развития отечественной науки.

Г. В. Церетели родился 21 октября 1904 г. в г. Тианети (Грузия) в семье врача. По окончании отделения языкознания философского факультета Тбилисского университета в 1927 г. он был оставлен для подготовки к профессорской деятельности. После прохождения курса аспирантуры АН СССР по арабистике в Ленинграде Г. В. Церетели направляется на постоянную работу в Тбилиси, где в 1936 г. он был назначен заведующим отделом языков Ближнего Востока во вновь организованном Институте языка, истории и материальной культуры Грузинского филиала АН СССР. С 1945 г. ученый стал заведовать кафедрой семитологии Тбилисского государственного университета, а с 1960 г. он возглавлял Институт востоковедения АН ГрузССР.

Талант Георгия Васильевича как ученого и организатора филологической науки во всей своей широте раскрылся с 40-х годов. Ему принадлежала инициатива создания Института востоковедения АН ГрузССР, превратившегося в один из крупнейших центров мировой ориенталистики, а также Комиссии по иностранным источникам истории Грузии при Президиуме АН ГрузССР. При его деятельном участии была образована Комиссия по установлению академического текста поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Г. В. Церетели был членом Главной редакции восьмитомного «Толкового словаря грузинского языка», членом редакции Грузинской советской энциклопедии, а с 1971 г. — членом Редакционной коллегии журнала «Вопросы языкознания».

В 1944 г. Г. В. Церетели был избран членом-корреспондентом АН ГрузССР, в 1946 — академиком АН ГрузССР и членом-корреспондентом АН СССР, а с 1968 г. становится действительным членом АН СССР. В 1957—1967 гг. он являлся академиком-секретарем Отделения общественных наук АН ГрузССР, в 1967—1970 гг. — ее вице-президентом, до последних дней был членом Президиума АН ГрузССР.

Научные интересы Георгия Васильевича охватывали арабское языкознание и фольклор, древние языки Ближнего Востока, историю ближневосточных письменностей, картвельское языкознание, принципы грузинского стихосложения. В каждой из этих областей он создал выдающиеся труды, которые вошли в сокровищницу отечественной филологии. При всей многогранности своей научной деятельности Г. В. Церетели прежде всего был замечательным лингвистом.

Его монография «Урартские памятники Музея Грузии» (1939) представляет собой образцовую публикацию эпиграфических памятников древнеписьменного языка.

Другая книга — «Армазская билингва» (1941 г.) посвящена исследованию неизвестной до того времени разновидности арамейского письма, названной им «армазской», а также вопроса о происхождении грузинского алфавита. Большим событием в отечественной арабистике явилось издание его фундаментального труда «Арабские диалекты Средней Азии» (1956), который ввел в обиход науки новый богатый материал языка среднеазиатских арабов. Важное лингвистическое и историко-культурное значение имеет монография Г. В. Церетели «Древнейшие грузинские надписи из Палестины» (1960), где публикация ранних памятников грузинской эпиграфики сопровождается исследованием проблемы происхождения грузинского письма. Эта работа примыкает к целой серии ранее напечатанных им статей, в которых рассматриваются вопросы генезиса грузинского алфавита. Его работы по проблематике языковых союзов и теории аллогенетических отношений языков являются новым словом в теоретической лингвистике, а разработанные им оригинальные принципы классификации семитических языков составляют существенный вклад в мировую семитологию. Велики заслуги ученого в подготовке критического издания текста бессмертной поэмы Шота Руставели. Недавно вышедшая в свет монография Г. В. Церетели «Метр и рифма в поэме Руставели „Витязь в барсовой шкуре“» (1973) излагает его открытия в исследовании как поэтики Руставели, так и грузинского стихосложения вообще, имеющие существенное значение для разработки проблем сравнительного стиховедения.

За долгие годы преподавательской деятельности Георгий Васильевич воспитал немалое число языковедов, успешно работающих в различных лингвистических учреждениях страны. Всесторонняя и глубокая эрудиция, а также незаурядные организаторские способности создали ему заслуженный авторитет в мировой науке. Г. В. Церетели неизменно привлекал внимание зарубежной научной общественности к достижениям советской филологической науки. Признанием выдающихся заслуг ученого явилось его избрание почетным членом Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии, а также почетным членом Польского общества ориенталистов.

Большую научную и научно-организационную работу Г. В. Церетели сочетал с общественной и государственной деятельностью. Он являлся депутатом Верховного Совета ГрузССР VI, VII и VIII созывов, членом Президиума Верховного Совета ГрузССР VII созыва. В течение целого ряда лет он был председателем Грузинского отделения Советского общества дружбы с арабскими странами.

Творческая смелость, способность решительно порвать с изживающими себя традиционными представлениями науки были определяющими качествами личности ученого. Эти замечательные черты постоянно сообщали его исследованиям дух новаторства, позволявший ему неизменно находиться в авангарде мировой науки.

Светлая память о Георгии Васильевиче Церетели, выдающемся ученом и человеке щедрой души, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и друзей. Его научные труды останутся ярким свидетельством достижений отечественной филологической науки.

Редколлегия

CONTENTS

Articles: G. A. Klimov (Moscow). On the genesis of the ergative sentence construction; **Discussions:** A. P. Volodin (Leningrad). Contribution to the problem of ergative construction of sentence; D. J. Edelman (Moscow). The sentence constructions in Iranian languages; G. K. Werner (Taganrog). Relics of the active typology in Ket; G. A. Menovščikov (Leningrad). Eskimo-Aleut languages and their relation to other language families; L. B. Nikolskij (Moscow). On the subject-matter of sociolinguistics; **Materials and notes:** O. S. Širokov (Moscow). The phonemic system of Chuckchee vocalism; V. V. Kolesov (Leningrad). Dialect prosodic features in the history of Russian, G. F. Blagova (Moscow). From the history of Turk ethnonyms in Russian; V. I. Maksimov (Leningrad). On the method of derivational analysis; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: G. A. Klimov (Moscou). Sur l'origine de la construction ergative de la proposition; **Discussions:** A. P. Volodin (Léningrad). Contribution à l'étude de la construction ergative de la proposition; D. J. Edelman (Moscou). Les constructions de la proposition dans les langues iraniennes; G. K. Werner (Taganrog). Traits relictés de la typologie active en ket; G. A. Menovščikov (Léningrad). Les langues esquimaux - aleutes et leur rapport aux autres familles linguistiques; L. B. Nikolskij (Moscou). L'objet de la sociolinguistique; **Matériaux et notices:** O. S. Širokov (Moscou). Système phonématique du vocalisme tchouquote; V. V. Kolesov (Léningrad). Traits prosodiques dialectaux dans l'histoire de la langue russe; G. F. Blagova (Moscou). Contribution à l'histoire des ethnonymes turques en russe; V. I. Maksimov (Léningrad). Sur la méthode de l'analyse dérivationnelle; **Comptes-rendus.**

Технический редактор *Т. И. Шеленкова*

Сдано в набор 29/X-1973 г.

Т. 16300 Подписано к печати 29/XII-1973 г. Тираж 7300 экз.

Зак. 3100

Формат бумаги 70×108¹/₁₆

Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4³/₄ Уч.-изд. л. 14,9

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах, хорошо обработанные литературно и подписанные автором. И текст, и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью; чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки—3—5 стр.